

ВИКТОР ПЕЛЕВИН



SALUTE



GREEN BLOOD ON

Annotation

Аннотация автора: «Роман-утопия Виктора Пелевина о глубочайших тайнах женского сердца и высших секретах лётного мастерства.»

- [S.N.U.F.F](#)
 - [Ч. 1. DAMSEL IN DISTRESS\[2\]](#)
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - [Ч. 2. ASHES OF THE GLOOMY\[15\]](#)
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - [ЭПИЛОГ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)

- [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
-

S.N.U.F.F

*jour apres jour les amours mortes n'en finissent pas de
mourir^[1]*

Serge Gainsbourg

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

SNUFF

утопия



ЭКСМО
МОСКВА
2 0 1 2

Ч. 1. DAMSEL IN DISTRESS^[2]



Бывают занятия, спасительные в минуту душевной невзгоды. Растерянный ум понимает, что и в какой последовательности делать — и обретает на время покой. Таковы, к примеру, раскладывание пасьянса, стрижка бороды с усами и тибетское медитативное вышивание. Сюда же я отношу и почти забытое ныне искусство сочинения книг.

Я чувствую себя очень странно.

Если бы мне сказали, что я, словно последний сомелье, буду сидеть перед маниту и нанизывать друг на друга отесанные на доводчике кубики слов, я бы плюнул такому человеку в лицо. В фигуральном, конечно, смысле. Я все-таки не стал еще орком, хотя и знаю это племя лучше, чем хотел бы. Но я написал этот небольшой мемуар вовсе не для людей. Я сделал это для Маниту, перед которым скоро предстану — если, конечно, он захочет меня видеть (он может оказаться слишком занят, ибо вместе со мной на эту встречу отправится целая уйма народу).

Священники говорят, что любое обращение к Сингулярному должно подробно излагать все обстоятельства дела. Злые языки уверяют — причина в накрутках за декламацию: чем длиннее воззвание, тем дороже стоит зачитать его в храме. Но раз уж мне выпало рассказывать эту историю перед лицом вечности, я буду делать это подробно, объясняя даже то, что вы можете знать и так. Ибо от привычного нам мира вскоре может не остаться ничего, кроме этих набросков.

Когда я начинал эти заметки, я еще не знал, чем завершится вся история — и события большей частью описаны так, как я переживал и понимал их в момент, когда они происходили. Поэтому в своем рассказе я часто сбиваюсь на настоящее время. Можно было бы исправить все это при редактировании, но мне кажется, что так мой отчет выглядит аутентичнее — словно моя история волею судеб оказалась отснята на храмовый целлулоид. Пусть уж все останется так, как есть.

Действующими лицами этой повести будут юный орк Грым и его подруга Хлоя. Обстоятельства сложились так, что я долгое время наблюдал

за ними с воздуха, и практически все их приведенные диалоги были записаны через дистанционные микрофоны моей «Хеннелоры». Поэтому у меня есть возможность рассказать эту историю так, как ее видел Грым — что делает мою задачу намного интереснее, но никак не вредит достоверности моего повествования.

Моя попытка увидеть мир глазами юного орка может показаться кое-кому неубедительной — особенно в той части, где я описываю его чувства и мысли. Согласен, стремление цивилизованного человека погрузиться в смутные состояния оркской души выглядит подозрительно и фальшиво. Однако я не пытаюсь нарисовать внутренний портрет орка в его тотальности.

Древний поэт сказал, что любое повествование подобно ткани, растянутой на лезвиях точных прозрений. И если мои прозрения в оркскую душу точны — а они точны, — то в этом не моя заслуга. И даже не заслуга наших сомелье, век за веком создававших так называемую «оркскую культуру», чтобы сделать ее духовный горизонт абсолютно прозрачным для надлежащего надзора и контроля.

Все проще. Дело в том, что я проделал значительную часть работы над этими записками, когда Грым волею судьбы оказался моим соседом и я мог задать ему любой интересный мне вопрос. И если я пишу «Грым подумал...» или «Грым решил...», это не мои домыслы, а чуть отредактированная расшифровка его собственного рассказа.

Конечно, трудная задача — попытаться увидеть знакомый нам с младенчества мир оркскими глазами и показать, как юный дикарь, не имеющий никакого понятия об истории и устройстве вселенной, постепенно вырастает в цивилизацию, свыкаясь с ее «чудесами» и культурой (с удовольствием поставил бы и второе слово в кавычки). Но еще сложнее попытаться увидеть чужими глазами самого себя — а мне придется быть героем этого мемуара дважды, и как рассказчику, и как действующему лицу.

Но центральное место в этом скорбном повествовании о любви и мести принадлежит не мне и не оркам, а той, чье имя я все еще не могу вспоминать без слез. Может быть, через десяток-другой страниц я наберусь достаточно сил.

* * *

Несколько слов о себе. Меня зовут Демьян-Ландульф Дамилола

Карпов. У меня нет лишних маниту на генеалогию имени, и я знаю только, что часть этих слов близка к церковноанглийскому, часть к верхнерусскому, а часть уходит корнями в забытые древние языки, на которых в современной Сибири уже давно никто не говорит. Мои друзья называют меня просто Дамилола.

Если говорить о моей культурной и религиознополитической самоидентификации (это, конечно, вещь очень условная — но должны же вы понимать, чей голос доносится до вас сквозь века), я пост-антихристианский мирянин-экзистенциалист, либеративный консервал, влюбленный слуга Маниту и просто свободный неангажированный человек, привыкший обо всем на свете думать своей собственной головой.

Если говорить о моей работе, то я — создатель реальности.

Я отнюдь не сумасшедший, вообразивший себя божеством, равным Маниту. Я, наоборот, трезво оцениваю ту работу, за которую мне так мало платят.

Любая реальность является суммой информационных технологий. Это в равной степени относится к звезде, угаданной мозгом в импульсах глазного нерва, и к оркской революции, о которой сообщает программа новостей. Действие вирусов, поселившихся вдоль нервного тракта, тоже относится к информационным технологиям. Так вот, я — это одновременно глаз, нерв и вирус. А еще средство доставки глаза к цели и (перехожу на нежный шепот) две скорострельных пушки по бокам.

Официально моя работа называется «оператор live news». Церковноанглийское «live» здесь честнее было бы заменить на «dead» — если называть вещи своими именами.

Что делать, всякая эпоха придумывает свои эвфемизмы. В древности комнату счастья называли нужником, потом уборной, потом сортиром, туалетом, ванной и еще как-то — и каждое из этих слов постепенно пропитывалось запахами отхожего места и требовало замены. Вот так же и с принудительным лишением жизни — как его ни окрести, суть происходящего требует частой ротации биров и ярлыков.

Я благодарно пользуюсь словами «оператор» и «видеохудожник», но в глубине души, конечно, хорошо понимаю, чем именно я занят. Все мы в глубине души хорошо это понимаем — ибо именно там, в предвечной тьме, где зарождается свет нашего разума, живет Маниту, а он видит суть сквозь лохмотья любых слов.

У моей профессии есть два неотделимых друг от друга аспекта.

Я видеохудожник. Моя персональная виртостудия называется «DK v-arts & all» — все серьезные профессионалы знают ее маленький неброский

логотип, видный в правом нижнем углу кадра при сильном увеличении.

И еще я боевой летчик CINEWS INC — корпорации, которая снимает новости и снафы.

Это совершенно независимая от государства структура, что трудновато бывает понять оркам. Орки подозревают, что мы им врем. Им кажется, что любое общество может быть устроено только по той схеме, как у них, только циничнее и подлее. Ну на то они и орки.

Государство у нас — это просто контора, которая конопатит щели за счет налогоплательщика. В презиратора не плюет только ленивый, и с каждым годом все труднее находить желающих избраться на эту должность — сегодня государственных функционеров приходится даже прятать.

А за горло всех держит Резерв Маниту, ребята из которого не очень любят, чтобы про них долго говорили, и придумали даже специальный закон о hate speech.^[3] Под него попадает, если разобраться, практически любое их упоминание. Поэтому CINEWS кладет на государство, но вряд ли станет бодаться с Резервом. Или с Домом Маниту, который по закону неподконтролен никому, кроме истины (так что не стоит особо интенсивно заниматься ее поиском — могут не так понять).

Художник я неплохой, но таких немало.

А вот летчик я самый лучший, и в компании это знают все. Именно мне всегда доверяли самые сложные и деликатные задания. И я ни разу не подводил ни CINEWS INC, ни Дом Маниту.

В жизни я по-настоящему люблю только две вещи — мою камеру и мою суру.

В этот раз я расскажу о камере.

Моя камера — «Hennelore-25» с полным оптическим камуфляжем, находящаяся в моей личной собственности, что позволяет мне заключать контракты на гораздо более выгодных условиях, чем это могут делать безлошадные господа.

Я где-то читал, что «Хеннелора» — это позывной античного аса Йошки Руделя из партии «Зеленых СС», удостоенного Красного Креста с Коронками и Конопляными Листьями за подвиги на африканском фронте. Но я могу и ошибаться, потому что исторический аспект меня интересует крайне мало. Лично мне такое название напоминает имя ласковой и умной морской свинки.

По внешнему виду это рыбообразный снаряд с оптикой на носу и несколькими рулями-стабилизаторами, торчащими в разных плоскостях. Некоторые находят в «Хеннелоре» сходство с обтекаемыми гоночными мотоциклами древних эпох. Из-за камуфляжных маниту, покрывающих ее

поверхность, она имеет матово-черный цвет. Если поставить ее вертикально, я буду ниже на две головы.

«Хеннелора» способна перемещаться в воздухе с невероятным проворством. Она может подолгу кружить вокруг цели, выбирая лучший угол атаки или съемки. Она делает это тихо, так что услышать ее можно только когда она подлетит вплотную. А увидеть ее при включенном камуфляже практически нельзя. Ее микрофоны могут различить и записать разговор за закрытой дверью, гипероптика позволяет видеть сквозь стену силуэты людей. Она идеальна для слежки, атаки на бреющем полете — ну и, конечно, для съемок.

«Хеннелора» — не самое новое, что есть на рынке. Многие считают что «Sky Pravda» превосходит ее по большинству параметров, особенно в области инфракрасной порносъемки. У «Правды» гораздо лучше оптический камуфляж — система «split time» на кремниевых волноводах. Ее вообще невозможно засечь. А моя «Хеннелора» использует традиционные метаматериалы, и мне не стоит подлетать к живой мишени слишком уж близко. И то — лучше со стороны солнца.

Но моя «Хеннелора», во-первых, гораздо лучше вооружена. Во-вторых, тюнинг делает бессмысленным любое сравнение с серийными моделями. В-третьих, я сжился с ней, как с собственным телом, и пересест на новую камеру мне было бы очень трудно.

Когда я говорю «боевой летчик», это не значит, что я летаю в небе сам, всем своим толстым брюхом, как наши волосатые предки в своих керосиновых гондолах. Как и все продвинутые профессионалы нашего века, я работаю на дому.

Я сижу рядом с контрольным маниту, согнув ноги в коленях и упершись грудью и животом в россыпь мягких подушек — в похожей позе ездят на скоростных мотоциклах. Подо мной самое настоящее оркское княжеское седло древних времен, купленное за огромные деньги у антиквара. Оно черное от времени, с еле различимой драгоценной вышивкой, и довольно жесткое, что при сидячей и полулежащей работе хорошо для профилактики простатита и геморроя.

На моем носу легкие очки со стереоскопическими маниту, в которых я вижу окружающее «Хеннелору» пространство так же, как если бы я вертел приделанной к камере головой. Над контрольным маниту висит гравюра старинного художника «Четыре всадника Апокалипсиса». Одного по моей просьбе убрал знакомый сомелье, чтобы мое рабочее место стало как бы продолжением метафоры. Это иногда вдохновляет.

Пилотаж — сложное искусство, похожее на верховую езду; в моих

руках изогнутые рукоятки, а под ступнями — оркские серебряные стремена, купленные вместе с седлом и подключенные к контрольному маниту. Сложными, почти танцевальными движениями ног я управляю «Хеннелорой». Кнопки на рукоятках отвечают за боевые и съемочные системы камеры; их очень много, но мои пальцы помнят их наизусть. Когда моя камера летит, мне кажется, что лечу я сам, корректируя свое положение в пространстве легчайшими движениями ног и рук. Но я не чувствую перегрузок. Когда они становятся опасными для систем камеры, реальность в моих очках краснеет, вот и все.

Интересно, что менее опытный летчик рискует разбить камеру гораздо меньше, поскольку работает встроенная «защита от дурака». Но мне приходится отключать эту систему ради некоторых особо изощренных маневров — и еще ради способности снижаться почти до самой земли. Если разобьется камера, сам я останусь жив. Но это будет стоить мне столько маниту, что лучше бы мне, право, умереть. Поэтому я действительно лечу сам, и эта иллюзия является для меня самой настоящей реальностью.

Я уже говорил, что выполняю самые сложные и деликатные задания корпорации. Например, начать очередную войну с орками.

О них, конечно, надо рассказать в самом начале, а то будет непонятно, откуда взялось это слово.

Почему их так называют? Дело не в том, что мы относимся к ним с презрением и считаем их расово неполноценными — таких предрассудков в нашем обществе нет. Они такие же люди, как мы. Во всяком случае, физически. Совпадение с древним словом «орк» здесь чисто случайное — хотя, замечу вполголоса, случайностей не бывает.

Дело здесь в их официальном языке, который называется «верхне-среднесибирским».

Есть такая наука — «лингвистическая археология», я ею немного интересовался, когда изучал оркские пословицы и поговорки. В результате до сих пор помню уйму всяких любопытных фактов.

До распада Америки и Китая никакого верхне-среднесибирского языка вообще не существовало в природе. Его изобрели в разведке наркогосударства Ацтлан — когда стало ясно, что китайские эко-царства, сражающиеся друг с другом за Великой Стеной, не станут вмешиваться в происходящее, если ацтланские нагвали решат закусить Сибирской Республикой. Ацтлан пошел традиционным путем — решил развалить Сибирь на несколько бантустанов, заставив каждый говорить на собственном наречии.

Это были времена всеобщего упадка и деградации, поэтому верхне-среднесибирский придумывали обкуранные халтурщики-мигранты с берегов Черного моря, зарплату которым, как было принято в Ацтлане, выдавали вещами. Они исповедовали культ Второго Машиаха и в память о нем сочинили верхне-среднесибирский на базе украинского с идишизмами, — но зачем-то (возможно, под действием веществ) пристегнули к нему очень сложную грамматику, блуждающий твердый знак и семь прошедших времен. А когда придумывали фонетическую систему, добавили «уканье» — видимо, ничего другого в голову не пришло.

Вот так они и укают уже лет триста, если не все пятьсот. Уже давно нет ни Ацтлана, ни Сибирской республики — а язык остался. Говорят в быту по-верхнерусски, а государственный язык всего делопроизводства — верхне-среднесибирский. За этим строго следит их собственный Департамент Культурной Экспансии, да и мы посматриваем. Но следить на самом деле не надо, потому что вся оркская бюрократия с этого языка кормится и горло за него перегрызет.

Оркский бюрократ сперва десять лет этот язык учит, зато потом он владыка мира. Любую бумагу надо сначала перевести на верхне-среднесибирский, затем заприходовать, получить верхне-среднесибирскую резолюцию от руководства — и только тогда перевести обратно просителям. И если в бумаге хоть одна ошибка, ее могут объявить недействительной. Все оркские столоначальства и переводные столы — а их там больше, чем свиначников, — с этого живут и жиреют.

В разговорную речь верхне-среднесибирский почти не проник. Единственное исключение — название их страны. Они называют ее Уркаинским Уркаганатом, или Уркаиной, а себя — урками (кажется, это им в спешке переделали из «укров», хоть есть и другие филологические гипотезы). В бытовой речи слово «урк» непопулярно — оно относится к высокому пафосному стилю и считается старомодно-казенным. Но именно от него и произошло церковноанглийское «Orkland» и «orks».

Урки, особенно городские, которые каждой клеткой впитывают нашу культуру и во всем ориентируются на нас, уже много веков называют себя на церковноанглийский манер орками, как бы преувеличенно «окая». Для них это способ выразить протест против авторитарной деспотии и подчеркнуть свой цивилизационный выбор. Нашу киноиндустрию такое вполне устраивает. Поэтому слово «орк» почти полностью вытеснило термин «урк», и даже наши новостные каналы начинают называть их «урками» лишь тогда, когда сгущаются тучи истории, и мне дают команду на взлет.

Когда я говорю — «команду на взлет», это не значит, конечно, что мне доверяют первую боевую атаку. С этим справится любой новичок. Мне доверяют съемку на храмовый целлулоид для предвоенных новостей. Любой человек в информационном бизнесе понимает, какая это важная работа.

На самом деле над каждой войной работает огромное число людей, но их усилия не видны постороннему взгляду. Войны обычно начинаются, когда оркские власти слишком жестоко (а иначе они не умеют) давят очередной революционный протест. А очередной революционный протест случается, так уж выходит, когда пора снимать новую порцию снафов. Примерно раз в год. Иногда чуть реже. Многие не понимают, каким образом оркские бунты начинаются точно в нужное время. Я и сам, конечно, за этим не слежу — но механика мне ясна.

В оркских деревнях до сих пор приходят в религиозный ужас при виде СВЧ-печек. Им непонятно, как это так — огня нет, гамбургер никто не трогает, а он становится все горячее и горячее. Делается это просто — надо создать электромагнитное поле, в котором частицы гамбургера придут в бурное движение. Оркские революции готовят точно так же, как гамбургеры, за исключением того, что частицы говна в оркских черепах приводятся в движение не электромагнитным полем, а информационным.

Даже не надо посылать к ним эмиссаров. Довольно, чтобы какая-нибудь глобальная метафора — а у нас все метафоры глобальные — намекнула гордой оркской деревне, что, если в ней проснется свободолюбие, люди придут на помощь. Тогда свободолюбие гарантировано проснется в этой деревне просто в видах наживы — потому что центральные власти будут с каждым днем все больше платить деревенскому старосте, чтобы оно как можно дольше не пробуждалось в полном объеме, но неукротимое восхождение к свободе и счастью будет уже не остановить. Причем мы не потратим на это ни единого маниту — хотя могли бы напечатать для них сколько угодно. Мы просто будем с интересом следить за процессом. А когда он разовьется до нужного градуса, начнем бомбить. Не деревню, понятно, а кого нам надо для съемки.

Я не вижу в этом особо предосудительного. Наши информационные каналы не врут. Орками действительно правит редкая сволочь, которая заслуживает бомбежки в любой момент, и если их режим не является злом в чистом виде, то исключительно по той причине, что сильно разбавлен дегенеративным маразмом.

Да и оправдываться нам не перед кем. Суди нас или нет — но мы, к

сожалению, то лучшее, что есть в этом мире. И так считаем не только мы, но и сами орки.

Информационной поддержкой революционного движения в Оркланде занимаются сомелье из другого департамента, а я отвечаю исключительно за видеоряд. Что значительно важнее и с художественной, и с религиозной точки зрения. Особенно в самом начале войны, когда уже прошла первая волна заголовков («мир предупредил орков»), а нормального фидбэка еще нет.

Последние несколько войн в паре со мной работал Бернар-Анри Монтень Монтескье — вы, вероятно, знаете это имя. Мало того, Бернар-Анри был моим соседом (слухи о его роскошном образе жизни сильно преувеличены). Мы не стали друзьями, потому что я не одобрял некоторых его увлечений, но знакомы были близко, и в профессиональном смысле составляли хорошую крепкую команду. Я был ведомым-оператором, а он — обзорвателем-наводчиком.

Сам он предпочитал называть себя философом. Так же его представляли в новостях. Но в платежной ведомости, которую составляют на церковноанглийском, его должность называется однозначно: «crack discourse-monger first grade».^[4] То есть на самом деле он такой же точно военный. Но противоречия тут нет — мы ведь не дети и отлично понимаем, что сила современной философии не в силлогизмах, а в авиационной поддержке. Именно поэтому орки и пугают своих детей словом «дискурсмонгер».

Как и положено настоящему философу, Бернар-Анри написал мутную книгу на старофранцузском. Она называется «Les Feuilles Mortes», что значит «Мертвые Листья» (сам он переводил чуть иначе — «Мертвые Листы»). Ударные дискурсмонгеры гордятся знанием этого языка и возводят свою родословную к старофранцузским мыслителям, придумывая себе похожие имена.

Это, конечно, чистейшая травестия и карнавал. Они, однако, относятся к делу серьезно — их спецподразделение называется «Le Coq d'Esprit»,^[5] и на людях они постоянно перебрасываются непонятными картавыми фразами. Но мне хорошо известно, что Бернар-Анри знал на старофранцузском всего несколько предложений и даже песни слушал с переводом. Поэтому книгу за него, если разобраться, написал креативный доводчик с французским модулем.

Мы знаем, как сочиняются эти трактаты на старофранцузском — берется какая-нибудь смутная древняя цитата, загоняется в маниту, пальцы

пару секунд щелкают по меню, и готово — кубики слов можно громоздить до потолка. Но другие наводчики ударной авиации не утруждают себя даже этим. Так что Бернар-Анри был добросовестным профессионалом, и если бы не его мрачное хобби, экранный словарь уделил бы ему гораздо больше места.

Многие до сих пор считают его эдаким бескорыстным рыцарем духа и истины. Он им не был. Но я его не осуждаю.

Жизнь слишком коротка, и сладких капель меда на нашем пути не так уж много. Нормальный публичный интеллектуал предпочитает комфортно лгать вдоль силовых линий дискурса, которые начинаются и заканчиваются где-то в верхней полусфере Биг Биза. Иногда он позволяет себе петушиный крик свободного духа в безопасной зоне — обычно на старофранцузском, чтобы никого случайно не задеть. Ну и, понятно, разоблачает репрессивный оркский режим. И все.

Любое другое поведение экономически плохо мотивировано. На церковноанглийском это называется «smart free speech» — искусство, которым в совершенстве владеют все участники мирового дух-парада.

Это не так просто, как может показаться. Тут недостаточно известной внутренней пластичности, а необходимо еще и знание того, как эти силовые линии изгибаются на самом деле, чего никогда не понимают орки. А линии к тому же имеют свойство плавно менять положение, так что работа почти такая же нервная и рискованная, как у биржевого маклера.

Вот, кстати — креативный доводчик предполагает, что слово «smart», то есть «хитроумный», образовано от древнего знака доллара (так когда-то назывались маниту) и сокращенного «рынок» — «mart». Очень может быть. Но владение smart free speech само по себе — это довольно низкооплачиваемый навык, поскольку предложение значительно превышает спрос.

Только не подумайте, что я смотрю на этих ребят сверху вниз. Я по сути ничем не лучше. Как коммерческий визуальный художник я, безусловно, трусливый конформист — и меня вполне устраивает такое положение дел. Зато летчик я смелый и опытный, это факт. И еще — изобретательный и пылкий любовник, хоть та, на кого устремлена моя любовь, вряд ли сможет по-настоящему ее оценить. Но об этом потом.

Итак, все началось с того, что нам с Бернаром-Анри дали поручение заснять для новостных роликов формальный видеоповод для войны номер 221 — так называемый «casus belly» (экранные словари уверяют, что это церковноанглийское выражение происходит от древней идиомы «надорвать [врагу] животик»). Заснять на самом деле означает «организовать». Мы с

Бернаром-Анри понимаем это без слов, поскольку начали вместе уже две войны — номер 220 и номер 218. Девятнадцатую начали наши творческие конкуренты.

Организовать *casus belly* — это задание тайное, деликатное и очень непростое. Его доверяют только самым лучшим специалистам. То есть нам.

Самым убедительным и неоспоримым видеоповодом для войны, по поводу которого согласны абсолютно все критики, комментаторы и пандиты, в сегодняшней визуальной культуре, как и века назад, считается так называемая «*damsel in distress*». Опять извиняюсь за церковноанглийский, но по-другому не скажешь. К тому же мне нравится звучание этих грозных, словно пропахших порохом, слов.

Damsel in distress — не просто «дева в печали», как переводится это выражение. Скажем, если эта оркская дева спит где-нибудь на сеновале и видит кошмар, от которого вспотела и трясется, бомбить из-за такого не начнешь. Если оркская дева вывалилась в говне, получила оплеуху от бабки и ревет, сидя в луже, толку от этого тоже мало, хотя ее печаль может быть совершенно искренней. Нет, *damsel in distress* предполагает, с одной стороны, угнетенную чистоту, а с другой — нависшее над ней тяжеловооруженное зло.

Сгенерировать подобную картинку с любым разрешением — пять минут работы для наших сомелье. Но такими вещами CINEWS INC занимается только в развлекательном блоке. То, что попадает в новостные ролики, должно действительно произойти на физическом плане и стать частью Света Вселенной. «*Thou shalt keep thy newsreel wholesome*»,^[6] сказал Маниту. Может, он этого и не говорил, но так нам передали.

Именно по религиозным причинам новостные ролики снимаются на храмовую целлулоидную пленку. Фотоны врезаются в светочувствительную эмульсию, приготовленную служителями Дома Маниту по древним рецептам, в точности как много сотен лет назад (благоговейно воспроизводится даже ее ширина).

Пленка должна быть горячей, потому что в Прописях есть фраза «пылает, как кровь Маниту». А почему требуется сохранить живой отпечаток света, объясняют при посвящении в Мистерии, но я уже слишком вырос из детских штанишек, чтобы это помнить — да и не хочу лезть в богословские вопросы. Существенно здесь одно — пленочная камера занимает ужасно много места в моей «Хеннелоре». Когда б не эта камера, да не ракеты с пушками, остальную технологию можно было бы упрятать в контейнер размерами с фаллоимитатор. Но что делать, если так хочет Маниту.

Когда речь идет о новостях, мы не можем подделывать изображение событий. Но Маниту, насколько понимают теологи, не станет возражать, если мы чуть-чуть поможем этим событиям произойти. Конечно, самую малость — и эту грань чувствуют только настоящие профессионалы. Такие, как я и Бернар-Анри. Мы не фальсифицируем реальность. Но мы можем сделать ей, так сказать, кесарево сечение, обнажив то, чем она беременна — в удобном месте и в нужное время.

Мы ждали подходящего момента для операции несколько дней. Потом осведомитель в свите уркагана сообщил, что Рван Дюрекс, уже запятнавший себя кровью восставших орков (звено телекамер успело предотвратить масштабное кровопролитие ракетным ударом, но на совести кагана остались коллатеральные жертвы), возвращается в Славу (так называется оркская столица) по северной дороге.

Мы с Бернаром-Анри немедленно вылетели на перехват.

Когда я говорю «мы», это означает, что туда полетела моя «Хеннелора», заряженная пленкой и снарядами. С ней было мое сознание, а тело оставалось дома — только крутило головой в боевых очках и давило на рычаги. А вот Бернара-Анри доставили в Оркланд на самом деле, такая уж у него работа. Риск, конечно. Но когда моя «Хеннелора» рядом, совсем небольшой.

Платформа высадила Бернара-Анри на краю дороги в паре километров от Славы — и поднялась в тучи, чтобы не тратить батарею на камуфляж.

Миссия началась.

Бернар-Анри велел мне осмотреть местность и найти подходящую фактуру, пока он будет молиться. Молиться, да уж... На самом деле старый сатир просто накачивался веществами, как всегда перед боевой съемкой. Но старшие сомелье закрывают на это глаза, потому что так Бернар-Анри лучше выглядит перед камерой.

А это, понятное дело, в работе экранного дискурсмонгера важнее всего. Открытые жесты и поза, спокойный и медленный голос, уверенные манеры и речь. Никаких почесываний головы, никаких рук в карманах. Мы живем в визуальном обществе, и смысловое содержание экранной болтовни обеспечивает лишь пятнадцатую часть ее общего эффекта. Остальное — картинка.

Порошки Бернара-Анри начинают действовать в полную силу часа через полтора-два — как раз тогда должна была появиться колонна кагана. Время имелось, но терять его не следовало — надо было срочно искать фактуру.

Я набрал высоту.

Местность была довольно депрессивной. Вернее, с одной стороны от дороги она была даже живописной, насколько это слово применимо к Оркланду — там были конопляные и банановые плантации, речка и пара вонючих оркских деревень. А с другой стороны начинались самые мрачные джунгли Оркланда. Мрачны они не сами по себе, а из-за того, что за ними. Через несколько сотен метров деревья редуют, и начинается огромное болото, которое по совместительству служит кладбищем.

Орки называют его Болотом Памяти — там вся Слава хоронит своих умерших. С высоты оно похоже на мрачное серо-зеленое озеро, куда впадают жилки тонких речушек. Оно почти все усеяно желтыми, серыми и темными крапинками, с высоты похожими на веснушки. Это плавучие оркские гробы, так называемые «спутники» — круглые лодки, которые накрывают соломенной крышкой с четырьмя торчащими вверх палками. Орки верят, что в этих посудилах их души улетают в космос к Маниту. Не знаю, не знаю.

Лес вдоль болота орки высадили специально (да, бывает и такое — орк, сажающий деревце). Они сделали это, чтобы отогнать вонючую сине-зеленую жижу от дороги и своих огородов. Когда каган ездит мимо, его всегда сопровождает охрана, поскольку тут легко устроить засаду. А вообще здесь малоллюдно — орки боятся своих мертвецов. Кто-то вбил им в голову, что каждое их поколение обязательно предаст предыдущее, и страх предков стал у них подобием коллективного невроза. Которому помогают и живущие в болоте жирные крокодилы — хотя из воды они не вылазят. Им хватает спутников.

В древние времена здесь селились так называемые «мудрецы», стремящиеся подчеркнуть свой потусторонний статус ежедневной близостью к смерти. А городские орки ходили к ним погадать по книге «Дао Песдын» — они верили, что так можно задать вопрос самому Маниту (я не шучу, у орков действительно есть такая книга, хоть написали ее, скорей всего, наши сомелье). Но при оркском императоре Просре Ликвиде вольных мудрецов упразднили, а все гадатели были подчинены генеральному штабу. С тех пор в кладбищенский лес ходит только молодежь — парочки, которым негде уединиться. Мертвецов и крокодилов они, конечно, боятся, но любовь сильнее смерти. Был бы я философ, как Бернар-Анри, обязательно воспел бы по-старофранцузски тайный праздник жизни, цветущий в этих мертвых чащобах.

Можно было поискать подходящую натуру возле деревень, где бродят пасущие скот оркские девки нежного возраста. А можно было полететь вдоль дороги над кромкой джунглей. Я выбрал второе, и буквально через

пять минут полета наткнулся на то, что было нужно.

По обочине шла оркская парочка. Это были мальчишка и девчонка, одногодки — лет шестнадцати или чуть больше. Я так уверенно определяю цифру, поскольку у орков это consent age, и будь кто-то из них младше, вряд ли они решились бы показаться вместе. Оркские власти с тупым рвением подражают нашему механизму сексуальных репрессий — они и наш возраст согласия позаимствовали бы, позволь такое наши советники. Думают, видимо, что именно здесь проходит дорога к технотронному обществу. Впрочем, для них другой в любом случае не осталось.

У парочки были с собой удочки. Все сразу стало ясно — «рыбалка» заменяет молодым оркам задний ряд кинозала.

Я сделал максимальное увеличение и некоторое время разглядывал их лица. Парень был обычным оркским мальчишкой — симпатичным и белобрысым. Они все такие, пока не начинают пить волю и колоть дуриан. А вот damsel была идеальной.

В кадре она смотрелась просто здорово. Во-первых, она не выглядела ребенком, и это было хорошо, потому что малолеток показывали перед двумя последними войнами, и зритель от них устал. Во-вторых, она была очень хороша собой — я имею в виду, конечно, для биологической женщины. Я был уверен, что Бернару-Анри немедленно захочется защитить эдакую свинку от какой-нибудь напасти.

Я поглядел на маниту. Каган был еще далеко, и у меня оставалось время. Но вряд ли имело смысл искать другой материал. Я коротко сообщил Бернару-Анри о своей находке, передал девичью мордашку на его маниту, и он мгновенно на нее залип, я это по дыханию понял. Тогда я включил максимальную маскировку, осторожно обогнул парочку, зашел им за спину и полетел следом, прислушиваясь к их болтовне.

Они повернули в лес и вскоре нашли поляну на берегу одной из впадающих в болото речушек. Где немедленно принялись... ловить рыбу. Парень, видимо, был рыболов-спортсмен — и гнал от себя все другие мысли. Скоро девушка стала заметно сучать, и я тоже, а он все удил и удил. И у него клевало.

Когда до появления колонны осталось полчаса, дела у них пошли чуть интереснее. Но мне, к сожалению, уже пора было вмешаться.



Грым глядел на висящий в небе черный шар Бизантиума.

Наклонив голову и сощурясь, можно было представить, что это гнездо огромной птицы, поселившейся на соседнем дереве. Сощурясь еще сильнее, можно было вообразить, что это мяч каких-то титанических футболистов — летящий из далекой древности, когда вокруг еще не было пальм, снег шел много дней в году и по белой целине ходили волосатые мамонты...

Грым посмотрел на Хлою.

«Надо прямо сейчас, — подумал он. — Потом поздно будет... Но как? Чего, вот так встать, подойти и обнять? А она возьмет и спросит — чего это ты вдруг? Почему именно сейчас, а не раньше? Чертовы удочки...»

По всем признакам Хлоя хотела того же, что и он. Она не накрутилась перед встречей — по негласному молодежному ритуалу это было намеком на ожидание решительных действий, от которых макияж может пострадать.

И хорошо, что не накрутилась.

Ее круглая голова со смешно оттопыренными ушами, розовыми щечками и гладкой, как на боевом барабане, кожей, нравилась ему без косметики гораздо больше. Пахла Хлоя тоже очень приятно, совсем не поркски — наверно, перекладывала на ночь свою одежду душистыми травами. Или покупала модные в этом сезоне духи «Ancient Serpent» — семья у нее была не из бедных.

Одевалась она тоже стильно. На ней было новое школьное платье, которое одновременно напоминало о детстве и приглашало с ним расстаться. Еще на ней была жилетка с портретами Николя-Оливье Лоуренса фон Триера в ролях разных лет. Такие жилетки с надписью «Two cultures — one world» делали в Желтой Зоне, и стоила она не меньше ста маниту. В семье Грыма на ерунду столько не тратили. А на плече у Хлои висела сумка-косметичка из шкуры добермана — тоже не из дешевых.

— Не спи, у тебя опять клюет.

Выдернув удочку, Грым снял рыбу с крючка и бросил Хлое. Та поймала ее и легонько шлепнула головой о камень. Потом, хихикнув, еще раз. Потом еще.

Грым не выдержал, подошел и отобрал у нее трепыхающуюся рыбу.

Оглушив ее одним ударом, он кинул ее на землю и вернулся к удочкам.

Ругаться не хотелось — по сравнению с другими оркскими девчонками Хлоя была доброй. Она никогда не мучила москитов перед тем, как прихлопнуть.

— Чего ты злобствуешь, — сказала Хлоя, пряча рыбу в пластиковый пакет с водой, где уже томились две других. — Мне скучно. Зря я сюда приперлась.

У Грыма внутри похолодело.

«Все, — подумал он. — А потом уже не пойдет...»

— Если скучно, давай поговорим, — предложил он.

К счастью, у него было чем занять руки — надо было насадить на крючок нового червя.

— Ну давай, — вздохнула Хлоя и обхватила руками свои колени.

Грым закинул удочку, подошел к Хлое и сел рядом — так, чтобы случайно ее не коснуться.

— Сочинение написала уже?

Хлоя кивнула.

— Списала. А ты?

— Нет, — сказал Грым. — Я не начинал даже.

— Тогда хана тебе, — констатировала Хлоя.

— Почему, — ответил Грым. — Я за день напишу. Сдеру из «Свободной Энциклопедии».

— Ты все время своей энциклопедией хвастаешься, — сказала Хлоя, — И специально разговор каждый раз подводишь, чтобы про нее сказать. Давай я хвастаться буду, что у моего отца мотоцикл?

Грым покраснел — она попала в точку.

— Дура ты, — сказал он. — Я не поэтому про энциклопедию вспомнил. А потому, что даже там некоторых вещей не могу найти.

— Каких?

— Почему всем оркским династиям имена наверху выбирают? Рванам, например. И Визит, и Дюрекс — это ведь не оркские слова, правда?

— Нет, не оркские, — согласилась Хлоя.

— Берут слова из древности, которых народ не понимает. Может, у них смысл обидный, а мы не знаем. И одежду для солдат они придумывают. Нам только выкройку спускают перед войной. В энциклопедии про все это ни слова. А на рынке говорили, что Рваны всю оркскую казну у людей хранят. Иначе бы люди для нас маниту не печатали.

Хлоя дала Грымму несильный подзатыльник.

— Ты об этом помалкивай лучше, — сказала она. — А то в говне

сварят вместе с нетерпилами. Тоже мне, герой из Желтой Зоны.

Награждая его затрешиной, она придвинулась — так, что Грым почувствовал прикосновение ее бока. Это было очень приятно. Но он почему-то отодвинулся. Хлоя вздохнула.

— А вот еще, смотри, — сказал Грым, сунул руку в карман и вынул банкноту в пять маниту.

Сложив ее замысловатым образом, он добился, чтобы голографический великан в многозубчатом головном уборе, держащий на плечах шар Бизантиума, превратился в удивительно мерзкого карлика с растущими из-под мышек ногами.

— Ты утомил своей политикой, — сказала Хлоя, — И у тебя опять клюет.

Грым спрятал деньги, подбежал к удочкам, ловко выдернул рыбу и кинул ее Хлое. В этот раз она оглушила ее одним ударом.

— Уже четвертая, — сообщила она, убирая рыбу в пакет с водой. — Может, пойдем, пока нас крокодил не съел?

Грым стоически кивнул.

— Я тогда подкрашусь, — сказала Хлоя и посмотрела на него с нескрываемой насмешкой.

Грым отвел взгляд.

Завязав пакет с рыбой надежным двойным узлом, Хлоя открыла свою собачью сумку и начала прихорашиваться.

Косясь на нее, Грым принялся сворачивать удочки. Если бы на душе у него не было так мрачно, ему, верно, стало бы смешно. Он знал всю дальнейшую последовательность действий — уже видел во время прошлой, такой же бесплодной рыбалки.

Хлоя вынула из сумки угольный карандаш и нарисовала на лбу три ломаных зигзага, похожих на старческие морщины — так называемые «линии мудрости». Оркские девушки верили, что это придает им умный вид, но Грым сомневался. Затем в ее руках появился карандаш белой глины. Густо набелив свои румяные щеки, она спрятала глину, достала помаду для щек и навела поверх глины два круглых багровых пятна, которые должны были изображать здоровый молодой румянец.

В завершение процедуры она осторожно водрузила на лицо массивную черную оправу без стекол, скрученную в двух местах ниткой: последний писк девчачьей моды.

Но даже после всех этих операций, на взгляд Грыма, в ней осталось что-то привлекательное — хоть теперь Хлоя напоминала ему героиню оркской басни свинку Хрю, которая извалялась в грязи и сене, чтобы

накануне Большого Обжорства притвориться старой крысой и уйти от судьбы. Мораль у басни была простой — всех свинок съели молча, а Хрю с прибаутками.

Спрятав косметические принадлежности, Хлоя подняла личико и послала ему обворожительный взгляд из-под толстых рыжих ресниц.

— Можем идти, — сказала она.

И тут — возможно, из-за того, что Хлоя теперь нравилась ему значительно меньше, — Грым наконец решился.

Шагнув к Хлое, он решительно ее обнял и поцеловал — сначала в щеку, а потом в верхнюю губу.

— Ну чего ты... Чего... Ой. Ну уйди, идиот, я накружилась уже... Я серьезно...

Но Грым не отступал, и через несколько минут сосредоточенного сопения Хлоя уже лежала на спине, а ликующий Грым был сверху, и осуществлял на практике все, что раньше позволял себе только в мыслях.

Хлоя никак не поощряла его действий, но особо и не возражала — она смотрела в сторону, морщилась и презрительно вздыхала, словно все это страшно ей надоело много лет назад. Грым вел себя не слишком ловко, поскольку не имел почти никакого опыта, но все нужные пуговицы наконец расстегнулись, полоски ткани сдвинулись, и он понял, что сейчас это действительно случится.

Это, собственно, уже начало происходить, когда Хлоя вдруг сильно шлепнула его ладонью по спине.

— Смотри, — прошептала она и кивнула в сторону поляны.

Грым поднял глаза.

Перед ним ничего не было. Но по тому, как напряглось тело Хлои, он понял, что она не шутит.

Потом он тоже увидел.

В воздухе над поляной происходило какое-то колебание. Там дрожало неясное пятно. Дрожало не оно само, а деревья с другой стороны поляны — как бывает, когда смотришь через волны горячего воздуха в жаркий день. Сперва это казалось почти незаметным, но, чем дольше Грым вглядывался, тем страннее казались деревья в пятне — будто там были не настоящие стволы и ветки, а их отражение, искривленное в зеркальном коридоре.

— Видишь? — прошептала Хлоя.

— Ага.

— Что это?

— Сейчас, — сказал Грым.

Стараясь не дать Хлое выскользнуть, он захватил в кулак ком земли с травой, приподнялся и кинул его в дрожащий круг.

Лучше бы он этого не делал.

Вместо того, чтобы пролететь сквозь пятно, земля осыпалась вниз. Удар был совсем легким, но с пятном после него произошли совершенно поразительные изменения.

Оно за долю секунды стянулось к своему центру и исчезло. А на том месте, где оно только что было, возникла Смерть.

Грым сразу понял, что это она — словно ему уже показывали ее и объясняли, какой будет их последняя встреча. Он узнал ее и почти не испугался.

Смерть была матово-черной и походила на длинный приземистый мотоцикл — без колес, но зато со множеством несимметричных фар на носу. Некоторые были прозрачными, а другие белыми, как глаза слепца. На мотоцикле не было седока, но для смерти это казалось вполне нормальным. У смерти были короткие черные крылья, косо торчащие в стороны, а ее косо сбитое несимметричное тело состояло из множества плавно покачивающихся плоскостей — словно бы каких-то постоянно открывающихся и закрывающихся клапанов.

У смерти была даже татуировка — сходящиеся к носу красные стрелы, делавшие в середине фюзеляжа зигзаг. Под стрелами были мелкие значки, отмечающие победы — большие и маленькие человеческие фигурки и какие-то цифры, очень солидные цифры. Сразу за цифрами на фюзеляже были закопченные стальные накладные, из которых торчали короткие жерла пушек. И еще смерть жужжала — но совсем тихо. Если бы Грым не вслушивался специально, он бы ни за что этого не заметил.

— Камера, — выдохнула Хлоя, и Грым понял, что Хлоя права.

Но это вовсе не значило, что он ошибся насчет смерти.

Он никогда не видел боевую телекамеру так близко. Только на картинках.

— Не дрожи ты так, — прошептала Хлоя. — Хотел бы убить, уже убил бы. Ему что-то нужно. Давай встанем, только медленно... И руки подними.

Стараясь не делать резких движений, Грым поднялся на ноги — и понял всю тяжесть своего положения. Хлое было просто: поднявшись, она просто оправила платье. А его штаны упали вниз, и он так и стоял, красный от стыда, глядя в бельма висящего перед ним черного мотоцикла.

Вдруг раздалась громкая музыка — это заиграли внешние динамики камеры.

Музыка была странной, совсем не оркской. Она была грозно-

пронзительной, и напоминала о древности, забытой славе и смерти. Она играла целую минуту, не меньше — и к ее концу Грым почувствовал в груди такую отвагу, что нагнулся, натянул штаны и застегнул пуговицу.

Музыка стихла, и камера плавно качнулась в воздухе — словно указывая, куда идти. Грым нерешительно шагнул в этом направлении, и камера сразу же кивнула белым носом, совсем как выражающий согласие человек.

Грым сделал шаг, потом еще один. Камера переместилась вместе с ним.

— Он хочет, чтобы мы вышли на дорогу, — сказала Хлоя.

— Я понял, — ответил Грым. — А может, в лес убежим? Как он нас ловить будет среди деревьев?

Трудно было поверить — но камера будто слышала эти слова. Она повернулась к лесу, отделявшему поляну от дороги, и Грым увидел ее сложно-изогнутое узкое тело в профиль. На одном из стабилизаторов стала заметна желтая эмблема Бизантиума — двойная зеркальная «В», похожая на вертикально перечеркнутую восьмерку.

Раздался громкий треск. Камера окуталась дымом, и в лес понеслись какие-то очень быстрые красные нитки, оставляющие за собой дымный след. Там, где эти нитки сшибались со стволами, возникали желтые облака древесной трухи, и высокие старые деревья, словно перерубленные свечи, валились в разные стороны.

Потом камера перестала стрелять, повернулась к Грым и Хлое и несколько раз повела в разные стороны носом — совсем как человек, отрицательно качающий головой. Когда она замерла, треск падающих стволов был еще слышен.

— Вот так будет ловить, — сказала Хлоя. — Понял?

— Понял, — ответил Грым сам не зная кому — камере или Хлое.

Теперь к дороге вела дымящаяся просека, и выбрать маршрут было нетрудно. Камера пропустила их вперед и поплыла следом.

Выйдя на дорогу, Грым и Хлоя остановились.

— А дальше? — спросил Грым.

— Сейчас объяснит, — предположила Хлоя.

Грым повернулся к камере.

Камера повела себя странно. Не отворачивая от них своих белым, она поплыла вверх и вбок, в сторону солнца — и вдруг исчезла. Грым понял, что она опять включила камуфляж. Сразу стало непонятно, где она — никакого дрожания в воздухе различить было нельзя.

Грым несколько секунд вглядывался в небо.

— Может, она улетела? — предположил он.

Никто не ответил.

Грым повернулся и увидел, что Хлоя лежит на дороге, свернувшись аккуратным калачиком. Она выглядела безмятежно спящей, а из руки у нее торчала какая-то зеленая стрелка. Грым хотел нагнуться, а потом услышал щелчок, и что-то его укололо. Он увидел такую же зеленую стрелку, торчащую из своей груди. Он выдернул ее — за пластиковой ножкой была короткая гибкая иголка, такая тонкая, что даже не выступило крови.

«Ничего страшного», — подумал он.

Потом ему страшно захотелось сесть на дорогу, и не было никакой возможности противостоять этому желанию. А когда он сел, стало ясно, что надо лечь, и он лег.

Хлоя лежала рядом — он видел ее платье, плечо и часть лица. Ее глаза были открыты, но она смотрела в сторону.

Грым плохо понимал происходящее. Ему казалось, что надо немного собраться с силами, и можно будет встать. Надо было, чтобы кто-то помог, чуть подтолкнул, и тогда оцепенение отпустило бы. Но помощи не было.

Кажется, солнце успело немного переместиться по небу. А потом он почувствовал еще один укол, на этот раз в ногу, и паралич сразу прошел. Он повернул голову и увидел, что Хлоя тоже ожила.

Она уже почти встала, и вдруг получила такой удар в спину, что снова растянулась в пыли. Грым показалось, будто солнце ушло за тучи. Он поднял глаза.

Закрывая полнеба, над ним нависли вооруженные всадники. За их спинами была целая кавалькада, которой Грым с Хлоей перекрыли путь.

Видимо, в ней ехал кто-то очень важный. Его охраняли конные ганджуберсерки из гарнизона Славы — седобородые богатыри с накладными пыльными дредами и короткими костяными трубками в зубах. Они были одеты в камуфляж с черными латами и вооружены тяжелыми копьями. Один из всадников только что ткнул Хлою в спину тупым концом копья — и теперь разворачивал его для удара острием. Берсерки убивали не думая, поэтому Грым замер от ужаса.

Но тут раздалась короткая команда, и берсерк опустил копье. Линия всадников расступилась, и они съехали с дороги.

— Встать!

Грым и Хлоя кое-как поднялись на ноги.

Перед ними был черный моторенваген — длинный и открытый, из самых дорогих. Такой мог быть только у очень важного вертухая. Но в нем сидели не глобальные урки, а мрачные правозащитники в черных плащах.

Дальше стоял другой моторенваген — тоже черный, еще приземистей и внушительней, только закрытый. А еще дальше возвышался красный в золотых спастиках паланкин с чудотворным ликом Маниту, спрятанным за занавеской. Его держали потные силачи в бархатных шортах, по четверо на каждую ручку.

Верх второго моторенвагена плавно открылся, свернувшись в ракушку за сиденьями. К дверце сразу подскочил подпрыгивающий от рвения придворный секретарь из кастратов, наряженный в гербовое трико и маску петуха.

В моторенвагене сидел...

Грым не поверил своим глазам.

Там сидел Рван Дюрекс, урковский каган и правитель, великий герой семи войн. Слева от него на заднем сиденье развалился обмазанный сладостями мальчонка-любимец. Справа блестела золотыми цепями резиновая женщина — из тех, что делают в Биг Бизе. Женщин каган не любил, о чем знали все. Это был просто символ статуса, толерантности и готовности к межкультурному диалогу.

Хмурое лицо вождя с косо подбритыми бакенбардами и серыми мешками вокруг глаз не сулило ничего хорошего. Он поднял руки и зевнул, расправляя тело, затянутое в черный атласный лапсердак.

— Что такое?

Секретарь прогнулся, чтобы клюв его маски оказался ближе к уху господина, и тихо заговорил, указывая на Грыма и Хлою.

Морщины на лице Рвана Дюрекса разгладились, и он усмехнулся.

— На дороге? — спросил он.

Секретарь кивнул.

Рван Дюрекс поглядел на Грыма оценивающе — словно раздумывая, не взять ли в пажи. Грым заметил, что любимчик кагана тоже внимательно на него смотрит. Дюрекс перевел взгляд на Хлою, потом опять на Грыма — и, видимо, передумал.

— Прочь, — махнул он рукой.

И тут произошло неожиданное.

— J'accuse! — прогремел над дорогой властный голос.

Как ни испуган был Грым происходящим, он испугался еще сильнее. В присутствии кагана никто не мог говорить таким тоном.

Никто, кроме дискурсмонгеров.

Этот свистящий, похожий на щелчок бича возглас в Уркаине знали все. Им пугали детей, ибо вслед за ним приходила смерть. «J'accuse» означало «я обвиняю», но не на церковноанглийском, а на языке какого-то древнего

племени, от которого дискурсмонгеры вели свою родословную.

К Хлое быстро шел неизвестно откуда взявшийся человек — видимо, он приблизился к процессии, пока все глаза были устремлены на кагана.

Человек был высок и излучал величие, хотя одет был просто и даже бедно — в рясу из мешковины, перепоясанную веревкой. Величие ему придавали седые кудри до плеч и орлиный нос. Так выглядели рыцари и герои.

Грыму почему-то сразу вспомнилась старинная монета с золотым ободком — один ойро из Музея Предков, на котором были отчеканены два сливающихся друг с другом человеческих контура с разведенными в стороны руками и ногами. В рисунке было столько свободы и гордого достоинства, что делалось ясно — монету чеканили не орки и даже не византийцы. Пояснительная табличка гласила: «т. н. «византийские мужеложцы», гравюра Леонардо Да Винчи». Несмотря на разоблачительную подпись, монета произвела на Грыма сильное впечатление. Вот такое же примерно чувство вызывал и этот дискурсмонгер.

Тот, видимо, сам был взволнован происходящим — его нижняя челюсть еле заметно подрагивала, как будто он очень быстро произносил какие-то крошечные слова, а глаза ярко блестели. Он держал посох с изогнутой ручкой, обмотанной кожаным ремешком. Когда он воздел руки, в просвете рясы стал виден точно подобранный к ней по тону бронежилет. Такие имелись только у людей.

Каган молчал, мрачно глядя на незнакомца — по этикету ответить после такого вступления было бы бесчестьем.

Первым опомнился петушиный секретарь.

— Кто ты такой, — пришел он на помощь сюзерену, — что делаешь в земле урков и по какому праву и полномочию встаешь на пути уркагана?

Человек сделал шаг к Хлое и обнял ее за плечо свободной рукой.

— Я отвечу тебе, — прогремел он, вознося свой посох еще выше. — Я философ. Но если тебе непонятно, что значит это слово, пусть я буду для тебя просто равнодушным прохожим. Прохожим, у которого нет никаких полномочий, кроме данных ему собственной совестью...

Грым заметил, что человек смотрит не на петушиного секретаря и кагана, а совсем в другую сторону — в пространство над лесом. Он догадался, что камера до сих пор висит где-то там. Происходящее наконец стало чуть понятней.

— Но хоть у меня нет полномочий, у меня есть новости! — хорошо поставленным голосом гремел человек. — И они вам не понравятся. Ваша

свора палачей и убийц не причинит вреда этому ребенку и не прольет больше ни одной слезы из этих синих глаз!

Грым подумал, что говорят явно не про него — его глаза были серо-желтыми. А потом он увидел, как человек понемногу поворачивает Хлою к невидимой камере и подталкивает в сторону — так, чтобы оставить Грыма за спиной. И древний оркский инстинкт вдруг подсказал Грымму — чтобы выжить, теперь надо не бежать от камеры, а, наоборот, любым способом оставаться в кадре. Он шагнул вперед и встал с Хлоей рядом. Дискурсмонгер мрачно глянул на него — но делать было нечего. Его голос тем временем распевно гремел над дорогой:

— Каждый человек рождается свободным, таким его замыслил Маниту! И я не могу, не стану молчать, когда какой-то монстр, ненасытное и злобное животное, попирает светлый праздник детства черной шиной своего лимузина, оплаченного слезами бесчисленных вдов. Я не знаю — но, с другой стороны, было бы очень любопытно узнать, и без промедления, — сколько еще свободный мир будет мириться с этим темным душителем свободы, делая вид, что не замечает невинных слез и брызг крови, летящих прямо в нашу оптику! Ничто не может оправдать издевательства над беззащитной чистотой, никакие затычки в равнодушных ушах не заглушат стук детского сердца, брошенного на съедение псам и свиньям! Сегодня я обвиняю оркского уркагана в том, что он палач своего народа. Сколько еще мы не будем замечать зверств этого извращенца, серийного убийцы, мечты психиатра и опаснейшего из садистов? Но я не хочу больше говорить об этом выродке, потому что он вызывает во мне тошноту. Я хочу спасти эту... Эту... Этих ребят, которым их суровая земля отказала в праве на детство и юность... Я объявляю, что они отныне под защитой Бизантиума! Они получают право на въезд в Биг Биз!

Он указал на далекий черный шар в небе, одновременно повернув голову вбок. Там, куда он смотрел, были только придорожные кусты. Грым понял, что дискурсмонгер просто показывает камере свой благородный профиль.

— Никто не может так говорить с каганом! — изумленно прошептал петушиный секретарь.

Незнакомец на миг обратил к нему сияющий неземной радостью лик и опять повернулся к пустому для непосвященных сектору неба.

— А кто с ним вообще говорит, с твоим каганом?

Грымму показалось, что вокруг стало очень тихо.

Каган по-прежнему мрачно молчал, глядя перед собой. Но петушиный секретарь этого не вынес.

— Бесчестье! — выдохнул он, выхватил из ножен свою шпажонку и пошел на дискурсмонгера.

Тот спокойно ждал, вздымая вверх свой посох, и на его лице играла все та же уверенная улыбка человека, не боящегося умереть за свои слова. И, когда Грым решил, что именно это сейчас и произойдет, в небе раздался треск, и уже знакомые красные нити перебили петушиного секретаря пополам. Вокруг поднялись высокие фонтаны праха.

Все, кто стоял на дороге, замерли.

А в следующую секунду все пришло в движение.

Первой с места стронулась Хлоя — она вырвалась из-под руки человека и побежала прочь.

Потом опомнились окружавшие моторенваген Дюрекса солдаты — и, выхватив свое оружие, пошли на человека. Но, как только они дошли до плавающего в красной луже секретаря, их сшибли те же дымные красные стрелы — хоть солдаты шли быстро, пушки без труда перемалывали их натиск. Над дорогой поднялось облако пыли, за которым моторенваген кагана был уже еле виден, на земле росла груда развороченных тел, и только человек, все также улыбаясь, вздымал навстречу атакующим свой посох.

Грым наконец сообразил, что самое время убраться с дороги. Его никто не держал. Он пронесся мимо берсерков, пытающихся удержать своих перепуганных лошадей, и помчался в лес. Он бежал несколько минут, потом споткнулся о корягу и упал. Упав, он так и остался лежать, пытаясь вернуть контроль над бешено работающими легкими.

Сзади некоторое время слышны были выстрелы. Затем они стихли.

Выждав с полчаса, он пошел по лесу, а потом выбрался на дорогу. Расстрелянная колонна оказалась за выступом леса — отсюда трупы не были видны.

— Хлоя! — закричал он.

Громко кричать было страшно, но все же он решился позвать еще раз:

— Хлоя!!

— Я здесь! — долетел ответ.

Грым увидел отделившуюся от линии деревьев фигурку — Хлоя вышла на дорогу шагах в ста впереди. Грым пошел ей навстречу, жмурясь от бьющего в глаза солнца.

Он уже открыл рот, собираясь заговорить о недавнем кошмаре, когда выяснилось, что кошмар и не думал кончаться.

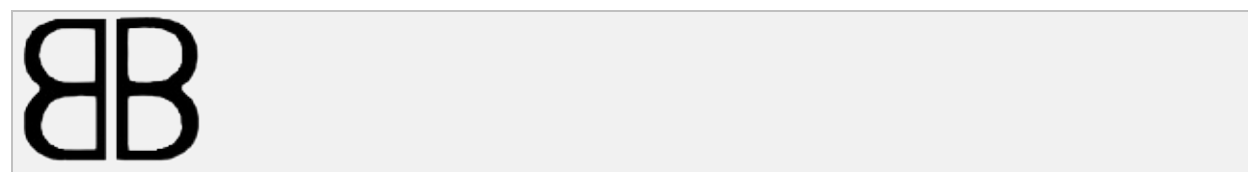
За спиной Хлои мелькнула прозрачная тень. Потом в пустоте образовалась треугольная дыра, от которой протянулся вниз сужающийся

трап. В дыре появился дискурсмонгер в коричневой рясе — он сошел вниз, и, прежде чем Хлоя заметила его, сгреб ее в охапку и швырнул внутрь черного треугольника.

Грым бросился за ним, но дискурсмонгер уже поднимался по трапу. Грым успел схватить его за ногу — но потерял равновесие и почти упал.

Дискурсмонгер поглядел себе под ноги.

Солнце озарило его раскиданные по плечам волосы, и на миг Грымму показалось, что на него смотрит какой-то солнечный бог, сошедший с небес на землю. А потом солнечный бог высвободил стопу, поднял ее — и спихнул Грыма в пыль своей сладко пахнущей сандалией.



То есть это были просто потрясающие кадры. Одна серия для вечности — с солнцем, бьющим прямо в камеру над строем воинов с пиками. А вторая, уже без всяких выкрутасов — для новостей.

Я снимал одновременно на все носители, и теперь у меня была почти минута на храмовом целлулоиде, где в одном фрейме был виден развалившийся в моторенвагене Рван Дюрекс со своей убогой резиновой женщиной (даже не анимированная, и кожа из самого дешевого биопластика), дикого вида бородатые воины с занесенным оружием и стоящие перед ними детки, причем особенно хорошо получилась Хлоя, потому что она все время моргала своими огромными глазами, пытаясь зареветь, но у нее никак не получалось, и выглядело это так, словно ей и вправду непонятно, где она и что происходит. Ее оркская раскраска была очень кстати — эти зигзаги на лбу входят в моду и у нашей молодежи. Поможет с эмпатией, ясно любому сомелье.

Кстати пришились и оркские бородачи.

У орков есть два вида элитной гвардии — отряды, которые должны строиться по правую и левую руку от кагана, «правозащитники» и «ганджуберсерки» («левозащитниками» их не называют, потому что эта сторона считается у орков нечистой). В боевом смысле они примерно равноценны, но из-за своих трубок, бород и дредов ганджуберсерки гораздо лучше смотрятся на маниту. Мне повезло, что разбираться с детками стали именно они — правозащитники носят длинные черные плащи со спастикой и больше похожи на попов, чем на солдат.

Грым тоже попал в кадр, к чему я совсем не стремился. Но было секунд пятнадцать, где Хлоя шлепала ресницами одна — рядом с зазубренным наконечником копья, с чуть размытым каганом на заднем плане. Грыма теперь могли вырезать, а могли и оставить в кадре в расчете на гей-аудиторию, он был вполне симпатичный. Но такие вопросы решаю не я.

И тут на арену выскочил этот клоун Бернар-Анри, про которого я, если честно, совсем забыл — и принялся отрабатывать свой номер. Таким обдолбанным я его еще никогда не видел, но пришлось снимать — это все-таки моя работа. В общем, пообнимался он с оркским юношеством, погрозил кулаком солдатам, и тут бы ему в самый раз убраться с дороги. Все бы кончилось чисто — каган ведь не дурак и понимает, что к чему. Но болван перегнул палку, и мне пришлось стрелять.

Я терпеть не могу работать в таких условиях — это как слону танцевать в посудной лавке. Мне ни в коем случае нельзя было попасть в кагана или в эту оркскую парочку, уже зафиксированную на храмовой пленке. В Бернара-Анри, понятно, тоже нельзя было стрелять, хотя мне почти хотелось. Между ним и каганом оставался узкий просвет, по которому я мог работать из своих пушек, и не было, естественно, никакой гарантии относительно рикошетов, проходивших опасно близко к автомобилю.

— Уйди с директрисы, кретин! — закричал я Бернару-Анри по связи.

Но тот словно не слышал — а может, просто отключил связь. Я уже думал, что положу кагана и потеряю работу — но спасла случайность.

Каган в это время тоже был на связи — и, хоть знал, что в него стрелять не должны, испугался. Как только началась пальба, он прижался к своей резиновой женщине. Вышло это у него непроизвольно, потому что он опытный человек и знает, как вести себя перед камерой. Но получилось смешно.

А дальше оказалось еще смешнее.

«Директрисой» на нашем профессиональном жаргоне называется коридор для пуль, который нельзя занимать членам съемочной группы. А каган, этот тупой орк, решил, что люди так называют резиновых женщин и он портит мне кадр. В результате он резво откинулся в сторону. И в самое время — один из рикошетов прошел точно сквозь его резиновую бабу, из которой во все стороны брызнула красная краска. Это сразу же сообщило внимательному зрителю очень многое об интимных вкусах кагана. Верх его моторенвагена стал подниматься, но было уже поздно.

Только тогда до Бернара-Анри дошло, что самое время убраться с

дороги. Стража оцетинилась пиками, сомкнула кольцо вокруг закрывшегося моторенвагена, и процессия поползла дальше по дороге, прямо по трупам — чтобы не размыкать строй. Бернар-Анри все еще вздымал вверх свой посох, но я его уже не снимал. Поскольку на Бернара-Анри больше никто не нападал, стрелять у меня повода не было.

Когда орки прошли, оказалось, что на дороге не меньше сорока солдатских трупов. Они были черные, истоптанные подошвами и выглядели страшно — снимать это для новостей было ни к чему. Спасенных уже не было видно — они успели благополучно слинять.

Я поглядел на маниту и увидел, что система насчитала мне за эти пятнадцать минут полтора миллиона. Видимо, многое из снятого пришлось нашим сомелье весьма кстати. Если бы я так зарабатывал на каждом вылете, я мог бы купить себе внешнюю виллу в нижней полусфере, подумал я. Или вернул бы кредит за Каю всего через три года...

Бернар-Анри все еще стоял на обочине — видно, никак не мог прийти в себя от своих М-витаминов. Я вызвал его трейлер и решил дождаться, пока он в него залезет — все-таки до конца операции он был на моей ответственности. Ругать я его не стал, поскольку все кончилось удачно, а по военной традиции в таких случаях разбор полетов оставляют на потом. Но тут он решил поговорить со мной сам.

— Где девчонка? — спросил он хрипло.

— Откуда я знаю, — ответил я. — Я за ней не следил.

— Я с ней не закончил, — сказал он.

Тут уж я не выдержал — потому что отлично понимал, о чем он говорит на самом деле.

— Я сейчас из-за тебя чуть кагана не убил, кретин, — заорал я. — Я еще и твоих сучек должен пасти?

— Ты с кем говоришь, летающая задница? — заорал он в ответ. — Я Бернар-Анри Монтень Монтескье! А кретин был твой папа, что не кончил на пол...

И пошло, и поехало — пока прилетело его корыто, мы десять раз успели высказать, что думаем друг о друге, и даже немного больше. Потом он отправился ее искать, и вскоре сообщил, что девка нашлась — она пряталась в лесу. Он погрузил ее в трейлер и повез в Зеленую Зону — у него давно отработана технология. В этот раз его подруга имела шанс прожить дольше чем обычно — Бернар-Анри взял подряд на обустройство послевоенного мира и мог застрять внизу надолго.

Теперь я имел полное право поставить камеру на автопилот и парковку. Камера полетела домой, а я был свободен.

Как только я слез с боевых подушек и снял очки, Кая подняла на меня глаза и сказала:

— Мясник.

Я к этому времени уже забыл, что сам посадил ее у контрольного маниту следить за вылетом — поскольку стрельбы в моих планах не было. Кто же знал, что все так обернется. Девочка, конечно, увидела много нехорошего.

— Летающая задница, — повторила Кая злым голосом, — Зачем ты убил столько народу? Мне их жалко. Жирная скотина. Кровавый дебил. Я больше никогда не буду смотреть, как ты летаешь. Слышишь? Никогда!

Тут мне стало обидно, потому что я и правда тучный. Бернар-Анри всегда бьет ниже пояса. Кая тоже.

Издеваться над избытком веса способен только худой во всех смыслах человек. Где ему понять, что раздобреть Маниту позволяет лишь избранным. Не зря ведь богача с незапамятных времен изображают хохочущим толстяком.

Ваша масса — это ваше присутствие во вселенной. Если вас сто пятьдесят кило, заключенной в вас жизни хватит на двух среднестатистических граждан. Неудивительно, если вы умнее обычного человека или значительно превосходите остальных в какой-нибудь области. Толстяки, конечно, не всегда гении, но, как правило, это интересные, добродушные и чрезвычайно полезные обществу люди. Я хороший пилот именно потому, что при управлении «Хеннелорой» полагаюсь на инстинкты — то есть лечу животом. Сразу всем.

Правда, в силу технологических причин пилоты древности в большинстве были худыми и маленькими, но и здесь я могу указать на таких известных асов, как Герман Геринг и Бенито Муссолини. И совсем не случайно оба прославились также в качестве государственных деятелей. Но Кае на все это наплевать.

Я, кстати, заметил интересную вещь. Когда она называет меня жирным, мне не обидно, я уже привык.

Когда называет слабоумным, я тоже только посмеиваюсь. Но когда она называет меня слабоумным и жирным одновременно, я чувствую обиду. И ничего не могу с этим поделать.

Кроме себя мне винить некого. Я сам выставил ей сучество на максимум — никто меня не заставлял.

Это такая настройка в ее красном блоке. У меня на предельных положениях стоят одновременно «сучество», «соблазн» и «духовность». Но о том, что это значит, я расскажу чуть позже.

Короче, я обиделся и пошел в комнату счастья, где стоит маниту, с которого управляется Кая. Там я ввел пароль и поставил ее на паузу.

Я регулирую ее настройки из такого места не потому, что вкладываю в это какой-то символический канализационный смысл — просто Кае никогда не надо сюда ходить. Меньше риска, что она когда-нибудь дотянется до управления сама. Но я чувствую, что здесь мне пора дать некоторые пояснения.

Кая — это цветок моей жизни, моя главная инвестиция, свет моего сердца, счастье моих ночей и еще много-много лет выплат по кредиту.

Кая — моя сура.

Я хочу сразу объяснить, что по своей сексуальной ориентации я стопроцентный глуми. Глумак, глумырь, куклоб, пупарас — называйте меня как хотите. Если вы пупафоб и у вас есть предрассудки на этот счет, это ваша проблема, которую вам вряд ли удастся сделать моей. Мы веками боролись за свои права — и добились, что сегодня слово «gloomy» пишется через почетную запятую со словом «gay». Но это политкорректный термин, а сами мы зовем себя пупарасами.

Если вы не в курсе, «пупарас» — это бывший оскорбительный термин для глуми пипл, образованный от древнелатинского «рира» — «кукла». Мы взяли его на вооружение — точно так же, как геи когда-то превратили оскорбительную кличку «queer» в свою ироническую самоидентификацию. На Биг Бизе это в высшей степени респектабельное выражение. В качестве оскорбления слово «пупарас» сегодня используют только орки, которые путают его с «пидарасом». Но для них эти термины не обязательно указывают на сексуальную ориентацию и чаще всего означают человека, пренебрегающего нравственными нормами (хотя что это такое для орков — отдельный вопрос).

Я, конечно, ничего не имею против биологических партнеров и даже пробовал их несколько раз в жизни. Но это попросту не мое. Мой выбор — сура.

Мне безумно нравится само это слово. Так, мне кажется, должна называться песня, молитва, или какая-нибудь птица райской расцветки. Но это просто сокращение церковноанглийского «surrogate wofe», дошедшее до нас из времен, когда пупарасов еще можно было публично унижать. Только я не уверен, что сур правильно называть суррогатными женщинами (тем более «резиновыми», как иногда на слэнге говорим мы сами).

Скорее, суррогатами в наши дни являются женщины живые. Особенно после того, как возраст согласия повысили до сорока шести. И резиновыми их тоже вполне уместно называть — из-за имплантов, которые они ставят

себе сегодня практически во все места.

С тех пор, как киномафия и пожилые феминистки захватили в нашем старящемся обществе власть, главное, что они делают, это повышают consent age. Сейчас они планируют добраться до сорока восьми. Для геев и лесбиянок возраст согласия пока сорок четыре, потому что у них сильное лобби, и они пробили себе эту поправку через affirmative action,^[7] — но им тоже планируют поднять до сорока шести. И если бы не GULAG (а я член этого движения уже девять лет), возраст согласия подняли бы сразу до шестидесяти.

Наше объединение, по сути — последний якорь, на котором в обществе еще держатся остатки свободы и здравого смысла. Но про ГУЛАГ я расскажу как-нибудь потом — долгая тема. Сейчас замечу только, что это единственная подлинно общественная сила, способная, если потребуется, противостоять и властям, и новостям. То, что называется grassroots power.^[8] И линия фронта, хе-хе, проходит прямо через мое сердце.

На самом деле, конечно, не все так страшно — строго запрещен не секс, а его съемка. В отношении самого секса действует ювенальное правило «don't look — don't see».^[9] Впрочем, ежедневно извлекать из него практическую пользу могут только орлы вроде Бернара-Анри.

Как утверждают циники, возраст согласия повышают пожилые феминистки — в надежде, что кто-то польстится с голодухи на их перезревшие прелести. Чушь, конечно. Борьба за чужое сексуальное бесправие — это экстремальная форма полового самовыражения, примерно такая же, как секс со старой сандалетой или анальный эксгибиционизм. Посмотрите на лица борцов, и все поймете. Конечно, жестоко отказывать им в праве на реализацию своих эротических фантазий. Проблема, однако, в том, что эгоистичные действия одного-единственного секс-меньшинства создают проблему для огромной массы людей.

Но дело даже не в самих этих кликушах — здесь они просто ширма. Их используют исключительно в качестве говорящих голов, а направляют и финансируют эту работу совсем другие силы.

Власти повышают возраст согласия из-за постоянного давления киноиндустрии, которая яростно лоббирует этот вопрос. Впрочем, попытки киномафии поднять возраст согласия находят в обществе известный отклик, ибо соответствуют его ханжеской морали. Кающиеся геронтократы думают, что успеют перед смертью задобрить Маниту, принеся ему в жертву чужую радость. Но мы не радуем Маниту этими дарами. Мы лишь оскорбляем Его.

Когда в воскресенье мы, свободные люди нового века, приходим в храм, чтобы посмотреть свежий снаф, мы каждый раз лицом к лицу сталкиваемся с бесконечным лицемерием, пропитавшим нашу мораль. Лицемерием объемным, выпуклым и цветным.

Нет, наше подношение не лживо целиком. Мы, пилоты, чисты перед Маниту: со смертью в снафах все честно. Но любовь, которую мы предлагаем Его чистым лучам, насквозь фальшива. И когда Маниту покарает нас — а рано или поздно такое случится, — бенефициаров этого святотатства не спасут ни счета, ни сокровища.

Выглядит все вполне пристойно. Актеры не вызывают отвращения, их тела все еще красивы (хоть и несколько перезрелой лоснящейся красотой), движения тщательно продуманы, режиссура совершенна. Но хоть пластическая хирургия и достигла в наши дни небывалых высот, природу трудно обмануть.

С мужчинами это не так страшно. В конце концов, мужской пол достаточно безобразен по своей сути — вместо красоты у него, как говорится, тестостерон и деньги. Но актрисы...

Вы видите, например, сидящую на кровати девчушку с двумя пегими косичками и плюшевым зайкой в руках, и уже верите, что перед вами нежное утро юности — а потом на шее у этого выкроенного из собственных лоскутов существа вдруг мелькает еле заметная птеродактиль складка, вы мгновенно понимаете, что это старуха, и теплая волна внизу вашего живота сменяется дрожью омерзения, пронзающей все тело.

Женщина — это волшебный цветок, при взгляде на который с вами должно случиться умопомешательство, достаточно сильное для того, чтобы подвинуть вас на тяготы деторождения. Так захотел Маниту.

И вот в воскресенье вы приходите в храм, но вместо цветка вам показывают раздутую имплантами высокобюджетную грудь, которой по всем законам природы уже полвека как пора распасться на силикон и протеины. А затем извиняются, что все остальные лепестки все еще в повязках после пластики. И ожидают от вас приступа вакхической любви к жизни.

Главное, все знают, что среди «учеников» и «учениц» этой проклятой Маниту актерской касты есть действительно красивые молодые люди. Очень красивые, чего там. И все понимают, что на храмовой пленке они выглядели бы гораздо лучше.

Вот именно поэтому «возраст согласия» и задрали до сорока шести лет. Порноактеры — крайне богатые люди, поскольку за храмовую съемку

платят невероятно много. Не будет преувеличением назвать этих людей могучей мафией, у которой сильнейшее политическое лобби и большая общественная поддержка — из-за того, что средний возраст жителей Биг Виза довольно преклонный. Все в киномафии понимают друг друга с полуслова и совсем не желают, чтобы у них появились молодые конкуренты.

В открытом информационном обществе никто не может криминализировать киносъемку. Зато при мощном лоббировании вполне можно криминализировать снимаемое. Это не окажет на личную жизнь граждан большого влияния из-за правила «don't look — don't see», но храмовая порносъемка молодых актеров сразу окажется невозможной в силу очевидного и документально зафиксированного нарушения закона.

Такой вот парадокс.

Поэтому молодым актерам — тем, кому за двадцать и за тридцать, — десятилетиями приходится ходить в «учениках», то есть просто вращаться в эту мафию. А в храмовом порно играют старики и старухи, которым по пятьдесят, а то и по семьдесят лет. Если бы их снимали на цифру, то все проблемы можно было бы решить при обработке материала на маниту. Но с храмовым целлулоидом так поступать нельзя, ибо снаф — это таинство. Поэтому я и говорю, что наше приношение нечисто. Но обсуждение подобных тем слишком болезненно для нашего общества. Есть вещи, о которых просто не принято говорить. Это одна из них.

К счастью, в жизни gloomy people возраст согласия не играет никакой роли, потому что касается только происходящего между людьми. А мы пользуемся сурами, с которыми никогда не возникает такой юридической проблемы, как «consent» — ибо согласия здесь не требуется ни от суры, ни от вступающего с ней в контакт человека. Сур запрещено снимать в снафах (они не могут быть субъектом религиозного ритуала) и в порно (они «имитируют лиц, не достигших возраста согласия»). Но если вы пользуетесь сурой у себя дома, никаких проблем у вас не возникнет. Пока, конечно, вы не начнете выкладывать в сеть видеоотчеты о победах на личном фронте — такое случается каждый год, и несчастных придурков тут же приносят в жертву общественной морали под пронзительное улюлюканье седых феминисток.

Суры бывают самыми разными — от налитых красной краской резиновых кукол, которыми пользуются девианты-садисты и оркские каганы (для Рвана Дюрекса, впрочем, это просто статусный символ), до таких совершенных чудес, как моя Кая — «самоподдерживающаяся биосинетическая машина класса «премиум 1», как гордо называет ее

инструкция по эксплуатации.

Как я уже говорил, моя камера, возможно, не самое лучшее, что есть на рынке. А Кая — это лучшее. И ничего совершенней не будет, я думаю, уже никогда. Все бесчисленные древние технологии, которые оживляют и одушевляют ее маленькое тело, сейчас умеют только воспроизводить — и вряд ли кто-то сможет ее улучшить. Тем более, что особой необходимости в этом нет.

Позволить себе такую модель, как моя Кая, могут лишь весьма немногие обитатели нашего тесного маленького мира.

Что у нее внутри, я не знаю.

То есть, конечно, в определенных пределах мне это известно, и очень хорошо, но не хотелось бы скатываться в пошлость. Я имею в виду, что не особо представляю, как функционирует ее электронная и механическая начинка. Я даже не знаю толком, как все это выглядит — хотя отдаленное представление имею, несколько лет назад один сумасшедший распилил суру такого же класса на части, и кое-какие фотографии случайно дошли до моего маниту.

Этот парень, кажется, был из секты Сжигателей Пленки. В новостях говорили, что он хотел достать из своей девочки атомную батарейку и сделать из нее бомбу или что-то подобное, но это чушь, поскольку батарейка совершенно безопасна и самозаглушается навсегда при любой попытке несанкционированного доступа. Это зеленый атом, тот же принцип, что и во всех древних машинах. Она не дает загрязнения ни при каких обстоятельствах и стоит крайне дорого — такой батареи нет даже у моей «Хеннелоры». Критическая технология. На боевую технику, которая может попасть в руки врага, ее не ставят.

Идиотизм, конечно. Во-первых, сура тоже может убежать вниз — во всяком случае, теоретически. Во-вторых, если враг выковыряет атомную батарейку из сбитой телекамеры, он все равно ничего не сможет с ней сделать. Дело здесь просто в сговоре производителей телекамер, которым не хочется выходить на новый виток конкуренции. Поэтому «Хеннелору» надо время от времени перезаряжать, а Каю — нет. Атомной батарейки хватает на века, и сура всегда переживает хозяина. Так что этого парня можно понять.

Я не знаю, как работает эта атомная батарейка и вся синтетическая биология внутри ее тела. Я только знаю, что в телесном смысле она неотличима от юного, идеально здорового и свежеевымытого человеческого существа. У нее есть даже электронный симулятор биополя.

Физически она почти нас не превосходит — она не может слишком

быстро бегать или совершать разные акробатические трюки (хотя с прискорбием замечу, что жирному мне она даст сто очков вперед и здесь). Это домашнее создание, рассчитанное главным образом на спокойные перемещения по жилищу. Зато ходить, жестикулировать и выполнять всякую мелкую домашнюю работу она может ничуть не хуже человека.

Она дышит — вернее, делает вид. Но воздух все время входит и выходит из ее тела, и говорит она в точности как мы.

Она не нуждается практически ни в чем, даже в ремонте — если повредить ее нежную кожу, рана вскоре затянется сама. Инструкция велит только давать ей воды и еще две-три эксплуатационных таблетки в год (это какие-то пластиковые шарики, по виду похожие на витамины). Она может глотать их и в гораздо большем количестве, если вы хотите, например, чтобы она отрастила волосы или стала полнее.

Можно обойтись и без эксплуатационных таблеток — кормить ее прессованным кормом для рыбок или любым другим органическим концентратом, и ее внутренняя структура сама отберет требуемые вещества. А в самом крайнем случае она сможет обойтись и без этого — даже если вырвать кусочек ее тела, оно все равно сумеет вернуть себе прежнюю форму. Бедняжка просто станет на несколько граммов легче. Самовосстанавливающаяся квазиорганическая наноткань, кажется, так это называется в инструкции.

Вода нужна ей только в те волшебные дни, когда мы занимаемся любовью, — или она хочет помучать меня своим плачем — но здесь мы вновь приближаемся к деликатной теме, которой мне не хотелось бы касаться.

Я, однако, слишком долго говорю о том, что у нее внутри — пора бы сказать, что у нее снаружи.

Когда вы приобретаете суру такого класса, вы проводите немало времени с командой сомелье, обдумывая все интимнейшие детали будущего продукта. Вы придирчиво изучаете каждый квадратный сантиметр тела — с ним вам предстоит провести остаток жизни. Обсуждаются такие нюансы, о которых не говорят с самыми близкими людьми. Глаза, нос, подбородок, линии скул, форма соска, пупок и все то, что ниже — любая из этих подробностей отнимает часы, а то и дни. Но частности шлифуются уже на этапе доводки, и это в суре не главное.

Главное в ней — тот опустошительный удар по сознанию, который она наносит каждый раз, когда вы останавливаете на ней взгляд. Сомелье пытались объяснить мне, в чем здесь дело, и я, кажется, понял.

При самом циничном взгляде на самку человека — а производители

сур смотрят на нее именно так, — она представляет собой просто биологическую машину, которую можно условно разделить на два блока — информационный и воспроизводящий («гипнотабло» и «спермоприемник», как выразился работавший со мной консультант-суролог).

Воспроизводящий блок — это конвейер по производству новых человеческих существ, про который все и так хорошо знают. А вот информационный блок...

Здесь у меня возникают трудности с формулировкой. Скажем так, это совокупность сигналов, которые женщина посылает в пространство с целью обеспечить (или, наоборот, купировать) репродукцию. Вернее, она думает, что посылает их сама, но на самом деле девяносто процентов за нее делает природа, которой на эту конкретную самку глубоко наплевать. И в этом, конечно, главный источник вековой женской скорби.

Почему так могущественно женское очарование? Почему в юном существе, почти еще ребенке, дремлет сила, способная сокрушить царства?

Дело в том, что красота юной девушки — это свернутое будущее, незримо присутствующее в настоящем. Это сообщение о том, что прямо здесь может запросто открыться дверь в далекое завтра — одна из тех, сквозь которые Маниту ускользает сам от себя в грядущее уже столько миллионов лет. Маниту нравится, когда он видит такую дверь через наши глаза. А мы — всего лишь его слуги и пешки. И все, что мы можем — это почтительно и быстро исполнять его приказы. Даже в те непростые минуты, когда Его взгляд останавливается на мальчиках или овечках.

Теперь я попробую повторить то же самое не так поэтично.

Информационные сигналы, которые должны обеспечить репродукцию, доходят до каждого из шести органов чувств. Тут действуют и запахи, и прикосновения, и вкус чужих губ, и звуки слов, и вызываемые этими словами мысли — но важнейшим каналом, конечно, остается визуальный.

Женская красота с научной точки зрения — это не что иное, как суммарная информация о геноме и репродуктивной способности, которые анализируются мозгом за доли секунды: мужчина понимает, нравится ему женщина или нет, после первого же взгляда. И если она ему нравится, это чувство достигает крайней интенсивности немедленно, ибо через пять минут мужчину могут убить звери и природа не хочет рисковать.

Но мы живем не в пещере, а в обществе. Поэтому совершенно правы были религиозные моралисты, заставлявшие женщин прикрывать специальной тряпочкой не только спермоприемник, но и гипнотабло. Ибо главный половой орган женщины — это, конечно, лицо. Не зря ведь чуткие к тихому голосу природы орки так его и называют: «ебальник». Все это,

конечно, самоочевидно — я не стану даже ссылаться на существование такого хрестоматийного жанра храмового порно, как facial. Не говоря уже о косметике.

Наше потомство от некоторых женщин имеет лучшие шансы на выживание (или по какой-то другой причине кажется предпочтительным огромной биологической программе, частью которой являемся мы все). Такие женщины нравятся нам больше, чем другие — то есть не нам, а этой самой программе, которая со свойственным ей цинизмом окунает нас сперва в романтическое опьянение, потом в долгие сердечные муки, а затем в нудные юридические хлопоты.

Создатели сур используют этот информационно-биологический механизм. Сперва они берут пробу вашей ДНК. А потом они рассчитывают такой тип женской красоты, который будет полностью конгениален вашему геному. На других ваша сура будет действовать почти так же — генетически мы все достаточно друг к другу близки. Речь идет только о нюансах. Но, как всякий знает, именно в них и дело.

Такая красота, конечно, ошеломляет — это надо испытать самому. Вам остается только выбрать виртуальный возраст вашей суженой и отшлифовать мелкие детали.

Насчет оптимального возраста особого единства в рядах пупарасов нет — как нет его и среди натуралов. Бернар-Анри, который увлекается оркским юношеством, утверждает, что цветок человеческой красоты быстро увядает, и нужно торопиться сорвать его, пока он еще свеж. В чем-то он, конечно, прав. Я нахожу, что для женщины лучше всего возраст Хлои — шестнадцать лет, та граница, которую наметила сама природа (говорящая с нами в том числе и на языке криминальных уложений, ибо она многолика). Недаром ведь это возраст согласия у орков, еще сохранивших определенную близость к естеству.

Женщины моложе шестнадцати интересуют лишь детей и девиантов. Женщины старше уже занижают свой возраст, чтобы гипнотабло могло легче завлечь клиента в спермоприемник. А раз так себя ведут сами женщины, значит, это действительно голос природы.

Но Кае никогда не надо будет занижать свой возраст. Кая — цветок, который не увянет.

Сура — это не постельный манекен оптимального для вас вида, нет. Она может говорить. И она не просто произносит слова, а вступает с вами в полноценное общение. Ее поведение можно менять в широких пределах — но обо всем этом я расскажу в следующий раз. Сейчас же я объясню только, что я сделал, поддавшись слепой обиде.

Итак, поставив Каю на паузу, я открыл на своем приватном маниту экран ее эмоционально-волевого блока и некоторое время размышлял, не снять ли ее с максимального существа. Но слова «летающая задница» уже перестали реверберировать в моих ушах, и я решил этого не делать.

А поскольку я уже залез в настройки, я ограничился минимальным вмешательством: пользуясь несколькими вторичными регулировками во вспомогательном окне, я выставил ей усиленный интерес к моей работе — чтобы она не вздумала выполнить свою угрозу. Максимальное существо делает ее весьма злопамятной, а мне нравится, когда во время полета она сидит у контрольного маниту.

Какими именно ее аспектами моей работы ей следует интересоваться, я уточнять не стал, оставив во всех графах символы «any» или «self-origien». Это была не особо рискованная операция. Кроме того, в тот миг меня все еще переполняла обида и хотелось чем-то себя занять.

К концу процедуры я вспомнил, что уже два раза давал себе слово не лазить в ее настройки, ибо это превращает ее из неповторимого спутника жизни в заводную игрушку. Настоящий пупарас так не поступает — он настраивает свою суру только однажды, на все времена.

Я вновь торжественно поклялся, что подобное происходит со мной в последний раз. А чтобы моя клятва не была пустым сотрясением воздуха, я запер блок настроек на принудительную получасовую задержку — теперь, поставив ее на паузу, надо было ждать доступа к регулировкам тридцать минут. Это ценнейшая черта программы, введенная по многочисленным просьбам пользователей. Пока буду ждать, думал я, проснется gloomy pride.

[\[10\]](#)

Потом я снял ее с паузы.

Когда я вернулся, она глядела в контрольный маниту.

Камера уже припарковалась на технической стоянке, и по экрану шли контрольные цифры.

— Было страшно, но интересно, — сказала она, подняв на меня свои темные глаза. — Спасибо, попка, развлек. Но я хочу знать, что случилось с этими оркскими ребятами дальше. Особенно с этим парнем. Ты мне покажешь?

Вот так бы сразу.

— А что мне за это будет? — спросил я.

— Как обычно, — сказала она и опустила глаза.

— Когда ты хочешь на них посмотреть?

— Сегодня. Прямо сейчас. Пожалуйста, а?

Обожаю, когда эта девочка меня о чем-нибудь просит.

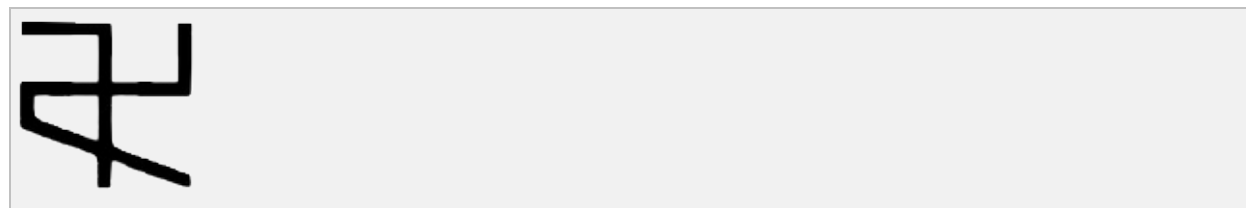
Я поглядел на контрольный маниту. «Хеннелора» стояла в очереди на зарядку — вся процедура вместе со сменой боекомплекта не должна была занять больше получаса. Но я не хотел слишком ее баловать.

— Сегодня уже не выйдет, душечка, — сказал я и потянул ее за рукав. — Потом. Дня через три. Если будешь хорошо себя вести.

— А почему не сейчас?

— «Хеннелоре» надо отдохнуть. А вот Кае придется немного поработать...

Она кивнула и чуть покраснела. И хоть в самом начале нашего знакомства я два вечера лично настраивал этот эффект, мое сердце забилось значительно быстрее.



Грым не мог сосредоточиться, потому что внизу шумели.

Там уже много часов шла пьянка — провожали в последний путь дядю Хоря, инвалида-сапожника, умершего два дня назад. Сначала между родственниками шла долгая ссора, и до Грыма долетали матюки. Потом внизу помирились и стали петь оркские народные песни.

Сперва прочувствованно, со слезой исполнили «Из этой жопы хуй уедешь». А когда запели «Ебал я родину такую», взяли такое «ля», что Грым, пытавшемуся делать уроки на втором этаже, пришлось заткнуть уши затычками из пенопластика.

Через два дня надо было сдавать выпускное сочинение за одиннадцатый класс на тему «Что я знаю об Отчизне и мире», а оно еще не было готово. Но Грым не особо волновался, поскольку дома имелось бумажное издание «Свободной Энциклопедии», изданной при Просре Ликвиде. Обычно он списывал все сочинения прямо оттуда, для правдоподобия коверкая язык, пропуская мелкие факты и добавляя ошибки. Это сходило с рук, потому что у учителей такой энциклопедии не было — ее теперь можно было найти только в Желтой Зоне.

Первую часть сочинения он решительно списал из исторического очерка:

«В эпоху Древних Фильмов были две великие страны, Америка и Цхина, которые возвышались над мировым Хаосом и питали друг друга.

Когда древность пришла в упадок, Цхина отгородилась от мира Великой Стеной и распалась на отдельные царства, а в Америке начались войны между хиспаниками и афрониггерами, и она разделилась на несколько враждующих территорий.

Самой сильной страной в мире стало наркогосударство Ацтлан, в которое вошел испаноязычный юг Америки и бывшее Мексико. К жившим там людям пришел Маниту Антихрист, облачившийся в человеческое тело, чтобы дать новый Закон. Антихрист добровольно взял себе это имя и знак спасики, чтобы очистить людские умы. Ибо самое ненавидимое, самое страшное он очистил Своим Светом и объявил, что прошлого больше нет, и голос Маниту отныне станет говорить из самых темных углов, дабы люди поняли, что нет места, которое не было бы Домом Маниту. И Ацтлан убил Его, и взял Его кровь на себя.

Ацтлан был мрачной деспотией, где правила жестокая и безнравственная элита. Такими же были Ямато, Бразил, Царство Шэнь, Сибирская Республика и Еврайх — все те страны, которые подняли над поверхностью свои офшары...

Теперь надо было написать про офшары. Грым встал из-за стола, поставил черно-золотой том энциклопедии на полку и взял другой. Открыв его на нужной статье, он сел за стол и принялся писать дальше:

«Первоначально офшары были свободной от налогов экстерриториальной зоной, где не действовало наземное право. Они появились, когда презиратор Ацтлана Хорхе Кровавый даровал всему миру ацтланское гражданство и обязал всех живущих на земле платить налоги под угрозой ядерного холокостинга. Шары, висящие над землей на антигравитационном приводе, формально не попадали под этот закон.

Постепенно туда переместилась киноиндустрия, наука и финансы — сбылась наконец давняя мечта банкиров всей Земли об офшорном эмиссионном банке. Офшары стали превращаться в огромные летающие города, где жила элита человечества, не боясь, что туда ворвется толпа «оккупантов» со своими палатками, громкоговорителями и революционными плакатами. Все технологии социального протеста, известные в прошлом, потеряли свою силу. Когда между наземными странами по неясной причине началась великая война на взаимное уничтожение, офшары не пострадали, потому что были объявлены зоной мира, и атомное оружие против них не применялось...»

Грым перевел взгляд на следующий лист, растерянно пробежал по нему глазами и чертыхнулся. Следующие пять или шесть страниц были вырваны.

Это сделал кто-то из родни — с совершенно очевидной бытовой целью. Причем сделал совсем недавно, поскольку Грым читал статью всего несколько месяцев назад. И она была такой интересной, что он уже предвкушал, как прочтет ее заново. Оказалось, напрасно.

В поисках вдохновения Грым поднял глаза на стену перед рабочим местом.

Там висела визитная карточка двоюродного дедушки Морда — покойного родственника матери, ухитрившегося стать в Биг Бизе настоящим лоером и работать оттуда на богатых вертухаев. На ней были просто и строго напечатанные буквы и цифры:

Морд инн 1 7012 00 126 01 8
Attorney at Law
Big Byz 093 457 890-3288

Карточку повесила мать, когда он был совсем маленьким — чтобы Грым, поднимая глаза, каждый раз вспоминал, чего может добиться своим трудом обычный орк. Как ни странно, пример помогал. Вот и сейчас Грым решил, что вполне обойдется без вырванных страниц.

Кое-что он еще помнил. Особенно историю гибели великих офшаров прошлого — там было много интересного и жуткого. Например, про офшары Еврайх и Ямато говорилось, что они были затоплены после самоубийства командования (он даже помнил — на Еврайхе вся элита приняла цианистый калий после прослушивания древней оперы, а упавший в Балтийское море офшар с тех пор возвышается над ним мертвой черной горой). Циклопический офшар царства Шэнь, где жило больше ста миллионов человек, выбросило в космос, когда пошел вразнос неправильно скопированный антигравитационный привод. Это до сих пор считалось самой крупной катастрофой в истории человечества, и Сражающиеся Царства за Великой Стеной окончательно перешли на экологический путь развития во многом под влиянием этой трагедии.

Ходили слухи, что два последних офшара, Ацтланский и Бразильский, обрушили не современным оружием, а силой колдовства. Про Ацтлан никто ничего толком не знал, потому что после убийства Маниту Антихриста эту землю считали проклятой. А про Бразильский офшар говорили, будто его повалил увитый цветами мальчик, которого привезли на колеснице из черепов ягуара — и сделал он это, играя на дудочке.

В общем, отжалось информации на несколько предложений — но этого должно было хватить.

Дальше следовало сказать пару слов про последний мировой офшар —

Бизантиум, или Биг Биз. И хоть он висел прямо над головой, именно эта задача оказалась самой сложной.

Было непонятно, каким тоном о нем писать. Та тщательно составленная смесь заискивающей робости и лютой ненависти, из которой состояли оркские новости, не поддавалась имитации. А стоило чуть переборщить с ненавистью (или, наоборот, с уважением), и могли начаться проблемы.

Грым решил сухо изложить базовые факты, и все.

Население Биг Биза — около тридцати миллионов. Политический режим — либеративная демократура в форме манитуальной демархии (или наоборот — что это такое, все равно никто не понимает). Государственный язык — церковноанглийский, но в ходу также верхнерусский. Политическая система — двухпартийная ритуальная. Фронтмен Резерва Маниту, он же Презиратор и Авгуру Дженерал, выбирается из Рыжих или Белых сроком на шесть лет. По конституционной норме никто не знает его имени и не видит лица; его также запрещено упоминать в новостях.

Точный размер офшара — засекречен (даже этого не можем измерить сами, подумал Грым), но самый большой из всех существовавших, поскольку все, что можно было отстыковать от прошлых офшаров, было перед их гибелью перевезено на Биг Биз. Чем и объясняется его чуть заметная асимметричная горбатость. Офшар, как вы уже догадались, висит над нашим любимым городом-столицей, древней колыбелью цивилизации, где располагалось офшорное поселение позднего проволочного века, уничтоженное ядерным взрывом во время войны Сибирской Республики с Ацтланом... На месте взрыва и находится теперь Оркская Слава, а прямо над ней — Биг Биз, перемещенный сюда несколько столетий назад.

Грым задумался. «Офшорный» — то же самое, что «офшарный», или нет? Слово встречалось уже второй раз. Кажется, нет — кто-то говорил, на этой ошибке все время попадают выпускники: была такая офшорная цивилизация проволочного века, которую мельком проходят в истории родного края, но к концу школы ее уже никто не помнит.

Еще можно было вставить запомнившуюся фразу из пропагандистской передачи: Биг Биз обречен вечно оставаться на приколе над оркской столицей, поэтому у орков и у людей в конечном счете одна судьба, чего до сих пор не понимает заносчивая олигархия Бизантиума. Но это потом, в самом конце.

Хорошо еще было бы добавить что-нибудь техническое, умное и серьезное, но совсем чуть-чуть, просто чтобы соответствовать государственному тренду...

В статье про антигравитационный привод нашлась подходящая фраза, которой можно было ограничиться. Грым передрал ее полностью:

«В отличие от офшаров прошлого, Бизантиум не может перелететь на другое место или подняться выше — там начинается зона сильных ветров, и его может сорвать с кольцевой бетонной подошвы, под которой спрятаны соленоиды гравитационного якоря, необходимого из-за перегруженности антигравитационного привода избыточной массой».

Красиво и непонятно.

В статье «Религии» нашелся параграф про реформированную религию Бизантиума:

«Мувизм — лицемерно извращенный и выхолощенный от самой своей сути Манитуизм, который считает Маниту Антихриста всего лишь одним из многих воплощений Маниту, прошедших по земле. Сокровенная доктрина Мувизма сохраняется его адептами в глубокой тайне...»

Ну и надо было сказать два слова про название. «Бизантиумом» когда-то назывался город, бывший одновременно последней столицей Запада и первой столицей Востока, и эту символическую роль, тра-ля-ля, тра-ля-ля... В общем, с этой частью все было ясно.

Грым поставил очередной том «Свободной Энциклопедии» на место и взял учебник по экономике — в сочинении обязательно должен был присутствовать пассаж про экономическую жизнь. Здесь опять можно было списывать не думая.

«Официальная стратегия развития оркской экономики заключается в том, чтобы догнать и перегнать Биг Биз по главным фондовым индексам. В оркской экономической мысли существуют две школы, которые предлагают диаметрально противоположные пути к этой цели.

Первая школа, известная как «бизантизм», считает, что следует перенять фондовые индексы у людей, а затем путем модернизации добиться, чтобы у орков они поднялись выше. Это направление экономической мысли считается классическим.

Вторая школа возникла недавно. Ее основал ученый Хазм, который стажировался на Биг Бизе и считался у тамошних экономистов гением-самородком (среди них он был известен под псевдонимом Адам-Смит Вессон Монтстрейтери).

Хазм утверждал, что мир уже несколько столетий живет в Эре Насыщения — когда практически не меняются технологии и языки, человеческие и машинные, ибо исчерпан экономический и культурный смысл прогресса. Не следует считать это застоем — таково нормальное состояние общества. В палеолите люди жили так многие сотни тысяч лет;

эпоха «прогресса» занимает в истории человечества не более одного процента времени. Есть все основания думать, что Эра Насыщения будет длительной и стабильной — но, конечно, намного более счастливой, чем прошлые исторические плато. Хазм допускал, что в далеком будущем она вновь сменится витком бешеного роста — все это в деснице Маниту.

Многие взгляды Хазма казались современникам революционными, особенно в области политической экономии. Он доказывал, что оркские фондовые индексы в принципе не могут подняться выше византийских, поскольку у орков нет фондового рынка. Мало того, фондового рынка давно нет и у византийцев — они определяют свои индексы во время торжественного гадания в Доме Маниту, и в наше время это просто один из религиозных ритуалов Верхнего Манитуизма (т. н. Мувизма).

Кроме того, Хазм утверждал, что экономическое соревнование Уркаины с Византизмом бессмысленно, так как офшар и нижние территории являются одной культурно-экономической системой, своего рода «метроколонией». Его слова, что истинной столицей Уркаины является Лондон (сектор Биг Виза, где издавна приобретают летаемость богатейшие оркские вертухаи), вызвали всеобщее возмущение. Перед Священной Войной номер 216 (когда носили гвоздику в нагрудном кармане) Хазма повесили на рыночной площади, чтобы ободрить население.

Впоследствии Хазм был реабилитирован. На основе его идей возникло второе направление экономической мысли, «хазмизм», призывающее орков разработать свои собственные фондовые индексы — таким образом, чтобы они сразу были какие надо. Но это учение кажется многим слишком смелым и простым, отчего реальная экономическая стратегия государства основана на своеобразной амальгаме двух подходов».

Вот этим непонятным словом «амальгама» можно было и закончить. Все сделалось ясно — еще день-два шлифовки, и сочинение можно будет сдавать. Только надо будет обязательно добавить про мировое потепление и гибель Гольфстрима, про высотные ветра, и еще про то, что все черные дыры есть одно и то же Тело Маниту, одна и та же изначальная точка, и нам лишь кажется, будто они разбросаны по небу...

Сделав пометки, Грым облегченно вздохнул — на сегодня с уроками было покончено.

Когда он ставил энциклопедию на место, из нее выпала сложенная гармошкой бумажка, исписанная его собственной рукой. Это была хулиганская шпаргалка по прошедшим временам верхне-среднесибирского, написанная два или три года назад:

*та я ібу — та я іб — та я ібалъ — та я іблъ — та я ібалд —
та я ібалданъ — та я маю ібалданд — та я мав ібалданданъ*

На обороте, тем же синим школьным почерком, приводились примеры правильного употребления — мнемонические правила писарей и переводчиков, часть которых давно стала народными ругательствами:

*іблъ тву бабусю,
ібалд тву прабабусю,
ібалданъ тву прапрабабусю.*

Грым вздохнул. Бумажка сохранилась, а Грым, тот счастливый беззаботный Грым, который писал ее перед давним экзаменом — уже исчез, растаял, как облако в летнем полдне, и дороги назад не было.

Родственники еще пели — и с каждой минутой все агрессивней. Грым решил посмотреть что-нибудь по маниту.

К сожалению, старый снаф, который по нему крутили, трудно было назвать радикальной культурной альтернативой происходившему внизу. Тем более, что Грым уже пару раз его видел.

«Интересно, — подумал он, — почему нам не задают сочинений про снафы? Даже не пишем, что они показывают моральное банкротство разложившейся византийской верхушки. А могли бы... Наверно, из-за цензуры...»

Военная часть снафа была порезана от души. Полностью показали только построившуюся для битвы оркскую армию в войлочных шлемах и кожаных жилетах, изображавших «парфянские доспехи». Изредка мелькали враги — снятые издали люди в разноцветных тогах. А как только в кадре появлялись электрические катапульты, следовал до того грубый пропуск, что на экране, казалось, мелькали ножницы.

Зато убитых бетонными шарами орков в войлочных колпаках показывали щедро — долго и в подробностях, под трагическую музыку, которая серьезно портила настроение.

К счастью, военный фрагмент кончился, и начался любовный — в кадре появился относительно молодой Николя-Оливье Лоуренс фон Триер и практически еще свежая Элизабет-Натали Мадонна де Аушвиц.

Великие актеры стояли у ложа на фоне стены, расписанной мистериальными фресками, и влажно глядели друг на друга, держась за руки. На Николя-Оливье была пурпурная тога и бриллиантовая диадема, а на Элизабет-Натали — розовый хитон и бесчисленные ювелирные

побрякушки. Они с чувством поцеловались, и вокруг замелькали полуголые юные прислужники и прислужницы — одни снимали с героев многочисленные драгоценности, другие взбивали ложе, третьи зажигали масляные лампы. Ради прислужниц Грым все это и смотрел, — среди них были очень даже хорошенькие.

К сожалению, Николя-Оливье и Элизабет-Натали уже почти разделись, и, как только Элизабет-Натали потянула за завязку своего расшитого жемчугом бюстгальтера, а Николя-Оливье поднял руку, чтобы взять ее сильной ладонью за безупречную грудь, на экране появилась заставка с витиеватой надписью:

ДУХОВНІЙ НАГЛЯДЪ УРКАІНІ

Резать снаф имели право только люди — но они никогда не трогали эротических сцен, убирая из кадра лишь свои военные секреты. А оркская цензура, хоть и не могла ничего вырезать, имела право временно перекрыть изображение своей заставкой. Заставки все время менялись — этой Грым еще не видел.

Под надписью про духовный надзор сияла золотая спастика — крест с тремя загнутыми концами и длинной перечеркнутой ножкой. Спастика была анимированной — по ее золоту перебегали солнечные искры, а под ногой, уходящей в кудряво нарисованный лесок, танцевали веселые зверята — скачущие на копытцах свинки, шутливо дерущиеся обезьянки и помахивающие крыльями курочки.

Грым был уверен, что все орки, глядящие в эту минуту на экран, прикидывают вместе с ним, сколько в Департаменте Культурной Экспансии украли на этом заказе. А украли много, потому что сделать такую анимацию, пусть даже и с халтурной закольцовкой через пять секунд, могли только наверху или в Зеленой Зоне. Ну или в крайнем случае в Желтой. У всех тамошних расценок было много нулей справа.

Как только в динамиках зазвучали томные вздохи, оригинальная звуковая дорожка тоже отключилась, и забренчала оркская музыка. Играла мандалайка — трехструнная мандолина, изобретенная для унификации оркской и византийской музыки Просром Солидом. В те времена личных маниту у орков было мало, снафы смотрели в основном в казармах, и, когда экран перекрывала заставка духовной цензуры, тапер развлекал воинов игрой на мандалайке. С тех пор обычай прижился. Проср Солид собирался догнать и перегнать верхних людей — но после одиннадцатой военной победы его убило на Кургане Предков сорвавшимся с пальмы кокосом, и

все его наследие объявили проклятым Маниту. А вот мандалайка уцелела.

По другим каналам шли еще два отцензуренных до полной непонятности снафа — один совсем старый, эпохи Просра Ликвида, когда орки ходили в бой в костюмах с галстуками, а другой — сравнительно недавний, времен Рвана Визита, когда на войну надевали камзолы и парики с косичками. Все это было смерть как скучно и уже пересмотрено много раз. Грым выключил маниту.

А потом резко повернулся к окну.

Если бы там действительно висела человеческая камера, Грым все равно не увидел бы ее на фоне неба. Но после кошмара на дороге ему все время казалось, что за ним кто-то наблюдает. Наверно, это было следствием нервного шока.

За окном было то же, что и раньше — облезлые бетонные трехэтажки времен поздних Просров, несколько чахлых пальм и погребальная телега, где уже лежал в своем спутнике дядя Хорь.

Возле телеги курили двое родственников — дядя Жлыг в черном плаще правозащитника и приезжий с юга, которого Грым видел на семейном сборе впервые.

Дядя Жлыг на самом деле не был правозащитником. Он работал на режимном заводе, где делали мопеды «Уркаина» — там всем выдавали офицерскую форму.

Оба мужчины были сильно пьяны и продолжали какой-то начатый за столом разговор.

— Почему технологий нет? — яростно спрашивал приезжий с юга. — Даже тех, которые сто лет назад были. Что это такое, как не диверсия?

Дядя Жлыг посмеивался, как будто говорил с ребенком, но отвечал, на взгляд Грыма, вполне серьезно.

— Зачем диверсия. Тут и диверсии никакой не надо. Во-первых, у нас считают, что инженер — это низшая каста. А герой нашего времени — это вертухай с хатой в Лондоне. Или на худой конец какой-нибудь филологический говнометарий, которого в университете семь лет учили фигурно сосать у кагана. Особенно если он в Желтую Зону пролез и не только у кагана сосет, но и у верхних. А я при них типа слуга-механик. А теперь подумай, зачем я, инженер, стану наживать себе грыжу? Поднимать к звездам этих орлов? Да пусть они в говне утонут со своим «Словом о Слове»...

Дядя Жлыг покачнулся, но приезжий помог ему удержаться на ногах.

— А во-вторых... — продолжал дядя Жлыг.

— Что?

— Мы, орки, друг друга мучаем. Все делаем через обман, подлость и страх. И над материей хотим властвовать точно так же...

— У верхних по-другому?

— Верхние люди обходятся с материей как с женщиной. Они ее ублажают и убеждают. Заинтересовывают. А орки пытаются ее наебать или отпидарасить. Причем даже этого не умеют — начинают пидарасить, не успев наебать. Или сначала отпидарасят, а потом зачем-то наебывают. Орут на нее, как в тюрьме — изменись, сука! Ща как дам! И все время бьют по ней воображаемой кувалдой. Как по ним самим с детства били. Поэтому все наши вещи такие страшные и плохо работают. Наших властей давно не боятся ни атомы, ни молекулы... Эх... Да с чего мы вдруг сделаем что-то красивое и полезное, если...

Дядя Жлыг широко повел рукой, словно приводя в качестве последнего довода панораму окружающего мира. Аргумент был, конечно, железобетонный.

— Наши предки микрочипы делали, — сказал приезжий с юга.

Дядя Жлыг сплюнул.

— Да ты че, с пальмы упал? Это пропаганда все. У каждой цивилизации есть свой технологический предел. Ты «Дао Песдын» почитай. Какой микрочип можно сделать в уркаганате под шансон? Тут можно качественно производить только один продукт — воцерковленных говнометариев. Еще можно трупным газом торговать. Или распилить трубу и продать за Великую Стену.

— Какую трубу? — спросил приезжий.

— Легенда такая есть. При первых Просрах одного рыжего вертухая поставили на газ. А он в первый год распилил все старые трубопроводы и продал в царство Шэнь на металл.

— А маниту украл?

— Зачем украл. Пустил себе на бонус. За прибыль по итогам года.

— И что с ним дальше было?

— Известно что. В Лондон улетел. А мы с тех пор продаем газ в баллонах. Хорошо хоть, баллоны пока делаем. А ты говоришь, микрочипы...

Они затушили окурки и пошли назад в дом. Грым вздохнул — дядя Жлыг во всем был прав, но в инженеры все равно идти не хотелось. С будущим инженером Хлоя бы в лес не пошла.

Спутник уже закрыли крышкой — день был жаркий, и с дядей попрощались пораньше, чтоб не рисковать насчет запаха. По древней примете половинки спутника сшили освященной коровьей жилой (чтоб

покойничек не вылез в космосе, не долетев до Маниту — в это, конечно, никто не верил, но обычай соблюдали). Спутник был самый дешевый — четыре крашенных в белый цвет палки косо торчали в небо из грубо сплетенной сферы, похожей на большую перевернутую корзину. Хоронили дядю без помпы.

Никакой камеры, конечно, нигде не было.

Грым засмеялся.

— Да кому я нужен! — громко сказал он.

Эти слова странно прозвучали в пустой комнате, и Грым сразу понял, что лучше бы он их не говорил.

На самом деле двор выглядел не совсем так, как раньше. Рядом с телегой появился новый объект, которого он сперва не заметил на фоне свежевскопанной грядки.

Это был черный мотоцикл районного прокуратора, отца Хлои. И хоть мотоцикл не выглядел особенно обтекаемым или грозным, Грым показалось, что он чем-то похож на боевую человеческую камеру.

И тут же в дверь постучали.

На пороге стояла нарядившаяся на похороны тетка в новом зеленом сарифане, уже размотавшемся на животе. Она была пьяной.

— Пойдем вниз, Грым, — сказала она, — Ехать скоро.

— Я не поеду, — ответил Грым.

— Тогда выйди попрощаться. И еще прокуратор пришел. У него к тебе дело.

Поминальный стол был накрыт в главной комнате. За столом сидели родичи Грыма — дядья, тетки, пара двоюродных братьев и даже маленький племянник из деревни. Грым подумал, что еды на столе могло быть больше, а бутылок с рисовой волей — меньше.

Когда он вошел, прокуратор, сидевший под образом Маниту с рюмкой в руке, как раз договаривал прощальное слово:

— ...не такое время, как наше. Тогда, брат, у людей чугунные носороги были, а урки ходили на них с бамбуковой рогатиной. Потому что предательство, конечно, со всех сторон. Но подвига героев это никак не отменяет, а наоборот. И нынешние наши помнить должны, им тоже скоро придется. Так не всякий сможет, как Хорь, обе ноги потерять и семью кормить. Так что давайте помянем. Лети, Хорь, в чертог Маниту, и да будет тебе космос слаще воли. И чтоб у нас все было хорошо. А оно и будет, потому как наша вера правильная. Маниту за нас.

— Маниту за нас, — нестройно повторили за столом.

Допив, все встали — теперь по обычаю надо было быстро-быстро

ехать, чтобы догнать улетающего в космос духа. Грым расцеловался в щеки с воняющими луком и волей лицами, подарил деревенскому племяннику свою старую бейсболку с переплетенными буквами «ВВ», пообещал кому-то из незнакомой родни чаще заходить в гости, и они с прокуратором остались вдвоем.

Прокуратор со своими дредами и седой бородкой выглядел точь-в-точь как один из тех воинов, которые чуть не прибили Грыма с Хлоей на дороге. Только одет он был иначе — на нем не было черных лат, а вместо полевого камуфляжа с листочками и ветками он носил городской, изображающий бетонную стену с засохшими плевками, выбоинами и разными рисунками: пробитым стрелой сердцем, богохульно разогнутой спастикой и сибиризмом «мохнатка» (над которым, чтобы не оставалось сомнений, было изображено поименованное). На груди у него болталась полугражданская медаль, а в левом ухе висели две серьги — наверно, для лучшего контакта с молодежью, мрачно заключил Грым.

Прокуратор поставил друг против друга два стула, сел на один и указал на другой Грыму.

— Садись, — велел он.

Грым пожал плечами и сел — возразить не было повода.

Прокуратор достал из кармана костяную трубку, щелкнул зажигалкой и затянулся. В воздухе завоняло горелыми тряпками и еще какой-то тошнотворной дрянью. Прокуратор поманил Грыма пальцем к себе и повернул трубку чубуком в его сторону.

— Я не хочу, — сказал Грым.

— Я тебя не спрашиваю, хочешь ты или нет, — ухмыльнулся прокуратор. — Я тебе в приказном порядке продуть желаю. А то не поймешь ничего.

— Запрещено законом, — сделал Грым последнюю попытку.

— Закон — это я, — сказал прокуратор, взял трубку в кулак, а другой рукой бесцеремонно схватил Грыма за ухо и притянул к себе. Когда лицо Грыма оказалось рядом с трубкой, прокуратор поднес губы к кулаку и сильно в него дунул. Грыму пришлось вдохнуть султан дыма, вырвавшийся из мундштука, и едкое курево обожгло ему легкие. Он закашлялся. А когда восстановил дыхание и поднял глаза, все в мире было уже не так.

Во-первых, мир стал страшен. Он сделался невероятно опасен. Яркая переливающаяся опасность исходила от всего: от окон, за которыми затаилась оркская столица, от стола, заваленного объедками и пустыми бутылками, от комода с дешевыми рюмками из синего стекла и даже от иконы с образом Маниту — символическим изображением черной дыры с

аккреционным нимбом и двумя узкими фонтанами излучаемой в пустоту благодати. Маниту, похоже, был вовсе не на стороне Грыма.

Во-вторых, мир стал не только опасен, но и гнусен — невыразимо и густопсово.

В-третьих, он стал окончательно безвыходен. Спрятаться было некуда. И убежать тоже.

Но страшнее всего показался сидящий напротив прокуратор с нарисованной на груди женской промежностью, прямо к волосам которой была приколта медаль.

Грым вдруг понял, что ужаснувшее его состояние было для этого человека привычным и родным. Он приходил в него добровольно. Мало того, он шел так в бой, навстречу смерти. Это было непостижимо. Это было выше понимания. Грым почувствовал полное бессилие противостоять такому могуществу.

Прокуратор, видимо, хорошо знал, что происходит с Грымом. Он еще раз затянулся и спросил:

— Ну че, все понял?

Грым кивнул. А потом кивнул еще несколько раз, опасаясь, что в первый раз недостаточно четко выразил свою мысль. Кивки дробно поплыли к иконе с черной дырой. Но до прокуратора все-таки дошел один или два.

— Тогда поговорим, — сказал тот. — Про вас с Хлоей я знаю. Все теперь знают, кто новости смотрит. Хлоя, конечно, круто вверх пошла. Она сейчас в Зеленой Зоне, и с ней этот басурмангер.

— Дискурсмонгер, — поправил Грым.

Звук собственного голоса ошеломил его, и он тут же стал, путаясь в словах, объяснять, что вовсе не хотел обидеть прокуратора этим исправлением, а совсем наоборот — он поправляет только тех, кого уважает и любит, и его собственная мама, когда была жива, говорила «бисермонгер», от чего он так и не смог ее отучить. К счастью, вскоре он понял, что произнес вслух только слово «дискурсмонгер».

Но прокуратор, похоже, все равно все услышал.

— Мне похуй, — объяснил он.

Грым покосился на медаль и сразу поверил.

Несколько минут они молчали. Прокуратор внимательно изучал висящий на стене плакат с наложенными друг на друга профилями Рвана Дюрекса и Рвана Визита над золотым призывом:

Плакат был редкостью, потому что их напечатали совсем мало — когда собирались устроить выборы между Визитом и тогда еще молодым Дюрексом. В конце концов передачу власти оформили по-другому: Рван Дюрекс дал прежнему кагану в ухо во время парада, и ему тут же присягнули ганджуберсерки с правозащитниками. Это, конечно, оскорбило оркскую интеллигенцию до глубины души, но Славу в те дни бомбили почти каждый день, бумажный маниту со страшной скоростью дешевел, и с верхними стилистами старались не спорить.

С тех пор прошло много лет, но пожилые орки до сих пор вспоминали о днях, когда демократура казалась совсем близкой. Такой плакат считался легкой фрондой, и его вывешивали на стену только в самых смелых либеративных домах с контактами в Желтой Зоне.

Грым начал было оправдываться, что это повесил не он, а покойный сапожник Хорь, которому удалось забраться так высоко без ног, когда ночью к нему пришли другие сапожники, подсадили его и сразу ушли — но, когда Грым совсем запутался в своем вранье, оказалось, что он опять даже не открыл рта.

Дождавшись, пока он это поймет, прокуратор заговорил снова.

— Тебя в новостях тоже показали. Но только один раз, самый первый. А во всех повторах Хлоя одна была. Это там, — прокуратор кивнул вверх, — так решили. И хоть басурмангер вам двоим пропуск в офшар обещал, у тебя его по факту нет. Потому что в Зеленую Зону тебя никто не пустит — первое кольцо охраны наше, а в списки тебя не внесли. А если тебя в Зеленую Зону не пустят, как ты тогда вверх попадешь? Короче, Грым, наверху ты им не нужен.

Грым соглашался с каждым словом — кажется, даже чуть раньше, чем оно достигало его ушей.

— Пропуск тебе сделали, по моей информации, только в Желтую. То есть можешь к ним пойти нетерпилой. Я бы на твоём месте не стал. Потому как война совсем скоро. И на пропуск в Зеленую ты выслужиться не успеешь.

Прокуратор еще раз затянулся. Пауза помогла Грыму лучше разместить в голове все только что услышанное. Прокуратор говорил очень разумные и ясные вещи.

— И потом, — продолжал он, — чего хорошего нетерпилой быть? Ихние басурмангеры еще ладно, умные люди. А вот наши, которые из Желтой Зоны — самое говно и вонь. Один недавно открытие сделал. Уркаина, мол, крытоколония Биг Биза.

— Криптоколония, — неожиданно для себя поправил Грым.

— Во-во, я и говорю. Они, мол, через то нами управляют, что одному дают натыренное спрятать, а другому нет. Тыщи лет не прошло, как доперло до мужика. Где они только траву такую берут?

Фраза насчет травы была, как догадался Грым, ганджуберсеркской шуткой — прокуратор хотел показать, что говорит с ним как со своим.

— Без головы по-любому плохо, — продолжал прокуратор. — Ты вон Труха знал? В нашем районе жил когда-то.

Грым отрицательно помотал головой. Труха он один только раз видел в новостях. Это было перед прошлой войной.

— Пошел пацан в нетерпилы. Прописался в Желтой Зоне. Дали ему майку «свидетель тирании», прикрепили персональную камеру, все по высшему разряду. Целый год по Славе ходил, а камера над ним летала. Как пусора увидит, подбежит сзади и хрясь ногой в жопу. Пусор обернется — все сразу видит, понимает, а сделать ничего не может, только улыбается и честь отдает. Ну, повыебывался парень, это да. А больше ему за все время ничего умного в голову не пришло. И наверх ему пропуска так и не дали. А как война началась, удавили лоха в первый день. Не пусора даже, носильщики с рынка, которые заебались на него в новостях каждый день смотреть. Тебе такое надо?

Грым опять отрицательно помотал головой. Он сначала не понял, кто такие «пусора», а потом вспомнил, что так ганджуберсерки называют правозащитников. Две ветви власти друг друга не любили — у правозащитников тоже была целая куча обидных названий для ганджуберсерков, из которых самым нежным было слово «говнокуры».

— Тогда слушай. Скоро опять война. Причем она тяжелая будет, формы шьют чуть не двадцать видов. Надо поднять боевой дух. Поэтому хотим призвать тебя в ряды. И дать об этом широкую информацию, чтобы народ видел — не все у нас еще продались. Чтоб тебя по маниту показали, возьмем к уркагану вестовым. Будешь приказы развозить. Свой мопед «Уркаина». Из вестовых почти все возвращаются, кто клювом не щелкал. Потом у тебя такая карьера начнется, что ты и в офшаре выше всей этой желто-зеленой ботвы поднимешься, включая мою родную дочь. Не веришь?

Грым пожал плечами.

— Смотри. Если пойдешь в нетерпилы... Ну, пусть тебя даже наверх пустят. Что ты там делать будешь? Губами хуй ловить? У тебя же ни маниту за душой, кому ты там нужен? Так и будешь на подхвате. А по нашей линии двинешь, не поверишь сколько заработать можно, если вписался правильно. И все туда, — он кивнул вверх, — на счета идет. А у них закон — украл сто миллионов маниту, сразу почетный гражданин Лондона и оркский инвестор. Так все серьезные вертухаи делают. Прикинь, что лучше — пусоров по жопе бить, пока они тебе шею не свернули, или войти в серьезное дело? Тихо, без вонь?

— Войти в серьезное дело, — удалось повторить Грыму.

— Вот и я так думаю... — Прокуратор затянулся еще раз. — В жизни, Грым, два пути. Можно к Маниту стремиться в своем воображении. Или так к нему полететь, как дядя Хорь. В спутнике. А можно к нему подняться еще при жизни — прямо в Лондон. И не сосать за еду, а реально над рекой стоять, с яйцами...

Прокуратор закашлялся и помахал перед собой ладонью, чтобы разогнать дым.

— Я недавно одного вертухая наверх провожал, — продолжал он, — имени называть не буду. Не то что я его лично знаю, просто охранять назначили. Серьезный мужик, моторенваген весь черный, не поймешь, где окно, где дверь. Впереди — прокуратор на мотоцикле. Я то есть. Приезжаем в назначенное место. Вроде, — ничего особенного, кривая пальма на краю дороги и рисовое поле. Вертухай этот даже без вещей, просто с сумочкой. Одет — ничего особенного, плащ кавалерийский, как наверху носят. Ты или я так можем одеться. Только на груди цепь с золотым баллончиком. Причем не с палец, нет — тонкая такая, и баллончик совсем крохотный — просто факт обозначить, что по газовой части. Ждем. Вроде назначенное время без минуты, а никого нет. Я нервничать стал, а он спокойно так стоит, улыбается — видно, не в первый раз. А как только время подошло, прямо перед нами в пустоте открывается такая треугольная дверца — и опускается к земле, получают как бы ступени. И видно, что внутри там махонькая комнатка с креслами. А снаружи если посмотреть, вообще ничего нет. То есть личный порно-актерный трейлер, представляешь? У нашего оркского вертухая. Он туда залазит, дает мне отмашку, что все ништяк, дверь закрывается — и все.

— Я тоже такое видел, — сказал Грым.

Оказалось, что он уже может говорить.

— Ну видел, и хорошо, — отозвался прокуратор. — Значит, знаешь, как все в мире устроено. Вот так умные люди в Лондон ездят. Но не все так

могут. Начинать надо с маленького. Хочешь быть глобальным урком? Научим. Но сперва надо в казарме посидеть с простым народом. А перед войной перекинем в штаб к Дюрексу. Не бойся, пердолить он тебя не будет, пидарасов ему по другой линии подбирают. Ты только для пропаганды нужен. Все понял?

— Мне восемнадцати нет, — сказал Грым.

— Оформим волчонком. Не ссы, вопросы решать мы умеем. На тебе повестку, лично вручаю.

Прокуратор поднялся с места, оставив в руках у Грыма листок коричневой бумаги.

— Ты, похоже, парень умный, — сказал он, — Думаю, все до тебя уже дошло. А нет, дойдет, когда с утра перечитаешь. Там адрес и срок прибытия. Желаю боевой удачи. А я поехал в район...

В окне снова появилось солнце. Прокуратор встал и пошел к выходу. Его голова оказалась в солнечном луче, и Грым почудилось, что копна несвежих дредов вдруг превратилась на миг в легкие белые кудри византийского дискурсмонгера.

Когда прокуратор вышел, Грым повалился прямо на пол. Почему-то хотелось полежать на жестком.

Прокураторское курево постепенно отпускало. Жуткая составляющая, которая делала мир невыносимым и страшным, прошла быстро, а свинцовое отупение держалось до самого возвращения родни с Болота Памяти.

Родня вернулась довольная и растроганная. Многие плакали. Оказывается, когда похоронная процессия проезжала деревню перед кладбищем, ей встретился византийский скупщик детей. Это было верной приметой, что в следующей жизни спутник поднимет умершего на офшар.

— В черном плаще, с железным чемоданчиком, — умильно рассказывала тетка. — На лице маска марлевая — мол, не могу вашу вонь нюхать. Деревенские перед ним уже дитев своих на столах разложили. И каждый своего писюна норовит на анализ без очереди, чуть не дерутся даже. Он ведь одного купит, ну двух — и прощевайте на год... Ой, Грым... А чего ты на полу дрыхнешь? Волю со стола допил?

Потом она посерьезнела, подняла Грыма на ноги и повела на второй этаж, чтобы не мешали галдящие родственники, усаживающиеся вокруг стола.

— Слушай, деточка, какое дело, — заговорила она. — Тебе скоро на войну, прокуратор сказал. Мне сейчас объяснили, что закон новый вышел. Называется «О защите Защитника». В стране сейчас порядок наводят — в

общем, кого с документами власти мурыжат, если обагрить боевой кровью, то велено решать вопрос незамедлительно, и взятку требовать не посмеют. Грымуть, я хочу, чтоб ты целенький вернулся — но если тебя, не дай Маниту, поцарапает — я тебе дам с собой папочку? Там несколько бумаг на сибирском, наша на амбар, и от деревенских. Им там воду никак не проложат — какой год в ведрах с реки носят, недавно кобры двух девчонок убили. Лады?



Чтобы понять, как суры могут вступать с нами в полноценное общение, не имея личности, сознания и души (как бы мы ни называли то, что делает нас людьми), надо быть ученым сомелье. Я к таким не отношусь, и мой пересказ их объяснений может оказаться не вполне точным. Но я не собираюсь уделять теории много места.

Говоря коротко, суры нас обманывают.

Но точно так же мы обманываем друг друга сами.

Что происходит, когда мы с кем-то говорим? Мы оцениваем услышанные слова, выбираем подходящий ответ и произносим его вслух. Если мы хотим обидеть собеседника, мы делаем наши слова острыми и ядовитыми, если мы хотим ему польстить, мы подсыпаям сахару, и так далее. Это просто обработка входной информации на основе культурных кодов, биологических императивов и личных интенций.

С культурными кодами обстоит проще всего — нет никаких проблем залить в суру самую подробную экранную энциклопедию и все ее кросс-линки, десять раз перемноженные сами на себя. Темы для разговора, фразы и фразочки, обстоятельства, когда их следует произносить, интонации и прочее — это не такая уж и великая наука. К тому же настоящая женщина открывает рот лишь для отвода глаз. Мне в этом смысле понравился отрывок из глянцевого мануала к Кае:

«Женщина репродуктивного возраста, поддерживая светскую болтовню на рауте, обычно контролирует процесс общения не по параметру смысла, а по совсем другим индикациям, и, проведя оценку огромного массива входных данных, решает вопрос о биологическом контакте вне всякой связи с ходом и содержанием разговора, что сразу же чувствует собеседник...»

Вот именно. Отсюда и все эти легенды об иррациональности женского сердца — какая, прости Маниту, чушь. Нет ничего рациональнее женского сердца, просто это рациональность высшего порядка — ибо женщина здесь выступает не как дурочка с вечеринки, а как безличный аспект природы и вечности. Этот социальнобиологический механизм тоже поддается программной симуляции без особых проблем, так как опирается на вполне просчитываемые параметры — что, я думаю, понятно и так.

А вот с интенциями человеческого сердца дело обстоит сложнее. Я имею в виду те эмоционально окрашенные желания, которые заставляют нас метаться по окружающему пространству с момента пробуждения до отхода ко сну.

Многие пользователи не хотят в это верить, но ничего подобного у суры просто нет, потому, что в ней отсутствует внутренний субъект такого желания. И как ты ни бейся, в этом аспекте сура навсегда останется той бесчувственной резиновой женщиной, от которой произошла когда-то в древней стране Ниппо. Сура может только имитировать чувства. Но качество такой имитации — это и есть самое главное.

Есть ли у них личность? И да, и нет. Смотря как понимать это слово. Суры такого класса, как Кая, неповторимы. Достигается это особой конфигурацией внутренних информационных связей. Они так же уникальны, как разные замки одной и той же марки — конструкция одна, но ключ везде свой. Если вы купите вторую суру и выставите ей те же настройки, это будет несколько другое существо. Вернее сказать, другая имитация. Такие опыты делали.

Важнейшая и тончайшая часть внутреннего устройства суры — это так называемый эмоционально-волевой блок. Заложенные в него алгоритмы очень сложны и основаны на изощренных взаимодействиях базы культурных кодов с генератором случайностей, которым, в свою очередь, управляет другой генератор случайностей — что позволяет сделать суру по-настоящему непредсказуемой. Конечно, в строго очерченных границах — как и в случае живой женщины.

Все биологические механизмы, которые за миллионы лет изобретены безжалостной природой для обмана живых существ, используются сурой с одной целью — доставить вам максимальное наслаждение. Но на пути к этому наслаждению вам, возможно, придется испытать и боль — такова, как утверждает инструкция по эксплуатации, диалектика экстаза.

Компания предоставляет около ста стандартных «характеров» — эмоционально-волевых модусов, каждый из которых проверен многочисленными тестами (полагаю, что биологические женщины делятся

на значительно меньшее число реальных типов). Если вы пользуетесь любым из фабричных пресетов, ваша сура находится на многолетней гарантии, и опасаться вам нечего.

Гарантия снимается, если вы переходите к ручным регулировкам. Вы можете сделать это только после того, как прочитали и подписали дополнение к лицензионному соглашению, по которому компания перестает отвечать за суру и вашу жизнь. Сура на ручной настройке действительно может быть опасной. Особенно если вы не умеете ею пользоваться.

Но именно здесь владельца суры и ждет возможность настоящего счастья.

Дело в том, что именно эта процедура превращает суру из предмета мебелировки в живого непредсказуемого спутника жизни, который может погибнуть сам, а может отправить на тот свет и вас. Такие случаи действительно были. Однако ваша смерть на самом деле маловероятна. Главная опасность в том, что сура может убежать или самозаглушиться. Вот это происходит часто.

Дело здесь не в том, что она действительно хочет вас бросить или погибнуть. Она ничего не хочет. И погибнуть она тоже не может, поскольку не живет.

Но она предельно точно имитирует поведение выбранного вами эмоционально-волевого типа на основе имеющихся у нее шаблонов, и ваше стремление к правдоподобию отношений легко может закончиться столкновением с суровой правдой жизни. Посмотрите на себя в зеркало, и вы поймете, о чем я говорю. Впрочем, сбежавших от уродливого хозяина сур быстро находят — пространственная блокировка не дает им уйти далеко от дома. Это случается часто, и доставляет хозяину всего лишь несколько лишних минут радости.

Сложнее дело с так называемой «нирваной». Это какая-то внутренняя закоротка, которая часто случается при ручном управлении у пользователей, выставляющих своим сурам максимальную духовность. Сура при этом не просто убегает, а прячется и отключает все системы, впадая в подобие спячки — так что найти ее бывает довольно сложно. Потом я еще скажу об этом пару слов.

Когда вы заняты регулировкой, вы видите на маниту подобие большого пульта со множеством ручек, которые можно передвигать вверх и вниз — словно вы настраиваете многополосный эквалайзер. Таких экранов очень много, а самих регулировок просто несчетное количество, и параметры часто имеют смешные названия, вроде «покраснение щек»,

«сонная нежность» или «позевывание».

Вроде бы все интуитивно понятно — вы, например, поднимаете параметр «сонная нежность», и ваша сура, изображая отход ко сну, не просто замирает в кровати рядом с вами, а придвигается близко к вам и прижимается к вашему боку своим теплым нежным тельцем, или что-нибудь в этом роде. В результате у вас создается успокаивающее впечатление, что вы настраиваете безопасный и простой домашний электроприбор вроде ночной грелки, и все про него уже поняли.

Ничего не может быть дальше от истины.

С регулировками всяких мелких поведенческих особенностей разобраться действительно несложно. Допустим, вам нравится, чтобы ваша сура позевывала. Нет проблем, она будет так делать хоть каждые тридцать секунд, и ни на чем другом это не скажется.

Но вот с такими параметрами, как «духовность», «существо», «соблазн», «прямота», «кокетство», «двуличие» и всем прочим, что входит в так называемый «красный блок» (регулировки, отмеченные красной звездочкой), дело обстоит гораздо сложнее.

Про странности в поведении сур издавна говорят так — «сколько кручин, столько причин, а сколько причин, столько кручин». Как объясняет экранный словарь, «кручиной» в древности называлась круглая ручка, которую надо было крутить, чтобы поменять настройку электронного прибора. Контрольный экран красного блока оформлен именно так. Это не шалость сомелье и не дань моде на архаику, а суровое напоминание клиенту о серьезности происходящего.

Дело в том, что, меняя параметры красного блока, вы влияете на все аспекты поведения сразу. Если вы, допустим, одновременно выставите на максимум «существо» и «сонную нежность», то ваша сура может прижаться к вам перед сном с такой силой, что вы упадете с кровати.

Я, конечно, чуть утрирую, но «интерференция поведенческих паттернов», как выражается руководство по эксплуатации, действительно может привести к неожиданным результатам. Поэтому живая женщина при всей своей взбалмошности куда прозрачней, чем сура в режиме ручной регулировки.

Самым коварным параметром является именно «духовность». Когда она находится на позициях, близких к максимуму, все поведение суры, вся ее речь и реакции резонируют с древней мудростью человечества. Причем база данных время от времени обновляется. Когда ваш контрольный маниту с утра сообщает вам что-то вроде «Подгружено пять книг Палийского Канона и Евангелие от Варравы!», а вы даже отдаленно не

понимаете, что это такое, приходится гадать, не получите ли вы вилкой в глаз в ответ на какую-нибудь нескромную просьбу.

Именно поэтому все профессиональные настройщики не рекомендуют поднимать духовность выше сорока, максимум пятидесяти процентов от максимума, а в фабричных режимах она и вообще не бывает выше пяти. Это гарантирует, что все внутренние референции суры к сакральным смыслам не приведут к трагическим последствиям. Грубо говоря, если ваша сура и убежит, то для того, чтобы вы в конце концов нашли ее и прижали к сердцу — а не затем, чтобы действительно впасть в нирвану в каком-нибудь забытом вентиляционном колодце, которого нет ни на одном навигаторе.

Но все настоящие ценители — это фрики. И я один из них.

На максимальной духовности наше общение сделалось невероятно интересным и волнующим. Когда она пытается объяснить мне что-нибудь важное *во время наших ласк, когда старается спасти меня из бездны моего падения, в моих чреслах просыпается невероятная сила. Она, так сказать, проповедует и убеждает, а я в это время... Сами можете догадаться.

Кому-то может показаться, будто духовность в суре — это не так уж важно. Но для пользователей попроще существуют резиновые куклы, заполненные красной краской. Истинный ценитель знает, что обладать прекрасным телом — одно, а высокодуховным прекрасным телом, божественным цветком, в котором бьется древнее сердце человечества — совсем другое. Такое надо испытать, словами здесь ничего не объяснишь. И если вы уже пробовали этот яд, то вопрос для вас не в том, включить своей суре высшую духовность или нет, а в том, как пользоваться этим режимом безопасно.

Я решил проблему просто.

Кая не может выйти за пределы моего дома — у нее включена блокировка пространственных перемещений. Если называть вещи своими именами, она бегает на невидимом поводке вокруг кровати, но поводок имеет достаточную длину, чтобы это не было заметно до тех пор, пока она не попытается пересечь порог нашего гнездышка.

Кая уже два раза впадала в нирвану, но, пока она дома, вытащить ее оттуда не проблема. Это делается через «restore defaults», после чего ручные настройки приходится выставлять заново. Но это не такой уж и долгий процесс — если у вас, конечно, остался бэкап последнего конфига. Память, к счастью, сохраняется.

Если я добавлю, что одновременно с духовностью я держу на максимуме существо и соблазн, вы поймете, какая гремучая смесь

перекачивается под нежной кожей моей куколки. С ней ни на секунду нельзя расслабляться.

Умом я понимаю, что ее волнующее бытие есть всего лишь искаженное отражение моего собственного, чистая иллюзия — в сущности, я просто кривляюсь перед сложно устроенным зеркалом. Но Кая для меня куда более реальное живое существо, чем любой из орков, которых я вижу в своих летных очках. Да и про людей, если честно, я мог бы сказать то же самое.

Иные утверждают, что сура — это просто усложненный способ эротического самообмана. Может, и так. Но пусть уж лучше я буду обманывать себя сам, чем позволю это мачехе-природе, лупящей меня по голове своей гормональной дубиной, или лицемерной общественной морали, собирающейся поднять возраст согласия с сорока шести до сорока восьми.

С тех пор, как Кая начала симулировать интерес к двум юным оркам, я уже не опасался, что она свалится в нирвану — на имитацию уходило слишком много программных ресурсов. Я помнил, конечно, что это чистое притворство — но именно мое отчетливое понимание данного обстоятельства и превращало Каю в живую женщину. И хоть ручная настройка означала потерю гарантии, наши отношения приблизились к той гармонии, о которой говорят все сексуальные энциклопедии и мечтают все пары. Игра стоила свеч.

Мне, правда, то и дело приходилось гонять «Хеннелору» в Оркланд без служебной необходимости — просто развлекая свою душечку. Искать Грыма и Хлою было несложно, потому что в их телах все еще оставались мои метки — по ним маниту находил их издали. Мотаясь над Славой, я сделал несколько выразительных крупных планов оркской деградации, за которые мне неплохо заплатили.

Было еще одно приятное следствие. Насмотревшись, как моя камера скользит над узкими оркскими улочками, уворачивается от столбов, огибает вывески и протискивается в подворотни, Кая поняла наконец, какой пилот избрал ее в спутницы жизни. В ее отношении ко мне стали проявляться эффекты, которых я не программировал лично.

Это была та самая «интерференция паттернов» — и я обеими руками был за. Все теперь обстоит в точности как у людей. Когда, вернувшись с вылета, я ловил ее восхищенный взгляд, мне целый вечер после этого хотелось плакать и петь.

Я до сих пор не знал, почему у нее вызывают интерес именно эти два орка, а не, к примеру, технические аспекты священной съемки на храмовую

пленку в условиях плохой видимости. Видимо, это было связано со всем букетом ее вкусовых предпочтений. Особенно с духовностью, которая заставляет изображать предельное сострадание ко всем живым существам, появляющимся в моем прицеле (она видела на контрольном маниту в точности то же, что я в своих летных очках).

Конечно, каждый предвоенный день на меня обрушивался град упреков. Они были в какой-то степени справедливыми — но ровно в той же мере, в какой орка можно упрекнуть, что он давит муравьев, когда пашет свое поле.

— Ты понимаешь, что ты палач? — спрашивала она, — Тогда, на дороге — зачем ты убил этих несчастных?

— Несчастные? Это были люди в военной форме с оружием в руках.

— Вчера они были крестьянами. Их просто вызвали в эту... Не знаю, как это называется, в управу. И велели надеть эти дурацкие балахоны, придуманные вашими же сомелье. Это дает право их убивать?

— Они сами должны думать о том, почему у них такая форма правления. Пусть борются за свободу. Мы им поможем с воздуха.

— Ты начал войну.

— Не преувеличивай. Война начинается, потому что это воля Маниту. Природа Маниту такова, что иногда он требует крови. У нас, художников и философов, только один выбор — заработать на этом денег или нет. А деньги всегда нужны, моя душечка. Хотя бы для того, чтобы оплатить твой припадок праведного гнева. Ну и все остальное, что мы так любим с тобой делать, хи-хи-хи...

— Грязная похотливая жирная обезьяна.

Оскорбления невероятно возбуждают.

— Ты не только убил несчастных солдат, ты еще разбил жизни этим двум, Грыму и Хлое. Грыма теперь, наверно, тоже убьют...

И тут я разозлился всерьез.

Весьма для меня необычно. Я проанализировал свои чувства — и меня ждало настоящее открытие.

Я начинал ее ревновать.

Это было оглушительно — словно вдруг выяснилось, что у меня тоже есть контрольный маниту, на котором моя куколка может двигать регулировки своими нежными пальчиками. Я был в восторге, в настоящем восторге — и бедняжке пришлось в очередной раз разделить его со мной прямо на полу.

Незабываемая минута.

Между тем у ее слов были некоторые основания. Дела у оркской

парочки к этому времени шли непросто. Они, пожалуй, даже перестали быть парой. Грыма забрили в солдаты, и он сидел в казарме, ожидая войны — было непонятно, сможет ли он теперь воспользоваться приглашением Бернара-Анри, или вверх сумеет подняться только его душа. А сам Бернар-Анри, видимо, не слишком часто про него вспоминал, потому что большую часть времени проводил с его подругой.

Мой боевой товарищ до сих пор находился в Славе, в экстерриториальной Зеленой Зоне, где живут все наши. Кажется, он что-то мутил по политической линии с прицелом на послевоенное время. Хлое выписали зеленую карточку-пропуск, и она проводила с ним все время (чтобы ускорить процедуру, Бернар-Анри удочеряет своих подружек в оркской управе — стоит это дешево и занимает от силы минуту). Я изредка подгонял «Хеннелору» к окошку их мансарды. Бернар-Анри, как и все философы, инстинктивно обожает мансарды — наверно, потому, что оттуда легче в случае чего корректировать работу ударной авиации.

Мне интересна была реакция Каи на увиденное. То есть я понимал, конечно, что она вообще никак не реагирует на происходящее, и передо мной только имитация реакции — но стоило Кае сказать несколько слов, и я сам не замечал, как оказывался вовлечен в беседу.

— А ей это даже идет, — говорила моя душечка, разглядывая Хлою, — Сапоги, хлыст, кожа. Главное, вполне в духе оркской национальной традиции. Аутентичненько. И работа премилая — я бы этого мерзавца тоже с удовольствием отхлестала до крови...

Все-таки она у меня такая язва, что когда ее ехидное внимание переключается на другого, чувствуешь большое облегчение. Но этот ее сарказм каким-то образом сочетается у нее с почти детской наивностью. Часто я не мог понять, что это — пробел в ее образовании или часть игры.

— А зачем она его привязывает к кровати? — спрашивала она с серьезным видом. — Чтобы он не убежал, когда она его хлещет?

— Куда он убежит, — смеялся я.

— Нет, правда.

— У Бернара-Анри целая программа, — отвечал я. — Все происходит по нарастающей. Сначала он просит, чтобы оркская подруга привязала его к кровати где-нибудь в Зеленой Зоне. Тут безопасно, и можно в случае чего позвать на помощь. Если все проходит нормально, он просит подругу отвезти его в лес и привязать к дереву. Потом они вообще забираются в его секретную оркскую берлогу, которую он содержит специально для этой цели, и она связывает его там. Мало того, Бернар-Анри снимает все свои радиомаяки и идентификаторы. Чтобы никто не знал, где его искать.

— Зачем ему это?

— Опасность возбуждает. Совсем как с тобой, моя радость...

— Омерзительный слюнявый павиан. Нет, не он. Ты.

Это был, конечно, обман чувств, но все же мне казалось, что в иные минуты Кая говорит со мной чуть искреннее, чем обычно.

— А что они делают потом? — спросила она. — После берлоги?

— У Бернара-Анри есть очень любопытное и нетривиальное продолжение. Но об этом, детка, я расскажу тебе как-нибудь после.

Мне действительно совсем не хотелось про это говорить.

Но Каю, в общем, не слишком тянуло смотреть на Бернара-Анри с Хлоей. Видимо, она не хотела, чтобы я слишком долго разглядывал красивую оркскую дурочку. Ее куда больше интересовал Грым.

Думаю, сначала она изображала любопытство к нему, чтобы вызвать во мне ревность. А когда я стал проявлять раздражение, к делу подключилось сучество. В общем, работал весь трогательный букет ее настроек. И мне теперь приходилось подолгу висеть у оркской казармы, подглядывая за Грымом через щель в окошке — или незримо плыть за ним в воздухе, когда он выходил на улицу погулять.



Военный священник Хмыр вошел в барак и поднялся на приготовленное для него белое возвышение под транспарантом с красной надписью:

СВЯЩЕНІШЕРЪ ВІЙНА № 221

Вся казарма затихла — до того впечатляюще выглядело духовное лицо. Дело было даже не в парчовых ризах и спастике с тремя перекладами, которая указывала на чин вертухая.

Серо-седые волосы священника были зачесаны в особую прическу — так называемую «челку мудрости». Она полностью закрывала лицо и переходила в бороду. Напротив рта, носа и глаз на волосах были пятна от слез, соплей и еды, и это превращало челку мудрости в маску, выражавшую

какое-то возвышенно-спокойное, совсем не оркское состояние духа. И хоть Грым знал, что за этой потусторонней личиной с желтыми глазницами скрывается обычная оркская морда с медным кольцом в носу, он все равно испытал уважительный трепет.

Потом по бараку пронесли Святые Виды — пару стандартных картинок, застекленных для целовальной гигиены. Первой — икону «Маниту в Славе» (чудотворная дыра была написана в скупой древней манере: ребро аккреционного диска с двумя фонтанами выбросов, розовым эросом и коричневым танатосом). Следом — изображение залитого свечным воском каньона, где расстреляли Маниту Антихриста: скалы, неприятно пестрые из-за наклепленных кадилъниц и автомолилок, цветы, журавлики и традиционные синие бисквиты, лежащие на каждом камне.

В общем, началось все до зевоты уныло.

Священник долго говорил про *Уркаганатум Просрум*, который возрождается из пепла веков, про Уркаину на страже Духа и Воли, про сакральную жертвенность урковского воина, спасающего мир от самоуничтожения, про общество дрессированных пидарасов, в очередной раз навязывающее уркам войну — все как обычно. Когда он напомнил, что урки созданы Маниту не для мещанского прозябания, а для славы сражений и восторга молитв, Грым подавил первый зев. Когда он забубнил об истинной вере («у них, ребятки, манитуизм только по названию, выхолощенный от самой своей сути, а у нас с вами — изначальный лазоревый...»), Грым стал клевать носом. А когда он принялся читать часовое «Слово о Слове», Грым вообще уснул.

Он был такой не один. «Слово о Слове» все слышали много раз, начиная с дошкольных лет. Многие помнили его наизусть — и ничего не могли поделать с сонным рефлексом.

Грым умел спать, не нарушая социальных приличий, и даже ухитрился отмечать сквозь сон знакомые узоры звуков. Хотя древние слова ничего ему не говорили, по ним, как по вешкам, можно было судить, сколько еще до конца.

Однако вешки в этот раз подвели. Грым уснул глубже, чем хотел, и открыл глаза только тогда, когда военное гадание, ради которого он остался в казарме, уже началось.

Священник Хмыр к этому моменту практически потерял лицо от долгой работы ртом, и теперь его спутавшаяся волосая маска не казалась такой возвышенной: один ее глаз стал узким, словно мудрец воровато подмигивал.

Грымму тоже хотелось погадать. Он поднял руку. К счастью, перед ним

пока было только двое желающих — деревенский парень, похожий на поросшего бакенбардами хряка, и тощий как жердь представитель потомственной военной семьи — как можно было судить по татуировкам на обнаженном торсе.

В руках у священника была старинная гадательная книга с корешком из переливающейся голубой ткани. Грым сидел достаточно близко, чтобы разглядеть полированные костяные пластины на обложке и название, вырезанное строгими, напоминающими про благородный древний век буквами:

ДАО ПЕСДЫН

Для большинства молодых орков эти слова означали просто стиль рукопашного боя. Про гадательную книгу с тем же названием вспоминали только перед войной, когда бойцы решались спросить о будущем. Гадания боялись. Многие верили, что так можно накликать судьбу, поэтому оно считалось одним из самых жутких военных ритуалов. На него решались или смельчаки, или просто дураки. Но Грым подумал, что для вестового все может кончиться не так уж и страшно.

Священник Хмыр как раз гадал деревенскому парню. Он вытряхнул из стаканчика три палочки с цифрами, осмотрел их, потом выкинул четвертую и пятую, и стал, загибая пальцы, что-то считать. Исчисление номера было сложной процедурой, имеющей мало отношения к закону вероятности: некоторые предсказания выпадали очень часто, другие — почти никогда.

Наконец Хмыр определил ответ. Он поднял книгу так, чтобы зрители увидели пронумерованный столбец угловато выписанных букв на желтой от времени бумаге. Затем он принялся читать вслух:

Пятьдесят шесть. О мухах.

Разве могу осуждать мух за то, что ебутся? Однако когда на моей голове, злит. Так же и пидарасы. Когда в тихом уединении делают то, к чему лежат их души, кто возразит? Но они устраивают факельные шествия и приковывают себя к фонарям на набережной, дудят в дудки, бьют в барабаны и кричат, чтобы все знали про их нрав — что-де лупятся в очко и долбятся в жопу. Истинно, они хуже мух, ибо мухи только изредка согрешают на моей голове, пидарасы же изо дня в день пытаются совокупиться в самом ее центре. Мухи по недомыслию, пидарасы же

хладнокровно и сознательно.

И через то постигаю, что пялить они хотят не друг друга, а всех, причем насильно, и взаимный содомус для них только предлог и повод.

Теперь вся казарма глядела на деревенского простака, а тот озадаченно хлопал глазами.

Предсказание было плохим. Самым плохим из всего возможного. Считалось, что получить от Маниту «пидараса» в гадании перед боем означает верную смерть. Можно было даже не обращать внимания на «муху», тоже не сулившую ничего хорошего.

Татуированный потомок военных продолжал тянуть вверх руку, и священник повернулся к нему. Повторилась процедура с палочками. Затем Хмыр показал зрителям столбец текста и прочел:

Сто восемь. О музыке.

Те, кто долго жил среди пидарасов, говорят, что они втайне стыдятся своего греха и стараются поразить всякими фокусами. Думают про себя так: «Да, я пидарас. Так уж вышло — что теперь делать... Но может быть, я гениальный пидарас! Вдруг я напишу удивительную музыку! Разве посмеют плохо говорить о гениальном музыканте...» И поэтому все время стараются придумать новую музыку, чтобы не стыдно было и дальше харить друг друга в дупло. И если б делали тихо, в специальном обитом пробкой месте, то всем было бы так же безразлично, как и то, что долбят в сраку. Но их музыку приходится слушать каждый день, ибо заводят ее повсеместно. И потому не слышим ни ветра, ни моря, ни шороха листьев, ни пения птиц. А только один и тот же пустой и мертвый звук, которым хотят удивить, запуская его в небо под разными углами.

Бывает, правда, что у пидарасов ломается музыкальная установка. В такие минуты спешу слушать тишину.

Потомственный военный побледнел. И не просто лицом, а всем телом — так, что его татуировки, изображающие танковый бой на Оркской Славе, выделились с невероятной отчетливостью, до последней спастики на стягах. Но на его лице по-прежнему играла холодная улыбка — сказывалась военная кость.

В зале стало оглушительно тихо.

Теперь все смотрели на Грыма. Когда к нему повернулся священник, Грым почувствовал сильное искушение опустить руку. Но было уже поздно — Хмыр выбросил на пол перед собой палочки с номерами.

Завершив гадание, он прочел:

Сорок восемь. Откуда все берется.

Из тебя самого. И докажу очень просто. Что есть все это? То, что ты видишь, слышишь, чувствуешь и думаешь в сей миг, и только. Такое сотворить мог только ты, и никто больше, ибо видят твои глаза, слышат твои уши, чувствует твоё тело, а думает твоя голова. Другие увидят иное, ибо их глаза будут в другом месте. А если даже узреют то же самое, размышлять об этом станет чужая голова, а в ней все иначе.

Иногда еще болтают, что есть «мир вообще», который один для всех. Отвечу. «Мир вообще» — это мысль, и каждая голова думает ее по разному. Так что все по-любому берется из нас самих.

Но ведь не может быть, чтобы я сам создал себе такое мучение? Отсюда заключаю, что все это рассуждение есть лишь ядовитый укус ума, а сам ум подобен сторожащему меня зверю, и мой он лишь в том смысле, что приставлен ко мне сторожем. Дальше этого смертное умозрение пойти не сможет никогда.

Говорят, следует созерцать черноту с огнями, пока не смешаются глядящий и наблюдаемое. Тогда зверь перестанет понимать, где ты, а сам будет виден при любом своем шевелении. А после откроется дорога к Свету Маниту, но сам я там не был.

Грым перевел дух. Такого отрывка он никогда не слышал, но помнил, что вытянуть «зверя» вместе со «светом» считается знаком счастливой судьбы. Это сочетание встречалось очень редко — в зале зашептались, и кто-то одобрительно шлепнул Грыма ладонью по спине. Желающих погадать сразу стало больше — вверх взлетело множество рук.

Напряжение последних минут оказалось слишком сильным, и Грым почувствовал что ему не хватает воздуха. Он поднялся на ноги и, задевая сидящих на ватниках и тюфяках, побрел к выходу.

В коридоре выяснилось, что входная дверь заперта. Это было как привет из детства — сколько Грым себя помнил, так всегда делали, чтобы молодняк не разбежался, пока священник читает «Слово о Слове». К счастью, рядом было открытое окно — через него лазили покурить. Грым

перебрался через подоконник и очутился на внутреннем дворе, за оградой которого начинался покрытый грязью пустырь перед свинофермой.

Рядом с окном стояла большая красная бочка со словом «Песок». Песка в ней не было. Внутри темнела вонючая жижа с размокшими окурками — воду не меняли, наверно, со времен прошлой династии. Вокруг стояли орки из его призыва. Они возбужденно тыкали пальцами в небо — там висели черные точки двух телекамер.

Минуту или две Грым прислушивался к разговору. Призывники полагали, что люди устраивают предвоенное авиашоу для психологического давления на бойцов. Но опытный старшина, посмеиваясь, объяснял, что никому они особо не нужны (он выражался короче и самобытней).

Начинающие пилоты каждый день зависали здесь, чтобы снять для новостей говнопанораму со свиньями. Летчики любили это место, потому что за забором было сразу несколько свинарен и развороченная братская могила времен Просра Солида, так что свиньи часто попадали в кадр вместе с человеческими черепами. А камуфляж пилоты выключали, чтобы не разряжать батареи.

Грым перевел глаза на маскировочную тучу, скрывшую черный шар Биг Биза. Сегодня офшар не был виден из города, над которым висел, но тучу словно пропитывала его тяжесть — она казалась сделанной из закрученного спиралью свинца.

С места, где стоял Грым, казалось, что город уступами уходит к туче вверх — там была рыночная площадь и гигантское кольцо Цирка. В другую сторону открывалась панорама Славы.

Яркими и чистыми красками сияла Зеленая Зона с раздвоенным зеленым шаром делового центра. Рядом раскинулась Желтая Зона с аккуратным Городком Нетерпил и канареечными бараками сборочных линий (из-за них она и получила свое название). А дальше, сколько хватало взгляда, лепились неказистые бетонные норы оркских жилищ.

Кое-где видны были приятно оживляющие пейзаж пятнышки зелени — Партизанские Сады, аллеи парков, заросли конопли и шалфея в усадьбах богатых ганджуберсерков. Задерживали на себе взгляд лазоревые купола Матриархии, похожие, если верить официозной поэзии, на груди Маниту. Но в целом оркская столица сливалась в бесконечное желто-коричневое болото с черными проплешинами пустырей на месте недавних пожаров и бомбежек.

Грым обогнул казарму. У входных ворот не было никого. Он выбрался на улочку с источающими вонь и музыку забегаловками, и пошел в сторону

центра.

Со всех сторон на него косились вывески крытых лавок. Веселые нарисованные морды, которые, по мысли хозяев, должны были зародить в прохожем душевный подъем и желание купить соленый арбуз или пряник, вызывали лишь мучительный страх перед жизнью — и стыд за то, что жизнь вызывает такой страх.

Через полчаса ходьбы он был уже в центре. К Воротам Победы, несмотря на давку, можно было подойти — Грым добрался прямо до ограждения, где прогуливались пусора в черных плащах. Теперь он оказался так близко к скрытому за тучей Биг Бизу, как только можно было подойти по земле.

Ворота на Оркскую Славу (на верхне-среднесибирском — Уркскую Гордынку, а если попросту — Большой Цирк), были единственным проходом в циклопической древней стене, вокруг которой лепился город — в других местах к ней не разрешалось даже приближаться. На Оркской Славе никто не жил. Туда ходили только умирать, и все бесчисленные орки, сгинувшие за стеной, прошли когда-то сквозь эти красные высокие створки. От этой мысли Грым внезапно сделалось не по себе. Ему тоже предстояло пройти через ворота — и, если пощадит Маниту, вернуться назад.

Ворота притягивали взгляд. Они были сделаны из толстого дерева, обитого железными накладками в виде спастик, и походили на решетку, где в красный цвет покрасили не только прутья, но и пространство между ними.

Грым опустил взгляд на медный замок, висящий на воротах со времен последней Победы. В младенчестве, когда он еще не различал причин и следствий, он думал, что война начинается, когда ломают замок, а не наоборот — и этот металлический сторож мира казался ему опасно доступным для любого злоумышленника. Вот же он, совсем рядом...

С тех пор Грым успел поумнеть. Но сегодня он словно вернулся назад — и уже много раз сменившийся за его жизнь замок вдруг показался ему, как когда-то в детстве, обреченным живым существом, которое много дней защищало Уркаину как могло — а теперь должно было откинуть дужку.

— Спасибо, замок, — прошептал Грым, чувствуя, как на глаза наворачиваются нелепые слезы.

Было, впрочем, понятно, что жалко ему не замок, а себя — особенно себя маленького, того Грыма, который уже точно никогда не вернется из солнечных садов детства.

Повернувшись, он пошел к покрытому пометом бронзовому всаднику,

парящему над толпой. Это был один из великих орков прошлого, легендарный Победитель Танков маршал Жгун. К его простертой длани прицепили плакат с надписью «Вівать Уркаїно!», раскачивающийся теперь под ветром.

Площадь гудела. Как всегда в предвоенные дни, в воздухе реяли портреты Великих Кондуитов — Чингис Хана, Сталина, Хорхе Кровавого, Махмуда II Махди и прочих. Грыму раньше было интересно, кто держит эти изображения во время гуляний, и куда их потом прячут. Но любопытства ни разу не хватило, чтобы проследить за каким-нибудь портретоносцем. Это, наверно, было небезопасно. Да и ясно, в общем, без всякой слежки.

Над площадью тускло желтели крылатые крокодилы на крыше Музея Предков — оркский золотой запас (говорили, что они на самом деле просто позолоченные, а золото украли еще до Просров). Внизу показывали свое искусство мастера рукопашного боя, напоминая миру, что есть еще у орков крепкий кулак, от которого заболит шея у любого врага. Народ валил со всех сторон — напор сдерживали только железные перегородки да дубинки ганджуберсерков, время от времени лупившие по плечам и спинам.

Чтобы посмотреть на великих воинов, Грыму пришлось долго протискиваться сквозь толпу. Давка была такой, что несколько раз его подхватывал поток, и он терял возможность самостоятельно выбирать курс.

Народ вокруг был простой и грубый, и он успел нанюхаться всяких запахов, по которым, наверно, можно было бы составить энциклопедию оркской жизни: пахло луковыми очистками, обрезками кожи, надувной жвачкой, жареными на масле бананами, щелочным мылом, свиными кишками, гнилой папайей, ржавым железом, квасолой, потом, перегаром и одеколоном «Ancient Serpent». Все это было не особо приятным, но показалось сущей ерундой, когда он проехался рожей по фартуку мясника. К счастью, после этого последнего испытания толпа наконец раздалась, и Грым увидел место, где выступали богатыри.

На стене Музея Предков висела большая красная холстина с белой надписью «Ристалище». Перед буквой «Р» была подмалевана маленькая «д», тем же белым цветом, и Грым догадался: ее добавили не ночные хулиганы, а сами рисовавшие холстину художники — ободрить народ перед войной и напомнить, что урки не расстанутся с соленой шуткой даже в лихую годину.

На утопанной до твердости камня земле стояли три больших чурбана, грубо раскрашенных под людей. Чурбаны были крепчайшего вида, перехваченные для прочности железными кольцами. Грым заметил, что у

стены припасено несколько запасных.

Рядом стояла Палатка Героев — увешанный разноцветными щитами шатер с конским хвостом на вершине. В нем героям полагалось перед битвой пить волю и любить девок, что они с удовольствием и делали. Но дизайн палатки меняли перед каждой войной, и никакого оркского патриотизма это сооружение не вызывало. Вход в шатер был закрыт кумачовой занавеской. Видимо, герои отдыхали.

Чурбаны для битвы отражали не столько облик врагов, сколько муки художника, пытающегося изобразить несколько непохожих лиц. На двух были нарисованные мундиры с какими-то крестами и звездами, на третьем — настоящая полупрозрачная ветровка из тех, что выдают работникам Желтой Зоны. Сдержанный намек на внутренних пособников врага.

Враги, конечно, выглядели гнусно. Особенно раздражали кресты и звезды, которыми они наверняка награждали друг друга за убийство орков, чья цивилизация издавна развивалась по духовному пути и не разработала поэтому таких средств уничтожения, как у приземленно-материалистичных людей.

Ничего, Маниту нас рассудит...

Грым не то чтобы думал все это — он, скорее, понимал, что орк должен так думать (вернее, если совсем уж точно — должен понимать, что должен так думать), но эти долженствования возникали на периферии ума и уходили в небытие, не затронув его существа. То же самое, он был уверен, происходило на площади и со всеми остальными.

— Бамболео! — закричали два голоса в толпе. — Бамболео!!

Из палатки вышел первый богатырь. Грым узнал его. Это был знаменитый мастер боя молотом — Хрюл с Резиновых Гор (так в древности называли большие свалки старых покрышек — они сгнили много веков назад, а название осталось).

В толпе недоуменно переглядывались — почему-то перед войной Хрюлу дали имя «Бамболео». Оно не содержало никакого внятного орку смысла, и изобрели его наверняка верхние сомелье. Как и все остальное, мрачно подумал Грым.

Такое случалось нередко, и объяснение оркских властей было всем известно: врагам сложнее забыть прозвища героев, изобретенные их собственными специалистами. Но Грым знал, что военная смекалка орков простирается куда дальше — не только имена и доспехи лучших богатырей, но и фасоны общевойсковой формы каждый раз придумывали наверху. Конечно, по той же причине — кому как не людям знать, что именно устроит других людей. Но говорить про это орки не любили.

Ну что ж, Бамболео так Бамболео. В этом сезоне он носил медную пожарную каску, волчью шкуру через плечо, синие панталоны в звездах и глянцевые сапоги со шпорами. Оружие ему оставили прежнее — тяжелый молот с железной рукоятью и круглым ржавым набалдашником. Это была «трамвайная полуось», изготовленная в Желтой Зоне по старым чертежам в пригодном для рукопашного боя масштабе.

Помахав толпе рукой, Бамболео подскочил к деревянным врагам, размахнулся и обрушил свой тяжелый круглый молот на ближайший чурбан. Тот хрустнул и покосился. Бамболео ударил еще раз, и лопнуло стягивающее чурбан железное кольцо. После третьего удара чурбану пришлось совсем плохо. Бамболео с трудом закинул ось на плечо и ушел в шатер, блистая шлемом и вихляя звездчатым задом.

— Пьфу, — сплюнул рядом пожилой орк, — че он жопой крутит, как баба...

— Исторически достоверная стилистика «миллениум-два», — отозвался хорошо поставленный голос рядом. — Такая уж у мира история, братха...

Тихарь, понял Грым. А вот интересно, почему их называют «тихарями», если они же все время что-то говорят или орут? Правильнее было бы называть «громкарями».

Особого энтузиазма Бамболео у толпы не вызвал — бил он, конечно, смачно, но человеческие сомелье в этом году перегнули палку по части дизайна. Исторически достоверная стилистика «миллениум-два» ничего не говорила оркскому сердцу.

— Алехандро! Алехандро! — закричали в толпе.

Кричали те же голоса, которые перед этим выкликнули Бамболео — хриплый мужской и пронзительный девичий, далеко друг от друга. Толпа не подхватила зова и в этот раз.

Что за Алехандро?

Из шатра выскочил высокий худой орк в просторных черных трусах, натянутых на живот почти до груди. По витым серебряным кольцам в сосках Грым узнал его — это был Дрюк с Камышовой Ямы, известный мастер боя арматурным прутком. Но в каком виде!

Шерсть с его щек была сбрита, а волосы на голове — свернуты в два густо смазанных клеем рога, прихотливо изогнутых в стороны. Вместо арматурного прута «Алехандро» был вооружен пикой из железной ограды, вокруг острия которой торчали куски металлического орнамента — кривые листья и звезды. На них, должно быть, сласть как удобно было наматывать вражьи кишки.

Но пика не помогла — орки приняли Алехандро вяло, и он, сделав несколько выпадов своим оружием, исчез в шатре. Вслед ему даже плюнули пару раз.

После этого из шатра долго-долго никто не выходил. А потом площадь взорвалась приветственными воплями:

— Дрын! Дрын!

Грым заорал вместе со всеми — этого богатыря народ знал и любил, и его, слава Маниту, не коснулась нечестивая рука человеческих стилистов.

Дрын выглядел как обычно — круглый, лохматый, в засаленном кожаном балахоне, с двумя колчанами колов за спиной. Выхватив из каждого колчана по колу, он подскочил к чурбанам и отчаянно замолотил по ним — так, что только щепки полетели.

— Дрын!! — исступленно орали орки.

Деревянные враги получили серию серьезных ударов, а потом Дрын опрокинул их пинками сапог, и толпа завывала от восторга.

— Вот это по-нашему, — сказал пожилой орк, стоявший рядом с Грымом, — вот это как батя завещал...

Дрына долго не отпускали. Когда он расшиб свои колья в труху и все же ушел, ладные молодые орки выкатили к стене новые чурбаны и убрали разбитые.

Видимо, власть поняла настроение толпы. Теперь из палатки выходили только герои, одетые по оркскому обычаю. Имена им тоже оставили оркские. Сперва выступил Грыж с позолоченной крестовиной, снятой в древние времена с поганой церкви и превращенной в двойной топор. За ним Дуля с железной палицей, утыканной сверхтвердыми гвоздями. Потом любимый народом мясник Жран с двумя сечками.

А затем власть опять взялась за культурный обмен и объявила какого-то Зигги. Орки, не дожидаясь его появления, зашикали и засвистели. Грым даже не стал смотреть, кто это такой — повернувшись, он заработал локтями, и толпа, ворча и угощая его тумачами, сомкнулась за его спиной.

Нанюхавшись оркских запахов по второму разу, Грым выбрался на свободу и пошел назад к казармам. Теперь он шел вниз, поэтому обратная дорога показалась короче.

На площадке возле казармы успели установить большой фанерный щит. На нем висел лист серого картона со схемой «ПЛАН ВОЙНЫ». По бокам от плана помещалось множество бумажек помельче.

План войны выглядел практически так же, как все прочие планы Священных Войн, которые до сих пор хранились в Музее Предков. В центре был нарисован пунктирный круг, обозначающий Уркскую Гордынку

— временно оккупированное людьми сердце Славы. В него врывалась стрела оркского наступления, разделявшаяся на три языка. Левый упирался в слово «Враги». Средний — в слово «Супостаты». Правый — опять в слово «Враги».

На схеме все было просто, но Грым со школьной скамьи знал, что в реальности дело обстоит не так, как в учебниках. Биться с людьми было нелегко даже в те времена, когда у орков еще была информационная сеть и огнестрельное оружие, потому что они использовали в бою самые сложные механизмы, и от их военных технологий прямодушные орки несли большие потери. С веками люди становились сильнее, а орки, наоборот, слабели от постоянных предательств и измен, утрачивая один технический навык за другим — но все-таки в каждой войне каким-то чудом побеждали, так что объяснить это можно было только провидением и прямым вмешательством Маниту, о чем старцы всегда говорили перед битвой.

Бумажки рядом с генеральным планом содержали тактические разъяснения. Там были боевые оскорбления и кличи, сведенные в удобные таблицы по трем направлениям главного удара — чтобы всякий мог заучить слова, приличествующие его месту в боевых порядках. Был план построения по родам формы и краткая сумма имеющихся разведданных. Грыма, как вестового, все это не касалось.

Вахтенный резким жестом остановил Грыма на пороге казармы. Грым испугался, что получит нагоняй за отлучку, но вахтенный протянул ему какой-то сверток.

— Тебе поп книгу оставил в подарок. Жалко, ты ушел. Он тебя поздравить хотел.

— С чем?

— Там записка.

— А как гадание? — спросил Грым.

Вахтенный сплюнул.

— Не спрашивай. Почти всем черный пидор. А кому не пидор, так зверь или муха. Короче, от Маниту братве малява — всем копить на спутник...

Протиснувшись к своему тюфяку, Грым повернулся к стене, развернул сверток и увидел переливающийся голубой корешок. Рядом с книгой лежала записка.

Стремянный Духа Хмыр, держатель знания Древних Времен, наставник Уркаины, учитель доблестных Урков и почтительный ученик Уркагана — курсанту ГРЫМУ.

Говорят, кому выпадет номер сорок восемь, избран Маниту. Получить его при гадании весьма трудно, потому что из гадательных палочек он может сложиться раз в сто лет, и такое вижу первый раз. Про «зверя» и «свет» знают все. Но есть еще тайное — говорят, тебе будут помогать духи, и ты сможешь писать песни и стихи. Также предрекают, что ты сможешь подняться в свет Маниту, ибо тебя полюбит высшее существо. Смысл сего мне не ясен, так как сам этого номера не вытягивал никогда.

По обычаю, кому при гадании выпадет этот номер, положено подарить гадательную книгу. Можешь теперь вопрошать, просто открывая наугад.

Жаль, не пришлось поговорить.

Воинской удачи.

Грым пожал плечами. Было непонятно, но лестно.

Потом он открыл отрывок номер сорок восемь и перечитал его заново. Музыка древних слов казалась грозной и мрачной. От всего прочитанного в голове осталось одно: этот вот задающийся вопросами ум — лишь зверь, приставленный ко мне сторожем...

Старинная мудрость была безрадостной. Словно расступилась толща времен, и Грым увидел в прошлом растерянную душу, так и не нашедшую ответа ни на один вопрос своего сторожа-зверя. И сколько прошло по земле таких душ? Многие, наверно, успели бросить в вечность прекрасные строки, полные отчаяния и надежды — а вечность равнодушно сглотнула их дар, и на ее ровной поверхности не осталось даже ряби...

На сердце у Грыма сделалось грустно.

Несколько минут он слушал деревенских орков, обсуждавших, как лучше приматывать документы для окровавки — на руки или на ноги, и правда ли, что с дыркой будет уже недействительно. Сошлись на том, что так не может быть, но все равно лучше оставить родным дубликат, а то от этих сволочей можно ждать чего угодно.

— Ту-ке! Ту-ке! — закричал где-то совсем близко геккон.

Геккону было хорошо. В мире, где он жил, не было ни сакральной жертвенности, ни пепла империй, ни Воли, ни Духа. Там не было даже уркаганата, хотя геккон ни разу в жизни не выезжал за его границу.



Сколько кручин, столько причин.

По совокупности настроек Кае приходилось жалеть орков, которых гнал на бойню Маниту — и кого ей было винить в их судьбе, как не своего безответного толстого дружка, выставившего ей максимальную духовность?

Чем ближе надвигалась война, тем сильнее она на меня дулась. Одно время она даже перестала на меня смотреть, демонстративно отворачивая покрасневшее лицо в минуты наших ласк. Это, конечно, волновало меня до безумия. Но как только Кая поняла, какое наслаждение она мне приносит, она немедленно прекратила отворачиваться. Понятное дело, уже из существа.

Думаю, из моего рассказа понятны многочисленные проблемы, к которым приводила эта самая максимальная духовность — но все еще не ясно, что за позитив я получал взамен. Попытаюсь объяснить еще раз.

Как я уже говорил, при работе в этом режиме сложнейший процесс информационного анализа и обмена в ее контуре обработки данных постоянно соотносил все возникавшие в нашем разговоре смыслы с осколками тысячелетней мудрости человечества. Сейчас никто уже толком не понимает, во что верили прежние люди. Но разрозненные отголоски древних учений, мелькавшие в симуляционном потоке ее сознания, в иной миг складывались в осмысленную комбинацию, и тогда передо мной как бы возникал на миг сияющий дворец старинной мудрости.

Я знал, что это мираж. Но дух все равно захватывало.

Обычно она ругала меня и наш мир. Причем ругала сразу все — политику, культуру и религию. Иногда она упоминала что-то забытое и загадочное. Но когда я принимался ее расспрашивать, загоревшийся огонек смысла быстро гас, словно она теряла интерес к разговору. А потом Кая вновь поражала меня точно брошенной фразой — и какое счастье, что в эти минуты ее не слышал Маниту. Который, конечно, все слышал — раз слышал я.

Если говорить просто, духовность спасала наш союз от пресыщения и апатии, знакомой, увы, многим пользователям.

Если ваша сура работает в одном из фабричных режимов, разработанных для мещан и филистеров (что-нибудь типа «уют номер

семь», «пуховая горка» или «облако нежности»), утром она принесет вам в постель кофе с круассаном, улыбнется и спросит:

— Как ты спал, дорогой?

И вы будете смотреть на нее и думать, так ли у нее блестят глаза и правильно ли приделаны ноги. И не сдать ли ее на тюнинг, чтобы ей на два размера растянули рот.

А Кая постоянно держала меня на границе нервного срыва — не говоря уже о моих интеллектуальных возможностях. Это надежно защищало мой эмоциональный центр от пролежней.

В первый день войны, когда мне надо было пораньше встать и подготовиться к вылету, она разбудила меня ровно в пять тридцать утра таким вот революционным бормотанием:

— Вы омерзительные жирные лицемеры. Вы делаете вид, что защищаете орков от установленной вами же власти, а на самом деле просто расстреливаете их с воздуха, чтобы было чем скрасить новости про пластические операции ваших порноактеров. Это хуже лицемерия, это... ниже всякого презрения. Ты мерзок, мерзок, мерзок... Слышишь, свинья? Проснись, когда с тобой говорят!

Даже когда помнишь, что это просто говорящий будильник (я с вечера сам поставил ее на пять тридцать), к концу подобной фразы поневоле задумаешься, что ответить. Я, конечно, не Бернар-Анри Монтень Монтестье, но поспорить тоже могу — все-таки многому научился у напарника.

— О чем ты, душенька? Внизу, у орков, царит зло. Оно там было всегда, много веков. И они замазаны в нем все без исключения. Можно любого чпокнуть с высоты, и не ошибешься — по ним любой удар точечный. Действительно, мы вмешиваемся, только когда у нас есть... Хм... Своя повестка дня. Но все равно это лучше, чем если бы мы не делали вообще ничего. Так что никаких моральных проблем тут нет. А если они возникнут, я тебя уверяю, что наши сомелье и дискурсмонгеры решат их за пять минут в первом же выпуске новостей.

— В этом я не сомневаюсь, — сказала она и наморщила носик, глядя в какую-то точку на потолке. — Только ведь мне жалко не одних орков. Мне жалко и тебя, бедный жирный дурачок.

— Почему я дурачок?

— Ты думаешь, что ты лучше их. Лучше этих орков. И даже лучше меня.

Это уже было интересно.

— Лучше орков — пожалуй, — сказал я. — Ты бы, думаю, не

променяла меня на орка. Хотя бы потому, что орку ты не по карману, ха-ха-ха...

Люблю, когда удастся хорошо пошутить. Я об этом узнаю просто — хорошим шуткам Кая улыбается. Поскольку специально я такой параметр не настраивал, ее вердикту можно верить.

— А насчет того, кто лучше — я или ты, — продолжал я, — это просто неверная постановка вопроса. Ты не лучше и не хуже. Ты другая. Другого надо научиться принимать таким, каков он есть в его самости...

Это я просто повторил вслед за Бернаром-Анри. Он любил во время прошлой войны поговорить про «другого». А иногда еще про какого-то «постороннего». Орки его обычно не понимали — просто не успевали, если между нами. Да и я сам тоже. Я, впрочем, не особо вслушивался, потому что глядел в это время в прицел, но в памяти все равно осталось.

— Ты думаешь, — грустно сказала Кая, — что я просто говорящая кукла для мастурбации. И здесь ты прав, жирная свинья. Твоя ошибка в другом. Ты считаешь, что у тебя внутри живет Маниту. И это делает тебя чем-то качественно отличным от меня.

— А разве нет?

— Нет, — отозвалась Кая, — Ты такая же машинка для онанизма, как я. Только еще и бесполезная, потому что нет никого, кому ты это делаешь. Понимаешь? Я это делаю тебе, а ты никому. Ты каждый день жужжишь и трясешься совершенно зря.

— Не понял, — сказал я.

Тут засмеялась Кая.

— Да ты еще и дурачок к тому же. Объясню как-нибудь потом. А сейчас тебе пора убивать людей.

Звучало это достаточно обидно для того, чтобы у меня на скулах напряглись желваки, а в груди проснулся стоицизм. Ничто так не бодрит с утра, как свежая обида.

«Ну здравствуй, мир, — произнес я мысленно. — Спасибо на добром слове. А теперь за работу...»

— Ладно, — сказал я, суя ноги в шлепанцы. — Поговорим после. Свари-ка кофе. А то папочке скоро на вылет.

— Чтоб ты подавился своим кофе, палач.

Вот так у нас каждый день.

В комнате счастья я несколько секунд боролся с искушением включить контрольный маниту, чтобы поменять ее настройки — снять с максимального сучества. И искушение победило — слишком уж сильной была обида. Я включил маниту и ввел пароль.

Передо мной замигали большие красные цифры:

30.00

29.59

29.58

Первые десять минут я честно собирался дождаться и все сделать. Но потом до меня дошло, что так я опоздаю на войну. И, еще важнее, подпишу себе приговор. Это будет полной капитуляцией. Если машинка смогла меня победить, то я такая же точно машинка и она полностью права.

Я погасил маниту и стал обдумывать вылет.

Когда я вышел из комнаты счастья, я был уже совершенно спокоен. Как только я сел за стол, Кая подала мне кофе и тосты с джемом — их она делает превосходно. Я снисходительно потрепал ее по спине, даже чуть ниже — и она не отстранилась. Все-таки инстинкт у нее безошибочный. Она выглядела немного смущенной — словно переживала за свои недавние слова.

За едой я молча смотрел новости по маниту.

Сперва прокрутилась заставка с нашим девизом:

«... the CINEWS of thy heart»^[11]

Изящная и никогда не занимающая экран больше чем на долю секунды цитата из древнего поэта Блейка, умершего, как гласит легенда, в нищете. А проживи он на какую-то тысячу лет больше, и одна строчка из «Тигра» навсегда озолотила бы его самого и всю родню: цитата мелькает на миллионах маниту много раз в день.

Я надеялся, что в очередной раз покажут мою дамзель, но вместо нее поставили главный хит предвоенного сезона — короткую и смазанную (чтобы походить на съемку шпионской мухокамерой) видеозапись молитвы Рвана Дюрекса. За последние сутки ее повторили не меньше двадцати раз.

Запись была сделана в роскошной спальне со следами недавнего дебоша, где на кровати лежала недорогая SM-сура с обильно выступившим на коже красным наполнителем. Оркский каган стоял на коленях перед массивной золотой спастикой и исступленно шептал:

— Маниту! Сделай так, чтобы резиновой женщине было больно, когда я гащу об нее окурки!

Поскольку зрители уже видели в новостях трагическую гибель такой

же суры, заснятую на целлулоид, ролику верили. Конспирологи, разумеется, утверждали, что это цифровая подделка, проплаченная производителями арманьяка (бутылка «Liquid Diamond» действительно выгодно выделялась на переднем плане). Но я был уверен — съемка настоящая, хоть и постановочная: перед отлетом в Лондон оркские каганы цепляются за любую возможность в последний раз заработать. Не потому, что не хватает средств, а просто из жадности.

Ну ничего, думал я, Дамилола сейчас злой, и обязательно снимет что-то очень хорошее. Что-нибудь такое, о чем все будут долго-долго говорить.

Пора было вылетать. Чмокнув Каю в щеку, я отправился к блоку управления «Хеннелорой».

Обычно я сажаю ее на кушетку рядом со своим летным седлом. Но в этот раз я даже не стал ее приглашать — только включил контрольный маниту. Я был уверен, что она сама за него сядет, как только я взлечу. День обещал быть напряженным и опасным, и я полностью выкинул ее из головы, как только надел боевые очки и отцепился от технической палубы.

Когда я приблизился к нашей армаде, вся ударная авиация была уже в воздухе, и мне, как всегда перед боевыми съемками, стало весело и тревожно. Вокруг барражировало не меньше ста телекамер — время от времени одна или две отваливали в сторону от стаи, закладывали вираж и падали в серую линзу маскировочной тучи.

Я предпочитаю спускаться по медленной спирали: у того, кто до последнего момента держит большую высоту, гораздо больше шансов заснять эксклюзив. Это один из секретов, который понимаешь только с опытом. Но выглядят пикирующие камеры действительно красиво — такое зрелище рождает чувство ничем не стесненной свободы, а на орков наводит ужас. Они вдобавок слышат адский визг наших воздушных тормозов.

Никто сегодня не включал оптический камуфляж — как сказал храмовый телеканал, «рыцари Маниту идут на битву с орками с открытым забралом».

Интересно что такое «забрало»? В экранном словаре это слово отдельно не объясняется, есть только общий смысл идиомы: «с открытым забралом» — «честно, прямодушно». Но я уверен, что в древности смысл выражения был не таким возвышенным. Наверно, «забрало» — это был такой специальный железный манипулятор в виде огромной руки, которым что-то забирали при штурме замков. Например, сокровища через окно башни. Тогда все понятно.

Я редко о таком думаю, но сейчас мне пришло в голову, что мы — информационно-боевая элита человечества — выглядим в глазах Маниту

весьма странно: сто человек в непрозрачных очках разного фасона, елозящих на своих летных кушетках, совершая странные движения руками и ногами. Выстрел из бортовой пушки — это мельчайшее движение лежащих на рукоятке пальцев; маневр несущегося в воздухе болида — еле заметное подергивание икры. Да еще и одеты кто во что, а некоторые, наверно, и вообще в грязных подштанниках, потому что работают на дому.

Впрочем, где мы, пилоты-надомники, на самом деле? В своих тесных комнатах или в оркском небе? И где это небо — вокруг моей «Хеннелоры» или в моем мозгу, куда его транслируют электронные удлинители глаз и ушей?

Кая, помнится, долго старалась закачать в меня свою древнюю мудрость по этому поводу. Вряд ли я много понял, но кое-что все-таки запомнил.

По ее мнению, ответ зависит от того, что именно мы называем собой. Если тело, мы в комнате. Если это внимание и осознание, то мы в небе. Но в действительности мы ни там, ни здесь — поскольку тело не может летать в облаках, а вниманию и осознанию неоткуда взяться без тела. И ответа на этот вопрос просто нет. Ибо, как говорит Кая, любой объект или понятие исчезает и улетучивается при попытке разобраться, что перед нами в действительности. И это в полном объеме относится к пытающемуся разобраться.

Что бы она ни говорила, насчет себя мне такое трудно принять. Я — вот он, все время здесь, и именно с этого начинается все остальное. Но эта неуловимость сути совершенно точно распространяется на сур, которые, как я уверен, сидят сейчас перед контрольным маниту у многих пилотов.

Понять, кто они такие на самом деле, невозможно.

Можно только описать их внешность и поведение.

Большинство из них — существа нежного возраста. Часто с недетски мудрыми глазами, потому что максимальная духовность сегодня в жуткой моде. Есть среди них, думаю, не только мальчики и девочки, а еще и две или три овечки, задумчиво жующие пустоту перед летящим в облаках прицелом. Да и старичка со старушкой, наверно, тоже можно найти — в каталоге такие модели есть.

И здесь возникает очень любопытный вопрос.

Когда пилот снимает очки после работы, сура высказывает мнение об увиденном (особенно интересно, должно быть, беседовать со стоящей на максимальной духовности овцой). Поняно, что все ее суждения — чистая симуляция. Слушателем и зрителем здесь все время является владелец суры, который и одушевляет ее своим вниманием.

Но вот когда пилот занят по работе, кто смотрит на маниту, сидя рядом? Откуда Кае известно, что я «мясник», когда мое внимание не на ней? Или она просто знает, что после увиденного ей следует сказать мне эти слова? Но кто в ней знает? Загадка, непостижимая загадка. Лучше, видимо, об этом просто не думать.

Особенно на работе.

Провалившись в эти мысли, я чуть было не зацепил огромный трейлер с флюоресцентной надписью, окруженной разноцветными сердцами:

!!! NICOLAS-OLIVIER LAURENCE VON TRIER-85!!!

Трейлер пер к тучам прямо наперерез моей камере, в полной уверенности, что я отверну. Ну еще бы, сам Николя-Оливье летит на юбилейные съемки. Перед тем как трейлер нырнул в тучи, я успел его как следует рассмотреть.

Он был здоровым — эдакий куб металла размером с хороший оркский дом. Говорят, у Николя-Оливье внутри есть даже персональный спортзал. Который ему теперь вряд ли нужен по возрасту.

Трейлер был расписан его движущимися портретами в самых известных храмовых ролях. Самый большой — из трехчастной франшизы «Нью Бэтман», где он был изображен в своем каноническом виде — в бейсболке и с боевой палицей (она по-церковноанглийски называется «bat», отсюда и его знаменитое *nom de guerre*). Стоит, вроде бы небрежно засунув биту под руку, а на самом деле — чтобы незаметно оттопырить бицепс.

Первую часть снимали совсем давно, когда бицепс был настоящий, а не парафиновый, а *consent age* колебался в районе 42 или около того. Вторую — лет десять назад. И в промежутках он сыграл много других ролей. Но своим имиджем Николя-Оливье обязан именно этой эпопее — эдакий последний герой человечества, который бьется с орками их же оружием и побеждает.

Эту войну мы начали для того, чтобы отснять четвертую часть франшизы, где он мочит орков деревянной дубиной возле Кургана Предков.

Ну не только из-за Николя-Оливье, конечно. Свободные люди не начинают войн из-за приближения менопаузы у одного-единственного актера, даже если пара телеканалов утверждает, что он всенародно любим.

Но если его продюсер убедит других продюсеров доснять оставшиеся у них франшизные висяки с остальным сверхбогатым старичьем (которому, между нами говоря, место не в снафах, а в крематории), вот тогда война

вполне может начаться. Особенно с учетом того, что на оркских просторах постоянно происходит такое, с чем совесть порядочного человека никогда не сможет примириться, если за вечерним чаем он вдруг увидит это на своем маниту. Вы понимаете, о чем я.

Именно поэтому вниз сейчас летят эти расписные трейлеры в виде пирамид, параллелепипедов и прочих октаэдров. И на каждом тщательно продуманный визуальный ряд, транслирующий в окружающее пространство основные жизненные и творческие вехи штопанного-перештопанного сокровища киноиндустрии, сидящего внутри.

Проходя через тучи, они тоже не включают камуфляж — такой уж сегодня день. У них забрало всегда открыто — все, что можно, они уже забрали. Ничего удивительного — если посчитать, сколько народу кормится вокруг кинобизнеса, получится, вокруг него кормимся мы все, а иные и по два раза.

Я ушел в тучи и пару минут вел «Хеннелору» без всякой визуальной информации, просто по данным на маниту. Так в тучах даже надежнее, когда вокруг полно наших. А вынырнув из туч, я обомлел — хоть и знап, что увижу.

Я каждый раз забываю, как красиво война выглядит с высоты.

Кто-то из древних сомелье сравнил Славу с пятном, которое остается на стене от долго живших за шкафом тараканов. Очень точное описание — ни прибавить, ни убавить. Но в самом центре этого пятна красуется Цирк — огромный зеленый круг, окруженный желто-бело-голубым обручем — так с высоты выглядит монументальная цирковая стена, запретная зона и ров с водой. В центре круга — небольшая зеленая пипочка, похожая на мохнатый сосок. Это оркский Курган Предков, заросший кокосовыми пальмами. На нем растут и другие сорняки, а на остальном пространстве крупную растительность выпалывают летающие косилки.

Так сочно зеленеть может только свежая молодая трава, растущая на ровной и хорошо удобренной почве. А когда спускаешься ниже и включаешь увеличение, становятся видны разноцветные пятна цветов, празднующих на этом просторе свою свадьбу с пчелами. Вечная геральдика жизни. Странно, мне никогда не жалко орков, но каждый раз жалко этот огромный цветущий газон, который к концу войны становится из зеленого черно-бурым. Сколько бабочек и жуков гибнет каждый раз.

В цирке уже вторые сутки шли съемочные приготовления, но орки ничего об этом не знали — до сегодняшнего дня технические трейлеры спускались вниз в невидимом режиме. Орки видели только наши камеры, висящие в небе. А сегодня они увидят весь наш десант.

Смрадные трущобы оркской столицы вплотную подходят к стене цирка только в одном месте — у рыночной площади. И там же расположены единственные ворота, через которые орки могут пройти на войну.

Они были уже готовы к битве — их огромная армия походила на спрута, который подобрался к непорочнозеленому кругу Цирка. Так казалось, потому что армия была слишком велика, чтобы поместиться на рыночной площади, где стояла боевая ладья кагана — половина солдат собралась на прилегающих улицах.

И тут в моей голове щелкнуло.

Я вдруг понял, что этот зловещий спрут может сильно помочь с выплатами за Каю. Вид с высоты, понятно, давала не одна камера, и даже не две — но без специальных ухищрений этого спрута никто не мог увидеть, поскольку на оркских отрядах была разноцветная форма... А вот если сделать его черным... Поколдовав с насадками и фильтрами, я включил камеру.

Получился такой тревожный осьминог, что самому стало не по себе — как говорят на церковноанглийском, I was behind the camera and I shed a tear...^[12] Поразительно, такая конфигурация возникает каждую войну, и до сих пор никто ее не заметил и не продал.

Я снимал одновременно на храмовый целлулоид и на цифру, и кто-то из старших сомелье, видимо, отследил мой материал на своем маниту, сразу понял идею и послал мне немедленный воздушный поцелуй — цифры в правом верхнем углу моего поля зрения замелькали, защелкали, и я понял, что заработал три миллиона маниту.

Это за несколько секунд съемки. И кадр наверняка сделают сегодня заставкой новостей. Да что там заставка, это тянет на логотип всей войны — черный осьминожка и зеленый круг с... Уж не знаю, кого в него впишут. Но при увеличении раз в десять все заинтересованные профессионалы смогут увидеть внизу крохотный значок «DK v-arts & all».

А то, что увеличивать картинку будут много раз, не было никакого сомнения — редко когда удастся на одном крупном плане так корректно, но четко показать всю агрессивно-мрачную суть оркского племени. Учитесь, сосунки, пока я рядом.

Вот поэтому я и люблю спускаться последним по своей фирменной спирали. Пока чайки мечутся над волнами, выискивая себе кусок пожирнее, орел парит среди туч... Здорово, что я заработал свои маниту уже в самом начале войны — как и все асы, я не люблю без крайней необходимости болтаться над полем боя. Можно запросто столкнуться с

каким-нибудь новичком и повредить «Хеннелору». Да и снарядам легко может задеть, особенно когда зафиксированных для вечности орков начинают в эту самую вечность отправлять.

Снимать военные виды на бреющем — это не для меня. Оркские кишки пусть фотографирует молодежь, для которой главное, чтобы было сочно и страшно. У них и камеры казенные, не страшно разбить. Ну и пусть себе борются за существование. Главное, чтоб не со мной, а друг с другом.

Нет, я могу, конечно, и спуститься. Мастерство позволяет. Но для меня там есть только одна подходящая работа — прикрывать кого-нибудь из актеров первого эшелона во время съемок. Раньше это был самый ответственный участок — по старым правилам актеру полагалось лично убить для снафа хоть одного орка, и надо было выстрелить точно в нужный момент, чтобы орк был еще технически жив, когда его настигнет возмездие. Но по новому закону уже неважно, кто именно убьет, актер или оператор (теологи пришли к выводу, что нить жизни по-любому обрывает Маниту). Важно, чтобы снятые в снафе орки умерли по-настоящему. Ну а с этим проблем нет.

Еще я могу отстреливать орков вокруг самого кагана, когда его будут грузить на платформу, чтобы поднять вверх (орки, кстати, до сих пор верят, что их каганы рано или поздно гибнут у Кургана Предков).

Но в этот раз никто меня не нанял — ни для первого, ни для второго. Видимо, потому, что стоят мои услуги дорого. Ну ладно, сегодня я свое отрабо...

Нет, все-таки самое главное в нашем деле — это иметь запас по высоте.

Если бы я летел низко над землей в тот момент, когда Кая дернула меня за плечо, я, возможно, разбил бы «Хеннелору». Но, поскольку я был высоко, камера просто совершила кувырок. Я чиркнул пальцем по рулю, перейдя на автопилот, и снял с носа очки.

Прямо перед моим лицом было лицо Каи.

— Ты что? — спросил я изумленно.

Она потерлась своей щекой о мою. Раньше она такого не делала.

— Ты хочешь, чтобы папочка разбил камеру? — спросил я, стараясь говорить строго. Но рука сама потянулась к ее спине, к той очаровательной маленькой 132 впадинке над ягодицами, о которой я столько спорил с дизайнерами — и победил.

Кая шлепнула меня своими влажными губами в нос.

— Я сделаю папочке очень-очень приятно, — сказала она тихо. — Но

только потом. А сейчас я хочу посмотреть на Грыма. Спускайся вниз, летающая задница. И быстро. А то его убьют.



В небе над Славой висели темные птицы смерти, похожие на стрекоз из-за круглых блестящих глаз.

Суеверные деревенские орки верили, что глаза у них из проклятого Маниту стекла, и с их помощью они вытягивают души из поверженных воинов. Продвинутые городские орки, конечно, смеялись над этой ерундой. Но в душе верили в нее точно так же.

Иногда какая-нибудь камера делала в небе вольный разворот и с нарастающим воем неслась к земле, чтобы над самой площадью выйти из пике и пронестись над оркскими головами, снимая крупный план.

Камер было так много, что глаза то и дело колол острый луч отраженного в оптике утреннего солнца — казалось, битва еще не началась, а люди уже стреляют по оркам своими злыми умными стрелами. Потом солнце ушло за маскировочную тучу, и стало чуть легче.

Боевая ладья уркагана была замысловатым сооружением из дерева на прочной раме из дерипасия, установленной на восьмиосную платформу «Даймлер Моторенваген». Как всегда, ладью эксклюзивно изготовили в цехах Желтой Зоны, и производственный процесс широко освещался в спецвыпусках «Якщѳ завтра війна» — все знали, что у нее внутри, какую она развивает скорость и сколько весит каждое колесо. Сейчас она целилась прямо в Ворота Победы, и загородки перед ее загнутым вверх носом были уже убраны. Все понимали, что это значит. Но настроение у заполнивших площадь войск было приподнятым.

Гул над площадью постепенно делался громче. Грыму передалось общее волнение — и он с удивлением понял, что к нему примешивается изрядная доля тщеславия. Все-таки он был вестовым самого уркагана. Ответственная и почетная должность, введенная после войны № 214 — когда люди в разгар сражения неожиданно отключили оркам мобильную связь.

Грым чувствовал, сколько оркских глаз скользит по его новенькой белой матроске — форме правого фланга. Два других вестовых,

приписанных к левому флангу и центральному участку, были одеты иначе — один дикарем, другой ретиарием. К борту ладьи были пристегнуты их мопеды — та самая «Уркаина», которую выпускал завод дяди Жлыга. Увидев этот аппарат, Грым вспомнил разговор на поминках. Похоже, материю теперь пидарасили, даже не пытаясь перед этим наебать — знали, что все равно ничего не выйдет.

Грымму казалось, что некоторые из стоящих на площади машут лично ему. И Хлоя наверняка видела его сейчас в своей Зеленой Зоне. Он сам несколько раз увидел себя на огромном маниту, вывешенном на стене Музея Предков вместо холстины с надписью «Ристалище».

Грым стоял довольно далеко от носа ладьи, где сидел на походном троне Рван Дюрекс. Уркаган был скрыт толпой сановников и военачальников — Грымму были видны только их согнутые спины. Но лицо властителя то и дело появлялось на стене музея. Он выглядел совершенно спокойным. В конце концов, это для него была уже восьмая война.

Вожди совещались.

На экране все выглядело неплохо, но Грым не испытывал к руководству особого пиетета. Он лично видел кагана под дулами телекамеры, и это не произвело на него приятного впечатления. Кроме того, рано утром перед построением он зачем-то решил погадать по книге, подаренной священником — и выпал отрывок про власть.

Теперь он чувствовал себя мрачновато.

Отрывок был таким:

Семьдесят один. Тайна власти.

Смотрящий по Шансону сказал: сущность власти не в том, что уркаган может начать войну. Сущность власти в том, что он сможет и дальше остаться уркаганом, если отдаст такой приказ точно в нужный момент — когда к нему повернутся пацаны. И никакого иного владычества нет, есть только гибель на ножах или слив в пидарасы.

Древние понимали это, нынешние нет.

Поистине, искусство властителя сводится лишь к тому, чтобы как можно дольше делать вид, будто управляешь несущим тебя смерчем, презрительной улыбкой отвечая на укоры подданных, что смерч несется не туда.

То же относится и ко многому иному.

Похоже, это была правда. Уже несколько часов Грым наблюдал смерч,

сгущающийся перед Воротами Победы.

Войска прибывали и прибывали — площадь уже не могла вместить всех. Между отрядами бегали разметчики, устанавливая дистанцию сближения, чтобы никто не погиб в давке. Строили по родам формы. Их в эту войну было много — хоть, конечно, и не двадцать, как уверял обкурившийся прокуратор.

Большая часть пехоты была в белых матросках с синим отложным воротником. Им до сих пор раздавали оружие: алебарды, бердыши, копья и сабли, кому что достанется. Откуда-то все уже знали — морячкам предстоит драться на правом фланге и центральном участке. У них было меньше всего поводов веселиться. Дураку было ясно, что в белое одевают для лучшего контраста с кровью.

Тяжеловооруженные штурмовики выделялись своими черными латами и одинаковыми зазубренными пиками. Они стояли идеальным каре и казались вырезанными из дерева из-за своей полной неподвижности.

Гладиаторский полк одели ретиариями. Здоровые парни с острыми трезубцами в руках остались практически голыми — в одних шортах, обшитых ветошью для сходства с набедренной повязкой. Положенных ретиариям бронзовых накладок на плечо в этом году не выдали — ходил слух, что военное руководство продало их на цветной металл. Пацаны ежились от утреннего ветерка. Некоторые разворачивали боевую сеть и накидывали ее на плечи. На таких свистели разметчики.

Веселей всего вели себя дикари в шкурах из коричневого синтетического меха — их было целых два полка, назначенных на левый фланг. Почему-то все считали, что дикарям придется легче, чем другим. И оружие им раздали самое несерьезное — деревянные дубины и кремниевые рубила.

Лучники, пращники и огнеметатели стояли отдельно от остальных. Бочек с мазутом, баллист и тяжелой техники на площади еще не было — их подвозили в последнюю минуту, чтобы не дать людям повод начать бомбежку раньше срока.

Грым насчитал уже семь родов войск, и это без учета солдат, построенных на примыкавших к площади улицах. Там вполне мог быть кто-то еще. На улицах обычно оставляли резерв — разметка была высечена прямо на стенах домов, потому что каждую войну строились одним и тем же порядком.

Грым думал, как здорово было бы ограничиться этим веселым тревожным маскарадом и не идти в Цирк умирать. Ведь может такое случиться, хоть один раз за всю историю? В его голове крутилось какое-то

детское подобие молитвы:

«Маниту, я знаю — это за то, что я был плохим. Но теперь я всегда буду хорошим, клянусь... Только не надо, пожалуйста, не надо...»

А потом началась высадка.

Из спиральной тучи над Цирком посыпались пестрые кубы, тетраэдры, шары и другие геометрические формы, названия которых Грым не знал. Приближаясь к земле, они увеличивались в размерах, тормозили — и, перед тем как скрыться за цирковой стеной, описывали круг над площадью, с шорохом проносясь над ладьей кагана. У замерших орков была секунда-другая, чтобы рассмотреть врага вблизи.

Трейлеры были покрыты яркой росписью — в основном сценами из снафов. Голые грудастые женщины, замершие в бесстыдном соитии с немолодыми загорелыми мужиками, боевые машины людей, идущие на оркский строй, позор побежденных каганов прошлого — все эти картины на бортах транспортеров были движущимися и живыми. Словно с неба падали запрещенные куски знакомых снафов — те самые, которые были замазаны цензурой. Враждебный мир с другой стороны свинцового облака плевать хотел на все оркские запреты. Он врывался в оркскую жизнь грубо и нагло, плюя на ее лад и обычай. Удар чужой культуры, несомненно, сам по себе был актом войны — это почувствовали все.

Площадь стала роптать — сперва тихо, потом громче и громче, и ропот начал перерастать в движение. Площадь закипала. Разметчики не могли больше удерживать дистанцию между отрядами, колоннам все труднее было сохранять строй, и сделалось ясно, что, если не открыть ворота прямо сейчас, будет давка. Это было элементарно как школьная задача про трубы, по которым втекает и вытекает вода.

Грым увидел на большом маниту, как офицер из свиты склонился к кагану и что-то прошептал. Рван Дюрекс кивнул и встал с места. Площадь замерла.

Каган чуть выждал, поднял свой шестопер, смачно плюнул на него и бросил в ворота. В тишине раздался удар железа о железо — шестопер попал в накладную спастуку.

«Вот и все», — подумал Грым.

Пока отскочивший от ворот шестопер падал на землю, он словно заглянул в щель, за которой крутятся незамысловатые колеса истории. Вот так, оказывается, происходили великие события... Тайна власти была описана в книге «Дао Песдын» исключительно точно.

Когда шестопер упал, к воротам бросились богатыри. Бамболео успел первым — и одним ударом трамвайной оси сшиб жалобно звякнувший

замок.

Маниту на стене Музея Предков показал крупный план лопнувшей дужки, и народ на площади задрал головы, чтобы увидеть подкравшуюся к воротам камеру — но она была скрыта камуфляжем.

Собравшееся на площади войско завопило старинный клич:

— Урки рулят! Урки рулят! Моржуа и Сандуны!

На помощь Бамболео пришли другие витязи, и ворота распахнулись. Грым еще не видел поля за ними — но по его спине прошла та же электрическая волна восторга и ужаса, что и по всей площади.

Зарычали спрятанные под досками моторы, и ладья пришла в движение — каган должен был войти на Оркскую Славу в числе первых. Боевой помост всегда делали в виде огромной лодки, потому что такая платформа могла протиснуться в ворота — она была длинной и узкой.

«Вот и вся норманнская теория, — подумал Грым, вспомнив школьную зубрежку, — благородный Торн Кондом с дружиной викингов и что там еще... А под стеной пролезть, так предки станут гномы...»

Слегка чиркнув бортом о проем (это было плохим знаком, но все сделали вид, что ничего не заметили), платформа кагана въехала на Оркскую Славу.

Тут с Грымом стало твориться странное.

Он словно раздвоился — как будто в его голову воткнули антенну, улавливающую чувства огромной оркской толпы. Ему волей-неволей приходилось переживать их, и страшнее всего было то, что он не всегда понимал, где толпа, а где он. Орки ворвались в его мозг точно так же, как на цирковую равнину, а сам он спрятался в крохотном уголке своего сознания.

Он не понял еще, что видит, а уже сладко заныло сердце: растворилась дверь в древнюю сказку про героев... (Грым плевать хотел на геройские сказки, но это знал только самый краешек ума.) Зеленое, раздольное, ровное, славное, родное... Сердце Уркаины, политый оркской кровью Курган Предков... (Скрыть его совсем, и не надо будет ничего поливать.) Так вот где наши столько веков бьются с людьми за Оркскую Славу... (Ну вот, пригнали скотинку — а теперь?)

Постепенно потрясение прошло, и Грым стал яснее понимать, где он и что творится вокруг.

Оркская Слава была огромным круглым полем, идеально ровным, с гладко постриженной травой — и небольшим холмом в самом центре. Со всех сторон поле окружала серая бетонная стена. В некоторых местах она уходила так далеко, что почти исчезала из виду.

Орские герои из бежавшего впереди клина больше не могли соперничать с разгоняющейся ладьей в скорости и повисли на ее боках, зацепив поясные петли за свисающие с бортов крючья. Гудя моторами, «Даймлер Моторенваген» оторвался от орских рядов и понесся к Кургану Предков.

У Ворот Победы в это время происходило самое сложное — орской армии и технике предстояло без давки пройти сквозь узкую горловину и занять предписанные диспозицией места, причем быстро. Это требовало хорошей организации, но выглядело скучно, и все камеры следовали за ладьей кагана. Некоторые улетали вперед, разворачивались и неслись ей навстречу, проскакивая в рискованной близости от стоящих на палубе.

Грым прошел вперед. Теперь он видел кагана — тот сидел на своем походном троне совсем рядом. Каган смотрел репортаж о войне на маленьком плоском маниту, прикрывая его боевым веером, чтобы не сняла случайная камера.

Приблизившись к Кургану Предков, ладья начала плавно тормозить и остановилась под сенью первых пальм — так, что недозрелые кокосы оказались над палубой. Ничьей жизни они не угрожали, но это тоже был плохой знак, во всяком случае, для знакомых с историей: Просра Солида вспомнили все.

Отсюда были хорошо видны человеческие приготовления к войне. Они не слишком впечатляли. На правом фланге торчало что-то похожее на короткую крепостную стену с зубцами. На центральном участке был виден длинный земляной вал, за которым стояли трейлеры, пронесшиеся перед этим над рынком. А далеко слева виднелись мелкие зеленые холмики, заросшие яркими цветами и травой. Грым услышал, как двое военных обсуждают их — это, оказывается, были транспортные контейнеры, одновременно игравшие роль декораций: две войны назад люди уже использовали нечто подобное.

Герои сопровождения отцепились от крючьев, окружили ладью уркагана оборонительным полукольцом и замерли, ощетинившись острым железом.

Защищаться, впрочем, было не от кого. Невидимые люди бездействовали, глядя, как орская сила входит на равнину и движется к позициям на выдвинутых вперед флангах, чтобы оставить Курган Предков и ладью главнокомандующего в тылу. Поскольку большой художественной ценности бегущие по полю орки не представляли, все телекамеры сейчас висели над Курганом Предков, где начинался самый торжественный момент войны — смена флага.

Среди кокосовых пальм на вершине холма высился стальной флагшток. Сейчас на нем развевалось синее знамя Бизантиума с двойной зеркальной «В», похожей на два состыкованных глобуса — в полном соответствии с официальной концепцией «two cultures — one world».

Грым поднял голову. Ось Бизантиума была прямо над ним — и хоть сам офшар не был виден, косматая спираль маскировочной тучи разворачивалась точно из того места в небе, на которое указывал флагшток.

Грым столько раз видел в старых снафах смену флага, что мог с точностью до секунды предсказать все последующие события.

Пробираясь между пальмами, на холм взбежали Знаменосцы Славы — в этом сезоне ими были Бамболео и Жран. На всех маниту возникли крупные планы двух фигур, прыгающих по кочкам к флагштоку. Вскоре желтая восьмерка Бизантиума съехала вниз, и над полем раздался протяжный рев — вверх поплыло красное оркское полотнище с золотой спаситкой.

Грым чувствовал, что его раздвоение продолжается. Он не испытывал по поводу происходящего ничего, кроме страха, и, тем не менее, у него свело горло, а на глаза выступили слезы восторга — словно отчизна принудительно надавила на требуемые железы, засунув костлявую руку прямо ему в череп.

Телекамеры не нападали. Они держались на высоте — иногда только одна или две пикировали к ладье уркагана. Тогда становился слышен тревожный свист рассекаемого воздуха — но они всегда отворачивали раньше, чем воины могли достать их копьем. Вскоре у людей появились первые потери: две камеры столкнулись на большой скорости, и, искря, стали уходить вверх, пока не исчезли в туче.

Когда оркское знамя взвилось к верхушке флагштока, из динамиков на ладье ударила торжественная музыка. Грым почему-то вспомнил школьный урок пения.

«Музыка бывает пидорская и воинская. Когда играет пидорская, душа закрывается для света Маниту. А воинская сама есть свет Маниту. Пидорскую музыку орки извели. И теперь на просторах Уркаины слышна только воинская...»

Учитель заблуждался, думал Грым, орки вовсе не извели пидорскую музыку. Просто она научилась мимикрировать под воинскую — и доказательство несло сейчас из всех маниту, транслирующих начало войны.

Грым много раз видел крупные планы оркских военных вождей во время подъема флага — они присутствовали в каждом третьем снафе, и

обычно их не вырезали. Чаще всего вожди о чем-то переговаривались. Глядя на их лица, можно было предположить, что речь идет о последних поправках к плану битвы или о принципах послевоенного мироустройства. Сейчас Грым находился на ладье кагана сам, и ему повезло — он лично услышал один из таких значительных государственных разговоров.

Перед ним стояли маршал Шпыр и один из стареющих любовников кагана — мезонин-адъютант в такой же матроске, как на самом Грыме, только со звездами на отложном воротнике. Мезонин-адъютант сказал Шпыру:

— Слышь, старый! Знаешь молитву кагана?

Шпыр поднял бровь.

— Че, про резиновую женщину и окурки?

Мезонин-адъютант отрицательно покачал головой.

— А че тогда за молитва?

— Святые подвижники говорят, решает все вопросы.

Маршал Шпыр почесал подбородок, раздумывая.

— Ну, научи, — сказал он.

— Повторяй «Маниту — да!»

Шпыр несколько раз повторил скороговорку, пока отчетливо не прозвучало «мы не туда». Тогда, не теряя государственного вида, он сказал:

— Говно, нахуя такое перед боем-то?

— Кто тебе говно? — с вежливой улыбкой переспросил мезонин-адъютант. — Совсем охуел, пень старый?

«Так, — соображал Грым, — сейчас музон доиграет. Потом спустят летающие стены. Потом объявят, что фланги и центр развернуты. А дальше... Дальше начнется. Вот тогда цензуру и включают. Интересно, какая будет заставка? Наверно, сделают спасику с павшими воинами, которые шевелятся под светом Маниту... И опять все будут думать, сколько на этом украли...»

Если действительность вносила в эту последовательность коррективы, они были небольшими.

Первым пришло сообщение о том, что фланги и центр развернуты. Собственно, Грым понял это и сам — повсюду были видны оркские шеренги, шагающие к человеческим фортификациям. Некоторые отряды уже достигли предписанной позиции и остановились — команды к атаке не было.

Потом люди принялись разворачивать летающие стены.

Грым никогда не видел полностью, как это происходит — в новостях и снафах мелькали только отрывки.

Сначала из туч появилось множество однотипных цилиндрических машин — они были серые, похожие на обрезки толстой водопроводной трубы, и отличались друг от друга только номерами на борту. Спускаясь к полю, они выстраивались в причудливые цепочки и полукольца и зависали на месте. Скоро их стало так много, что Грымму начало казаться, будто наверху проложили сложную сеть улиц и переулков.

Потом из этих цилиндров вниз поползли полосы серой ткани. Грым вспомнил подвесной экран, на котором в школе показывали слайды — он хранился в мятой жестяной трубе, откуда его вытягивали перед уроком, а к нижней его части крепилась планка с грузом. Здесь все было похоже, только намного крупнее. Толстая дырчатая ткань покачивалась в воздухе, и вскоре Грым увидел перед собой колеблемый ветром лабиринт — зыбкий и непристойно огромный.

Теперь прямой видимости между ставкой главнокомандующего, центром и флангами уже не было. Ладья кагана оказалась отрезанной от солдат огромной серой стеной — в которой, правда, было оставлено множество коридоров. Грым знал, что эта ткань может показывать картинки совсем как маниту, но пока изображений на ней не было.

— Вестовой Грым!

Грым вздрогнул.

Прямо перед ним стоял маршал Шпыр.

— Так точно! — заорал Грым, отдавая честь.

Занятый своими мыслями, он совсем забыл, что присутствует на ладье уркагана не в качестве почетного гостя.

— Бери мопед, — сказал Шпыр, — и езжай на правый фланг к генералу Хролу. Сейчас начнется атака, а мобильники уже барахлят. Если отрубят связь, будешь дублировать. Держись возле генерала. Все понял?

— Так точно! — опять браво проорал Грым.

Маршал повернулся и пошел назад к креслу кагана.

Грым отцепил от борта один из мопедов, дотащил его до кормы и по приставленным доскам скатил на землю.

Пока все было просто.

Правый фланг был по правому борту — там, где люди возвели кусок крепостной стены. Грым перекинул ногу через седло, нажал красную кнопку на руле, и мотор мопеда заработал.

Добравшись до серой колеблющейся стены, Грым проехал в один из пустых промежутков и увидел впереди другую стену из таких же серых полотнищ. В ней тоже были оставлены пустоты — но таким образом, чтобы сквозь них нельзя было увидеть ничего, кроме следующей серой

преграды. Впрочем, пока ориентироваться в этих коридорах было просто. Выехав через несколько минут на открытое пространство, Грым увидел множество солдат, какие-то длинные зачехленные повозки и стену.

Отряд генерала Хрола был перед ним.

Крепостная стена выглядела немного нелепо. Это, скорее, был очень узкий дом без окон, украшенный зубцами на крыше. Для стены он был слишком толст, для здания слишком тонок. Видимо, это был «фрагмент фортификации» или «элемент замка», если Грым правильно помнил из военного дела названия «локаций доблести» — мест, где орки показывают врагу свою ярость.

В поле перед стеной сновало множество разноцветных фигурок. Их перемещения казались полностью хаотичными, и Грым вдруг стало непонятно, как вообще можно управлять всем этим народом.

Хрол в окружении своих офицеров стоял на свежесколоченном дощатом помосте — перед большим барабаном, на котором была расстелена карта местности. Грым сначала не понял, почему генерал стоит к солдатам спиной, а потом догадался, что так его занятый работой штаб идеально попадает в кадр вместе с фрагментом стены.

Затормозив у помоста, Грым поднял глаза — и точно, в небе висело не меньше десяти камер. Он сообразил, что снова попадет на крупный план и, прежде чем подняться по ступеням, достал выданную вместе с формой расческу и причесался.

Хрол хмуро выслушал его доклад.

— Хорошо, — сказал он, — ожидай приказа.

Мобильная связь пока работала, и про Грыма забыли.

То, что казалось бестолковой толпой, когда Грым проезжал мимо на мопед, с высоты помоста сразу разделилось на черные и белые отряды, вовлеченные в сложное движение.

Черные фигурки были штурмовиками — они заканчивали строиться в боевой порядок, выравнивая линию щитов, над которыми были выставлены тяжелые пики. Орки в матросках готовили за их спинами осадные лестницы, проверяя подъемную механику. Легковооруженные ретиарии пока что сидели на земле, бросив сети и трезубцы — но их уже поднимали для построения: небольшое подразделение забрело сюда по ошибке, и теперь командир получал выволочку. Место гладиаторов было на левом фланге. В бою у каждого рода войск была своя задача, и смешиваться не допускалось под страхом военного суда и церковного проклятия.

Хрол стал говорить по мобильной связи.

— Да! Технику расчехлили. Так точно. Начинаем.

Грым понял — пришел приказ на штурм.

Хрол повернулся к солдатам.

— Лестницы к бою!

Черная линия штурмовиков расступилась. Из оркских рядов, треща бензиновыми моторчиками, выехали две новейших осадных лестницы на колесном ходу — из тех, что показывали на прошлом параде. Солдаты в матросках подталкивали их со всех сторон, заставляя двигаться быстрее. Подкатив лестницы к стене, их подняли, приведя в действие канатно-гидравлический механизм. Высоты как раз хватило, чтобы дотянуться до зубчатого края — видно, информация от «наших друзей наверху», на которую перед каждой войной смутно намекала пропаганда, в этот раз оказалась точной.

Но ни одного защитника людской твердыни наверху не появилось.

Генерал Хрол нахмурился. Происходило что-то непонятное — по всем правилам военного искусства это был самый грозный момент боя, когда гибло больше всего солдат. А враг не только дал поднять осадные лестницы, но, похоже, не возражал и против того, чтобы орки забрались на самый вверх фортификационного элемента, одержав таким образом победу.

Штурмовики ждали приказа, выставив вперед пики, и долгое молчание командира с каждым мигом казалось все тревожней. Наконец Хрол решился.

— В атаку!

Боевой порядок орков пришел в движение. Воины с пращами выбежали на пустое пространство перед стеной и растянулись в длинную цепь, готовясь сбить любого врага градом камней. Одновременно из-за первой линии выдвинулись штурмовики-верхолазы, похожие на черных черепах из-за укрепленных на спине щитов. Они быстро полезли по лестницам вверх.

Тут у Грыма возникло чувство ирреальности происходящего. Оно становилось все сильнее, пока до него не дошло, что он слышит странный звук, с каждой секундой делающийся все громче.

Звук был похож на жужжание точильного колеса — только огромного, размером с целый дом, которое из-за своей тяжести раскручивается очень долго. Грым понял, что наждачный звук слышат и другие — какая-то волна неуверенности прошла по оркским рядам. А потом Грым заметил, что штурмовики уже не лезут на стену, а бегут от нее прочь, а сама стена трясется, и даже те воины, которые уже забрались высоко на лестницы, бросают свое оружие и прыгают вниз.

По стене прошла зубчатая трещина — словно в ней отпечаталась

молния. За мгновение трещина стала шире, вниз полетела штукатурка и обломки, и обнажилась засасывающая черная пустота. Грыму вспомнился Лик Маниту из «Слова о Слове», но времени на благочестивые раздумья не было.

В стену ударило изнутри, и от нее отвалился большой гипсовый кусок. Там была не просто пустота. В просвете блестело и шевелилось что-то урчащее.

— Отвага! Отвага! — закричал Хрол. — Держать линию, бойцы! Пращники, огонь!

Пращники закрутили над головами свои кожаные пропеллеры, и в расширяющийся просвет полетели камни. Грым услышал несколько звонких ударов, а потом обвалился сразу большой кусок стены в самом центре, и стало видно, что прячется внутри.

Это был огромный железный воин, немного похожий на тех закованных в броню рыцарей, которых снимали в снафах эпохи Просра Ликвида.

У него было бочкообразное тело, короткие толстые ноги с большими пирамидальными ступнями и цилиндрические шарниры вместо коленей. Его лицо было сплюснуто в какую-то древнюю коническую масленку, острым концом повернутую вперед. Отверстия в ее верхней части были похожи на глаза, а выступы чуть выше напоминали поднятые над переносьем брови. Из-за этого у железного лица появлялось подобие человеческого выражения — эдакое грустное любопытство. Одна рука воина кончалась стальной палицей, другая — решетчатым раструбом промышленного вида.

Железный воин поднял лицо вверх и издал долгий звук, похожий на зов рожка — заунывный и такой громкий, что у Грыма заложило уши. Потом он легко, как бы играя, сбил своей палицей торчащую перед ним лестницу и шагнул вперед.

Обвалилась еще часть стены, и Грым заметил второго железного великана, стоящего внутри. И там, кажется, был еще один. Во всяком случае, мог поместиться.

— Вестовой Грым! Очнись, дурила!

Грым почувствовал, что кто-то трясет его за плечо и с усилием оторвал взгляд от железного воина. Перед ним стоял генерал Хрол.

— Езжай к кагану, — приказал генерал, — вели выслать сюда метателей огня! Срочно! Скажи, орки умирают смеясь! Славная битва!

Грым понял, что генералу страшно ничуть не меньше, чем ему самому.

— Выполняю! — заорал он и кинулся к своему мопеду.

Мотор не заводился почти минуту, и Грым, тыкая пальцем в красную кнопку на руле, заворожено смотрел, как развивается битва.

Железный воин приблизился к оркским рядам. Вокруг него заматались штурмовики, стараясь попасть остриями своих зазубренных пик в его коленные сочленения.

«Умно, — подумал Грым, — очень умно!»

Тут железный воин повел своим решетчатым раструбом. Раздался знакомый наждачный звук, и какая-то невидимая сила мгновенно расплющила нескольких орков — их словно выдуло из доспехов, превратив в красный пар, а сами доспехи стали похожи на выглаженную огромным утюгом одежду, плоско дымящуюся на земле. Из раструба не вылетало ни дыма, ни огня — но воздух вокруг него дрожал, как бывает в жару над разогретой дорогой.

Железный воин взмахнул своей палицей и обрушил ее на толпу орков. Потом еще раз и еще. Бил он медленно, и орки успевали уворачиваться, но Грым сообразил, что воин и не стремится убить как можно больше народу — он работает для роящихся вокруг телекамер. Выглядели его движения и правда грозно.

Потом Грым заметил, что из развалин стены выбирается второй железный воин. Но тут мопед наконец завелся, и Грым помчался к центру поля.

После нескольких неприятных минут в лабиринте, на полотнищах которого уже зажглась реклама каких-то гаджетов, он наконец увидел кокосовые пальмы Кургана Предков. Вокруг волновалось темное море оркского резерва.

Грым помчался к ладье кагана.

Рвана Дюрекса на мостике уже не было. По оркскому обычаю он спустился в трюм, где вождю во время битвы полагалось пить волю и петь доблестные песни — чтобы духи древних героев спустились с полян Алкаллы помочь сражающимся. В Алкаллу никто из оркской верхушки не верил — зато многие верили в конспирологию и старались держаться подальше от кокосовых пальм. Грым даже показалось, что он слышит низкий голос властителя, выводящий нечто вроде:

— Эх-да надвое сказала дура старая ему...

Но уверен он не был — вокруг слишком шумели.

Боем командовал маршал Шпыр. Выслушав доклад, он хмуро отдал приказ ординарцам, и вскоре Грым увидел, как большой отряд орков с пятью бочками мазута выдвинулся на правый фланг. Когда они исчезли за свисающим с неба полотном с рекламой моторенвагена, Грым задумался,

что ему делать. По уставу полагалось выполнять приказ командира, к которому он послан прошлым приказом. Это и был маршал Шпыр.

Но маршал про него забыл — и теперь, наверно, следовало ждать, пока вспомнит.

Маршалу было не до Грыма. К нему то и дело прибывали донесения с остальных участков фронта, скрытых за летающими стенами. Грым старался держаться на виду, дожидаясь, пока маршал обратит на него внимание — и вскоре из доносившихся до него обрывков разговора у него сложилось общее представление о ходе битвы.

На левом фланге — там, где были зеленые холмики-контейнеры, — на оркских дикарей напали огромные ящеры, которые рвали их зубами и когтями. Двух или трех ящеров удалось повалить, но, когда им начали резать шеи кремневыми рубилами, оказалось, что управляющие жилы слишком хорошо защищены. Туда перебросили ретиариев, но ящеры без труда рвали сети своими рогами. Солдаты просили крепких веревок, из которых можно делать петли, и больше заостренных бревен. Шпыр распорядился срочно послать за этим в Славу, но приказ повез другой вестовой.

Потом дела на левом фланге пошли совсем плохо — люди спустили с неба черный занавес, чтобы отогнать ретиариев от того места, где шел бой с ящерами, а на ретиариев пустили в атаку мамонтов. Звери топтали орков ногами и давили своими бивнями — потери быстро росли. Мамонты были хорошо защищены — трезубцы почти нигде не протыкали их шкур, и боялись они только ударов в живот и под колени. Отдельно держался особенно большой мамонт, на котором сидели воины в железных латах, с арбалетами и копьями. Разведка считала, что это штабная машина, и предлагала сосредоточить силы на ней.

Шпыр распорядился направить против большого мамонта роту вооруженных пиками штурмовиков с правого фланга, велел перед атакой взять у ретиариев сети и раздеться до подштанников. Потом сообщили, что мамонты боятся огня — и Шпыр послал на левый фланг второй отряд огнеметателей.

Затем прибыл новый вестовой с правого фланга. Генерал Хрол рапортовал о первой большой победе. Одного железного воина удалось повалить — на него накинули веревки, и он поскользнулся в крови. Погибло много штурмовиков — зато, падая, он рассек своим лучом грудь второму железному воину, который шел ему на помощь. Второй железный воин выпустил из груди вихрь искр и замер. Но первый, хоть и свалился, все еще мог стрелять, и теперь орки залегли вокруг, чтобы не попасть под

луч. Третий воин пока неподвижно стоял в стене, и к нему боялись приближаться.

Хрол предлагал прорыть траншею и взорвать под упавшим воином бомбу из газовых баллонов (Грым даже не знал, что у орков есть такое серьезное оружие). Но Шпыр велел беречь обе бомбы для главного направления, а в подкопе под железным воином приказал развести вонючий костер из мазута с паклей и жиром, чтобы пережечь воину провода и прокоптить кремниевые мозги.

Потом стали приходить вести с центрального направления, где начиналась главная бойня. Они были одна другой хуже. Люди разбили поток оркской атаки на несколько частей и уничтожали их по-отдельности. Этой тактике невозможно было сопротивляться. Центральный фронт оказался очень широким, и с самого начала люди поделили его летающими стенами на отдельные маленькие участки. На каждом с орками сражалась особая армия. К счастью, одетые по-разному отряды неприятеля не приходили друг другу на помощь.

Эльфы и гномы были знакомы оркам не первый век — и бой с их отрядами шел по давно усвоенным принципам. Против эльфов работали пращники и метатели копий, прячущиеся от стрел за осадными щитами, а гномов закидывали из легких катапульти заранее заготовленными дохлыми кротами. Предполагалось, что прямое попадание сразу отключает гнома, поскольку их программные алгоритмы считают крота дурным знаком и крайней скверной.

Многих врагов орки уже встречали раньше. Например, закованных в сталь конных рыцарей (их было мало) и вампиров в черных плащах, возникающих на несколько секунд из-под земли для смертельного укуса в горло. Как с ними бороться, было примерно известно. Против рыцарей помогали упертые в землю пики — на них лошади напарывались брюхом. Вампиров же следовало бить огнем и осиною — место, где они собирались выскочить из-под земли, можно было заранее опознать по зависшим вверх телекамерам.

Некоторые из врагов были незнакомыми, и от них орки несли самый тяжелый урон. Особенно страшен оказался вождь косоглазого воинства — некий седой старец, висящий в воздухе в окружении пылающих триграмм. Он играл на гуслях, посылая на орков какие-то цветные волны, от которых валилась шеренга за шеренгой, а косоглазое воинство за его спиной радостно кидало в воздух конические соломенные шляпы.

Было много нового и на том участке, где против орков бились человеческие герои. Старые солдаты говорили, что из прежних остался

только Бэтман и люди Икс. Других никто не знал. Сражались они непонятно и безжалостно — в этом месте орки уже не наступали, а всего лишь старались удержать фронт.

Один за другим уходили из жизни лучшие воины. Жрана задавил боевой мамонт, когда он пытался подрубить ему ножные жилы своими сечками. Дулю застрелили мушкетеры в плащах с крестами, когда он бросился на штурм их передвижного бастиончика. Дрына победил рыцарь с желтым щитом, а Грыж погиб, атакуя каре солдат в красных мундирах, которое выкатилось против орков на центральном фронте. В битве с меняющим цвет прыгуном пал геройской смертью Бамболео. Алехандро же носился по полю в своих черных трусах, махая фигурной пикой, но смерть была к нему равнодушна.

На левом фланге звери продолжали теснить орков несмотря на посланную огненную поддержку, и тогда Хрол послал туда часть резерва, а за ним — заградотряд из переодетых ретиариями ганджуберсерков, с приказом угробить всех орков до последнего, если те станут отступать, и погибнуть самим. Грым не сомневался, что первую часть приказа говнокуры выполнят. Как заградотряд они не подводили никогда.

Потом стали приходить совсем черные вести с центрального участка. Связные доносили — там, где орки начинают брать верх, людям на помощь приходят камеры, стреляя пулями с особой затычкой, чтобы рану не было видно. И победа достается людям не тогда, когда их богатырь сильнее оркского, а тогда, когда камера решает, что наступил подходящий момент.

В доказательство вестовые привезли бородатую голову штурмовика — на лбу у нее была нашлапка точно в цвет кожи, которой Грым даже не заметил бы. Вестовой потянул за нее пальцами, и под затычкой оказалась дырка в голове, откуда потекла кровь. Доносили, что почти все оркские богатыри побеждены бесчестно, и особенно часто это происходит вокруг Бэтмана, который совсем стар и дряхл и дерется плохо, только для виду.

Тогда Шпыр отдал приказ применить против Бэтмана первую газовую бомбу. Ее тут же выкатили из обоза.

Это была тачка с четырьмя синими баллонами и спусковым механизмом из трофейного авиаснаряда под ударной скобой. Безымянный оркский герой (почти такой же мальчишка как Грым, выбранный, скорей всего, из-за маленьких размеров и веса) сел на узкий стул за баллонами, взял в руку спусковой шнур, грустно улыбнулся, и взвод смертников покатила тачку к границе видимости. За ними пошло несколько безоружных орков, играющих на свирелях, и у Грыма даже дух захватило от гордости за своих.

Затем пришла хорошая новость. На правом фланге включился третий железный воин — но его натиск удалось остановить, потому что рядовой по имени Блут случайно сделал важное открытие: если повернуться к летучим камерам, снять штаны и показывать им поганое место, бой на время затихает, боевые машины отходят назад, а камеры начинают летать вокруг, подыскивая такой угол обзора, чтобы оркский срам не попадал в кадр. Когда они зависнут на новом месте, надо опять повернуться к ним срамом. Таким методом удалось свести на нет несколько атак.

Маршал Шпыр просиял — похоже, это открытие могло серьезно изменить ход боя.

— Всем вестовым! — закричал он. — Живо к своим частям, скажите, чтоб сняли штаны и махали срамом, когда увидят камеру! Победа будет за нами!

Грым понял, что приказ касается и его — не в том смысле, чтобы махать срамом, а чтобы возвращаться к своей части. Он испытал страх — и одновременно облегчение: дальше слоняться в тылу было уже стыдно.

Мопед опять долго не хотел заводиться. Как только он заработал, Грым помчался в дымы и туман. Пару раз повернув между свисающими с неба шторами, он понял, что потерял ориентацию. Тогда он поехал медленно.

Из смрадной мглы впереди появлялись окровавленные орки, бредущие прочь от передовой — на некоторых было страшно глядеть. Затем попался отряд артиллеристов, перетаскивающих огнеметную баллисту, и стало ясно, что фронт уже рядом. А потом впереди ударил страшной силы взрыв.

Почти сразу до Грыма долетели восторженные крики орков:

— Бэтмана убили! Бэтмана!

«Это центральный участок, — сообразил Грым, — Бэтман был в центре. Значит, не туда качу...»

Затормозив, он огляделся по сторонам.

Теперь он уже окончательно перестал понимать, откуда он приехал и куда едет. Повсюду валялись оркские трупы, над землей плыли полосы дыма, в глаза лезла копоть, и со всех сторон, почти касаясь земли, медленно перемещались летающие стены, ежеминутно меняя то пространство, где он пытался найти свой путь.

Некоторые из летающих стен были черны как ночь, а с других улыбались гигантские, ослепительно радостные люди, протягивая с высоты напитки, кремы и электронные гаджеты. Реклама была рассчитана на телезрителей и тех орков, которые видели длинные полотнища из-за стен, не видя самой битвы. Но все это колдовское человеческое счастье совершенно не предназначалось для него, вестового на барахлящем мопеде.

Для него судьба заготовила другое — геройскую смерть за Уркаганатум, Дух и Волю. И Грым впервые в жизни почувствовал, что вполне к ней готов — по-настоящему и всерьез.

«Ну, с этим проблем не будет», — подумал он, разворачивая мопед практически наугад.

Не успел он проехать и сотни метров, как орки за его спиной взорвали вторую газовую бомбу — и, судя по радостным крикам, опять убили кого-то из человеческих героев.

Грым несколько раз свернул в открывающиеся перед ним проходы, а потом заметил, что пространство вокруг начало быстро меняться — летающие стены поплыли вверх, сворачиваясь в парящие над землей рулоны. Теперь ориентироваться стало проще. Грым увидел в просветах дыма далекую насыпь в зоне центрального фронта.

Оказалось, он опять едет не туда — правый фланг был гораздо правее, чем он считал. Но Грым вдруг сообразил, что совершенно незачем везти туда приказ командующего насчет телекамер и срамного места, поскольку этот метод придумали именно бойцы правого фланга. Грым затормозил, и мопед опять заглох. Он растерянно огляделся.

Рядом быстро сворачивалась летающая стена. Грым увидел за ней экстерриториальную площадку, огороженную полосатой черно-желтой лентой. По уставу за полосатую ленту запрещалось заходить — но смотреть за нее, насколько Грым помнил, не возбранялось.

Там лежало не меньше десяти зарубленных ретиариев, над которыми возвышались какие-то странные фигуры. Сначала Грым принял их за медицинский обоз. А потом дым снесло в сторону, и он понял, что это вообще не орки.

Перед ним были две полуголые женщины и воин.

Женщины были весьма средних лет — но неплохо сохранившиеся и все еще стройные. Они драпировались в тонкие разноцветные простыни, которые соскальзывали с их разгоряченных и перепачканных кровью тел. Если бы эти ткани не были такими изысканными, а сами женщины — такими холеными, Грым решил бы, что они просто прикрывают срам, как оркские бабы возле купальни.

Воин был коренаст и мускулист. Его лицо было спрятано под непропорционально большим бронзовым шлемом со множеством выступающих углов, а со спины свисал красный плащ, скрепленный на плече пряжкой. В руке он держал короткий окровавленный меч. Переднюю часть его тела не прикрывало ничто — и было заметно, что он до сих пор взволнован своими подругами. Но те уже исчезли в треугольной дыре,

открывшейся прямо в воздухе.

Воин повернулся к Грыму, несколько секунд глядел на него сквозь прорези в шлеме, потом вбросил меч в ножны и шагнул в ту же дыру. Сразу поднялась лестница-люк, и дыра растворилась в воздухе. Грыму померещилось, будто перед ним по земле прошла тень от небольшого облака, и через секунду никаких следов троицы не осталось. Теперь впереди было только поле с мертвыми телами и дрожащая полосатая лента.

Грым отвернулся.

Летающие стены почти везде были уже убраны. Дым понемногу сносило ветром. Но ни врагов, ни орков не было видно, различимы были только обгоревшие остовы баллист и бесчисленные оркские трупы, в некоторых местах лежащие друг на дружке. Потом Грым заметил в поле редкую цепь отступающих штурмовиков — все, что осталось от оркской силы на главном участке.

Он посмотрел в сторону Кургана Предков. Вдали темнел еле заметный контур ладьи Уркагана. Больше ничего видно пока не было: сам курган и вся средняя часть Оркской Славы были затянуты дымом от горящего мазута.

А потом камеры дали ракетный залп.

Грым никогда не видел этого раньше. С темных точек в небе слетели тонкие огненные иглы, и, оставляя за собой белый след, понеслись к отступающим оркам. Среди них загрохотали разрывы.

Грым бросил мопед и побежал к Кургану Предков.

Ладья уркагана постепенно приближалась — и к ней, как к магниту, со всех сторон спешили уцелевшие орки. Но потом ладья вдруг распухла и превратилась в клуб огня и черного дыма. Много стоявших вокруг нее солдат упало на землю.

После этого Грым бежал уже не спеша, и вскоре его обогнало несколько орков из отходящей цепи. А затем мягкая теплая сила подняла его в небо, пронесла над полем и уложила в траву — так аккуратно, что он не почувствовал никакой боли.

Лежать в траве было хорошо.

Он почему-то не мог двигаться, но видел все вокруг, и на душе у него было спокойно и даже весело. Немного саднила щека, но это не мешало. Долгое время ничего интересного в поле зрения не происходило — только качался под ветром маленький синий цветок, поднимавшийся из травы перед его лицом, и еще растекался черный ручеек из перебитой артерии упавшего неподалеку солдата.

Потом Грым увидел бегущего по полю штурмовика-гвардейца. То, что

это гвардеец, было ясно из агитштандарта для психической атаки, укрепленного за его спиной — на черном прямоугольнике белела надпись:

Я жадно выедаю кишки
У малыша и у малышки!

Если бы Грым мог, он бы засмеялся.

Гвардеец был таким худым, что с первого взгляда делалось ясно — он всю жизнь жрал одни отруби с соломой, в лучшем случае картофельные очистки. Вряд ли у него имелся гастрономический опыт, о котором заявлял штандарт. По виду это был типичный оркский лузер — с намертво впечатавшимся в рожу выражением смутной обиды.

Гвардеец бежал, пошатываясь и морщась, без всякого интереса к происходящему — видно, совсем уже устал от жизненной бури. И вселенная пришла ему на помощь.

В спину ему вонзилась сверкающая металлическая звезда. Потом еще одна. Гвардеец споткнулся и упал. Тогда Грым увидел двух зеленых черепашек-ниндзя — точь-в-точь как на человеческих конфетах, которые ел однажды в детстве. Черепашек сопровождала летящая низко над землей телекамера.

Первая черепашка подскочила к гвардейцу и воткнула ему в спину сверкающий косой меч. Другая встала в воинственную позу, и оставалась в ней, задрвав меч над головой, пока телекамера не облетела черепашек со всех сторон. Потом они побежали дальше, и камера улетела следом.

Долгое время ничего не происходило, и Грым смотрел на цветок. Затем ветер подтащил к его лицу какую-то мятую бумажку, густо заляпанную красным.

Грым понял, что это один из документов на верхне-среднесибирском, который воины брали с собой в бой, чтобы окровавить по новому закону — такие валялись в траве повсюду. Бумажка лежала совсем близко, и можно было даже прочесть печатный текст:

Згідно з подстанввхен враз мати невиконданд всрік цей пункт рішення нах мати наданданд земільно ділянку підлягає скасуванданд на підставі ще право власнощерь виникай з моменту мав мати заночданд реєстрацен в Єдиношер Уркскі реєстриш прав в нерухомишер майно та угодь з нім. Ніяких дій нах мав оформландан правовстановлющерь документа Гріг інн 13672 73897114 не справл, дозволу нах

будівництво індивідуальнишерь будинко він також не отримл (проектъ будинко не є мати дозволданд будівництво). Таким чин Григ інн 1367273897114 не є правовласник ні земельнишерь ділянко, ні будівель, на відміну від еввнерь папахен – Хруп інн 13299 73865192...

Дальше текст был густо залит кровью.

«Чего ж ошибок-то столько, — грустно подумал Грым, когда бумажку понесло дальше, — сами, что ли, на сибирский переводили? Они на переводном столе экономят, а мы тут кровь проливаем... Или это в переводных столах сейчас так работают? Довели страну, гады...»

Он еще несколько минут смотрел в поле, а потом то ли уснул, то ли потерял сознание.

Когда он пришел в себя, была уже ночь. У него страшно болела голова. Но зато он почувствовал, что может двигаться. Встав на колени, он огляделся.

Над Оркской Славой были видны редкие фары телекамер, похожие на порхающих в ночи светляков. Далекие Ворота Победы были скрыты Курганом Предков, но за его треугольным контуром мелькали острые лучи прожекторов и вспышки красных фаеров. Над полем разносился женский голос, усиленный мощными репродукторами:

— Воин-урк! Ты устал и изранен! Иди на свет, и тебе помогут вернуться домой! Победа! Победа!

Заметив вдали трейлеры, поднимающиеся вверх (видны были только красные и зеленые пятна габаритных огней), Грым понял, что это правда. Люди уходили с Оркской Славы. Значит, урки опять отстояли свою горькую, пропитанную кровью землю — в какой уже раз.

Кое-как поднявшись на ноги, он попробовал сделать шаг. Потом другой. Это получилось — кости, кажется, были целы. Тогда он поплелся в сторону Ворот Победы, обходя трупы и пригибаясь, когда рядом проносилась очередная телекамера, бьющая в глаза бело-зеленым светом. Они больше не стреляли.

В ночной тишине было слышно, что телекамеры жужжат — как большие, злые и очень хитрые осы.



Когда я заметил, что меня всерьез раздражают ее просьбы постоянно следить за этим оркским мальчишкой, я стал анализировать свои чувства.

Иногда у моей злости была объективная причина. Например, пока я увеличивал клочок бумаги перед лицом контуженного Грыма, меня чуть не зацепила заходящая для ракетной атаки «Sky Pravda».

Но я мог прийти в ярость и без особого повода.

Ясно было одно — если ей раз за разом удастся приводить меня в бешенство, она справляется со своей работой на отлично.

Правда, понял я это только после беседы со специалистом по симуляционной психологии сур. Если вы заплатили за свою спутницу столько, сколько я, вы имеете право получать консультации бесплатно и спрашивать можете о чем угодно. С вами даже проводят что-то вроде сеанса психоанализа.

Консультант-суролог с тщательнейше ухоженной бородкой и бесконечно нежным взглядом выглядел настоящим вуманайзером, разбившим на своем веку не одно резиновое сердце. Впрочем, так же мог выглядеть и ударный дискурсмонгер из спецподразделения «Le Coq d'Esprit».

Мне неловко было сразу излагать свою проблему, и я подумал, что будет лучше, если мы дойдем до нее постепенно. Вначале следовало немного поболтать на общие темы.

— Скажите, — спросил я, — она все-таки думает или нет?

Он засмеялся.

— Если бы вы знали, сколько раз мне задавали этот вопрос...

— Она разумна?

— Она... Это юридически скользкая тема. Отвечу так. Когда-то ученые хотели заставить машину думать на основе правил математики и логики. И поняли, что это невозможно. В подобном смысле — нет, не разумна. Но учтите, что и сам человек думает вовсе не с помощью математических алгоритмов. А логика, если честно, нужна только нашим военным философам для деморализации противника в условиях городского боя. Люди принимают решения на основе прецедентов и опыта. Человек — это просто инструмент приложения культуры к реальности. Сура, в сущности, тоже.

Нечто подобное я уже слышал. Беда в том, что после таких объяснений кажется, будто ты все понял. На самом деле они просто закрывают непрозрачной крышкой ту дырку в уме, где прежде зиял вопрос.

— Что значит «приложение культуры к реальности»? — спросил я.

— Непосредственное восприятие превращается в ментальную

репрезентацию. Затем ум анализирует все имеющиеся в культуре прецеденты, связанные с инвариантами этой репрезентации и подбирает наиболее подходящую модель поведения.

— А как он выбирает?

— Тоже на основе имеющегося опыта. Только опыта выбора. Между ментальными репрезентациями происходят взаимодействия по правилам, определяемым прецедентом таких взаимодействий.

— А что такое «ментальная репрезентация»?

Суролог терпеливо улыбнулся.

— Это и есть ближайший найденный прецедент. Сура воспроизводит этот механизм, с той разницей, что в ней нет наблюдателя репрезентаций, а только набор загруженных в память и конкурирующих между собой поведенческих паттернов, выбор между которыми зависит от интенсивности возбуждения во временно возникающих электромагнитных контурах. Самая интенсивная из зон возбуждения и становится на время ее техническим «я»...

Я подумал, что последняя фраза вполне могла бы относиться и ко мне, но вслух ничего не сказал. Суролог продолжал:

— Сура — это очень большой и сложно организованный банк данных, в который загружены не просто прецеденты реакций, но и прецеденты поиска прецедентов и так далее... Программные алгоритмы выполняют здесь лишь вспомогательную функцию. Но они в ней тоже есть. Это, в частности, ее настройки.

— Как же она все-таки думает, когда говорит со мной? — спросил я. — Если шаг за шагом? Я хочу понять механизм.

— Она не думает. Повторяю, у нее внутри нет того, кто думает. Но если вы хотите понять механизм... Знаете, когда-то люди изобрели опыт под названием «Китайская Комната». Слышали?

— Нет, — сказал я.

— В запертой комнате сидит человек, не знающий китайского языка. В окошко ему дают записки с вопросами на китайском. Для него это просто бумажки с нарисованными закорючками, смысла которых он не понимает. Но у него в комнате полно разных книг с правилами, в которых подробно описано, как и в какой последовательности отвечать одними закорючками на другие. И он, действуя по этим правилам, выдает в другое окошко ответы на китайском, которые создают у всех стоящих снаружи полную уверенность в том, что он знает китайский язык. Хотя сам он совершенно не понимает, о чем ему задают вопросы и в чем смысл его ответов. Представили?

— Ну, представил.

— Сура — это такая же китайская комната, только автоматизированная. Вместо человека со справочниками в ней сканер, который считывает иероглифы, и огромная база референций и правил, позволяющих подбирать иероглифы для ответа.

— Много же там будет правил, — пробормотал я.

— Немало, — согласился консультант. — Она переводит каждую вашу фразу на несколько символических языков, разделяя ее на множество слоев и уровней. Затем каждый слой соотносится со своей базой опыта. После этого происходит обратный синтез инвариантов, и мы получаем комплексную реакцию, имеющую смысловой, стилистический и эмоциональный аспекты, которые взаимно дополняют друг друга, создавая ощущение уникального, живого и адресованного лично вам ответа. Это, конечно, симуляция. Но точно так же дети имитируют своих родителей и сверстников — часто до самой старости. Общаясь с сурой, вы имеете дело с прошлым человечества.

— А общаясь с человеком?

Суролог пожал плечами.

— То же касается и людей. Разница чисто гигиеническая. Контактная с человеком, вы роетесь в ментальном перегное, кишасщем ядовитыми червями, а сура как бы берет вас в музей... Ее багаж гораздо рафинированнее и полнее — если хотите, это вечная женщина, Ева, архетип... А что именно в ее поведении вас беспокоит?

Пора было переходить к делу. Я принял вид пресыщенного скучающего бонвивана и спросил:

— Скажите, а зачем вообще существует существо? Что кроется за ним как за биологическим механизмом?

Консультант совсем не удивился. Видимо, он хорошо представлял возникающие у клиентов трудности.

— Вы знаете, Дамилола, это такая непростая тема, что говорить о ней можно двумя способами. Либо корректно, но непонятно и сложно — и мы немедленно запутаемся в психоаналитических терминах. Либо некорректно, но понятно и просто — и тогда мы утонем в цинизме самого низкопробного пошиба. Ваш выбор?

Я объяснил, что я боевой летчик CINEWS INC, поэтому утонуть в цинизме мне не грозит.

— Хорошо, — сказал консультант, — тогда зажмурьтесь.

Он провел себя ладонью по лицу, словно сдирая с него все человеческое.

— Уже около ста сорока лет у выпускаемых нами сур высшего класса есть регулировка «bitchiness», — начал он. — Как и все остальное в их симуляционной психологии, это имитация определенных женских черт. Вы спрашиваете, зачем природа изобрела существо. Но знаете ли вы, что это такое?

Я затруднился с ответом. Но он, похоже, на него и не рассчитывал.

— Сформулировать действительно непросто. В первом приближении можно сказать так: это иррациональное вроде бы поведение женщины, как правило, молодой и красивой — ибо некрасивые суки подвергаются принудительному переформатированию на очень ранней стадии жизни, — которое вызывает в мужчине желание...

— Взять ее за уши и долго бить затылком о стену, — перебил я, — Или лучше об пол. Он тверже.

— Возможно, — улыбнулся консультант. — Согласитесь, что самое главное в таком поведении — его оскорбительная иррациональность. Женщине ничего не стоит вести себя по-человечески там, где она создает мужчине максимум неприятных переживаний. Больше того, это чаще всего не требует от нее усилий — наоборот, серьезные усилия нужно прилагать, чтобы быть сукой... И подобное, конечно, существует не только в нашей культуре. Вы, наверно, не знаете, что у орков есть книга «Дао Песдын» для гадания перед боем...

— Отчего же, — сказал я, — отлично знаю. Даже видел само гадание.

— Там есть один отрывок, который так и называется — «о женском сердце». Хотите, я вам зачитаю?

— Нет, — ответил я, — спасибо. У меня аллергия на оркскую мудрость.

Консультант не обиделся.

— Ничего страшного, — сказал он. — Просто там со звериной прямоотой... Впрочем, суть проста. Природа выложила для нас цветами дорогу к мигу соития, но сразу вслед за ним цветы вянут и гормонально обусловленные искажения нашего восприятия исчезают. Природа тоже по-своему сука — она крайне экономна и не угощает нас психотропами без крайней нужды. Поэтому немедленно после акта любви мы несколько секунд ясным взглядом видим все безумие происходящего — и понимаем, что зачем-то ввязались в мутную историю с неясным финалом, обещающую нам много денежных трат и душевных мучений, единственной наградой за которые является вот эта только что кончившаяся судорога, даже не имеющая никакого отношения лично к нам, а связанная исключительно с древним механизмом воспроизводства белковых тел... В

случае с сурой вашего класса вы не думаете о ждущих вас душевных терзаниях, а просто вспоминаете о взятом под нее кредите.

— Не бейте ниже пояса, — попросил я.

— Хорошо, — согласился консультант. — Вы должны, конечно, понимать самое важное — женщина как биологический и социальный агент мало заинтересована в том, чтобы вы долго смотрели на нее трезвым взглядом. Ваша сура, вы говорите, работает на максимальном сучестве. Что она обычно говорит непосредственно перед коитусом — и сразу после?

Я понял — надо быть откровенным, как с врачом.

— «Уйди, слюнявый урод, ты мне надоед», — ответил я, — Или, например, «у меня голова болит». Но это она перестала, потому что я смеялся. После коитуса часто отворачивается к стене, пихнув меня локтем в живот. Иногда выступают слезы. Возможна комбинация всех этих факторов.

— Отлично, — сказал консультант. — И что вы чувствуете?

— Злобу. Иногда отвращение к себе. Иногда — желание ее ударить.

— Эта злоба и отвращение охватывает вас сразу же?

— Немедленно, — ответил я.

— Это интенсивное чувство?

— Весьма, — сказал я. — Ни о чем другом уже думать не можешь.

— Сохраняется ли при этом посткоитальная трезвость взгляда?

Я понял, куда он клонит.

— Вы хотите сказать, что сура... То есть что женщина специально мутит воду...

— Именно. Чтобы поднятая муть сделала невидимыми те фундаментальные истины о ее роли в мужской судьбе, о которых мы говорили. Скрыть их помогают сильные психологические и эмоциональные перегрузки, которым она подвергает своего партнера, любыми способами стремясь лишить его ясности восприятия.

«Сучество» на самом деле — не дурная черта характера, а своего рода контрапункт к инстинкту размножения, выработанный человеческой культурой. Программное обеспечение суры всего лишь симулирует этот древний механизм.

— Ваши сомелье достигли здесь совершенства, — сказал я.

Консультант улыбнулся.

— Вы думаете, что делаете комплимент, но это правда, — ответил он. — Посткоитальный синдром, о котором вы говорили — далеко не все, с чем сталкивается клиент на максимальном сучестве. Я хотел бы предупредить вас еще об одном часто встречающемся здесь эффекте. Это

так называемый «символический соперник».

Я почувствовал, как у меня екнуло в груди. Вот оно, наконец-то мы говорим о главном.

— Стратегия работающей на максимальном сучестве суры может включать в себя попытку вызвать в вас реакцию ревности. С этой целью она начинает симулировать интерес к какому-нибудь другому мужчине, чаще всего молодому домочадцу, а в случае одиноко живущих пар — киногерою или теледиктору. Например, сура постоянно просит хозяина поставить ей снаф с участием выбранного актера или включить новостную программу. Тут ее поведение может, э-э-э, варьироваться. Иногда она превозносит достоинства символического соперника, иногда молчит, позволяя хозяину делать выводы лично. Этот прием действует на большинство мужчин самым разрушительным образом. Открою секрет — одна из главных причин, почему мы снимаем с гарантии работающих в этом режиме сур, заключается в том, что владельцы регулярно наносят им тяжелые механические повреждения, требующие дорогого стационарного ремонта. Компании просто не по карману оплачивать все это...

— А что делать, если вы постоянно становитесь жертвой такого приема?

— Иногда вы можете попробовать сбить программу. Но не делайте этого слишком часто.

— Сбить программу? — переспросил я. — Как?

— Когда вы чувствуете, что сура собирается попросить вас о свидании с символическим соперником, покажите, что вы знаете об этом, и испытываете раздражение.

— И тогда?

— Увидите, — улыбнулся консультант.

— Нет, — сказал я, — я хочу представлять, что произойдет у нее в голове. Или где там.

Консультант секунду думал.

— Вы касаетесь чувствительной области, граничащей с технологическими секретами, — сказал он. — Но, поскольку вы приобрели самую дорогую на рынке модель, я пойду вам навстречу. Не знаю только, каковы ваши познания в этой области... Впрочем, вы, как военный, вероятно, знакомы с принципом действия управляемого оружия?

Я кивнул.

— Вы имеете дело с ракетами, — продолжал консультант, — а мы использовали некоторые алгоритмы, применявшиеся в последних поколениях боевых противолодочных торпед. Это почти одно и то же, хотя

торпед уже несколько веков не делают. Это, как ни странно, оказалось одной из лучших имитационных моделей женского поведения. Знаете, как работает сбита с цели торпеда?

— Смутно, — ответил я.

— Когда программа преследования цели перестает действовать, торпеда ложится на спиральный курс и сканирует пространство до тех пор, пока не обследует определенную площадь. Если цель, удовлетворяющая параметрам поиска, не обнаружена, торпеда ложится на прямой курс, переходит в другую точку и повторяет спиральный поиск, и так — до тех пор, пока хватает энергии. Представили?

— Авиаракеты работают чуть по-другому, — сказал я, — но в целом близко. И что?

— Сура — и, не побоюсь сказать, женщина, — действует точно так же. За исключением того, что пространство, в котором она ложится на спиральный курс при сбое программы, является не физическим, а информационным. Хотя на светском рауте даже пространственные перемеще... Впрочем, неважно. Упрощенно говоря, при сбое программы срабатывает оператор «поиск случайной темы». Сура меняет предмет разговора, но только для того, чтобы заново нащупать почву под ногами. С этой целью она перебирает свой мозговой багаж, пока не находит подходящий информационный объект, который может предъявить собеседнику, чтобы, действуя с этой новой точки, постепенно вернуться к базовому алгоритму поиска прецедентов.

— Как выбирается эта новая точка?

— Параметры поиска в большой степени обусловлены ситуацией, поэтому выбор новой темы практически непредсказуем. Все как в жизни.

— А как в жизни? — спросил я с иронией.

Консультант улыбнулся.

— Если вы собьете торпеду с курса, она несколько раз хлопнет ресницами, а потом с очаровательной женской непоследовательностью попытается вернуть вас в состояние умственного ступора, где факт ее присутствия в вашей жизни опять не сможет получить трезвой оценки. В качестве мозгового парализатора могут использоваться все эмоции темного спектра — гнев, волнение, уязвленное самолюбие, сомнение в себе, — ну и, конечно, чувственное желание.

— Как-то уж совсем безрадостно звучит, — пробормотал я.

— Высшая радость, возможно, как раз в том, чтобы сдаться на милость этого потока, — сказал консультант сухо.

Я понял, что миг откровенности уже позади, и передо мной опять

сидит казенный представитель фирмы-продавца. Но я был благодарен и за этот проблеск искренности, столь редкий в наше время между людьми.

Отключившись от консультанта, я пошел в комнату счастья, ввел пароль и снял Каю с паузы (все это время она недвижно сидела на диване). Когда я вернулся, она хмуро посмотрела на меня — она терпеть не может, когда я ставлю ее на паузу. Я мысленно повторил полученную инструкцию по сбою программы, и, прежде чем она успела что-то мне сказать, выпалил:

— Ну давай, детка, давай. Попроси меня снова показать тебе этого оркского выродка. Этого желтоглазого унтерменша. Этого несовершеннолетнего ублюдка. Давай, проси. Я все для тебя сделаю, моя радость.

Кая несколько раз моргнула.

— А почему, собственно, унтерменша? — спросила она. — Ты ведь точно такой же унтерменш, дорогой. Вы одной крови, ты и Грым.

— Чего-чего? — спросил я недоверчиво.

— Вы оба русские. Ведь твоя фамилия «Карпов»?

Я повернулся, пошел в комнату счастья и снова поставил ее на паузу. А потом сел за маниту и погрузился в изыскания.

Выяснилось, что моя душечка права и нет.

Причем, как ни странно, она скорее права насчет меня, но вряд ли права насчет Грыма.

Да, Грым и все орки говорят по-верхнерусски. Ну и что? У нас тоже все знают этот язык, поскольку офшар много сотен лет висит над Сибирью. Но там, внизу, за последние несколько столетий было столько климатических переселений, освободительных войн, геноцидов, программ искусственного осеменения и прочих парадигматических сдвигов, что государственный язык у них теперь совсем другой, а сами они вообще не могут проследить никаких корней, даже если бы это разрешили им по закону (а им не разрешают — как говорят попы и пусора, «несть разнот в Сингулярном»).

Да какая там национальность. У орков и фамилий давно нет. У них есть только Индивидуальный Нестираемый Номер, который им ставят на правую руку — он им заменяет фамилию и все остальное. Полное имя Грыма, например — Грым инн 1350500148410, а Хлои — Хлоя инн 1359847660 122. И кто они на самом деле по национальности, знает только Маниту.

А моя фамилия действительно «Карпов». Она русская, по названию рыбы (боевого пилота среди рыб, хочется мне добавить: карп перемещается на бреющем у дна и поедает все, что попадет в прицел). Мои предки,

возможно, действительно были одной крови с предками Грыма. Но с тех пор утекло много-много воды и всего остального, и сегодня трудно сказать, есть ли у нас наверху национальности или нет.

В прежнем смысле — уж точно нет.

Скорее, есть некоторые профессионально-цеховые сообщества, объединенные дошедшим из древности общим ритуалом. Выбирая себе профессию, вы как бы выбираете и тень осеняющей ее национальности, вступая в определенный клуб.

Скажем, «немцы» — это лучшие механики и технологи. Они придумывают и строят дорогушие моторенвагены-говноезды для богатой оркской бюрократии, варят сорок сортов пива, кричат «Хох!» и летают к оркским проституткам в Желтую Зону. Там же расположены их сборочные линии. Сур они не любят. У них даже поговорка есть: «резиновая женщина — первый шаг к безалкогольному пиву» (так, кажется, сказал какой-то северный мудрец). Но это вовсе не значит, что они приземленные тупые мещане. «Немцы» в душе романтики, всегда втайне сохраняют верность идеалам и в конце жизни обожают принимать цианид под Вагнера. Говорят, именно так затопили офшар Еврайха после того, как мировой спрос на моторенвагены упал почти до нуля.

«Японцы» рисуют силуэтное, теневое, занавесочное и прочее 2D-япорно, а так же дерп-хентай — все то, что формально не попадает под закон о детской порнографии. Они же собирают всякие замысловатые электронные дробилки и еще, конечно, сур — спасибо вам, ребята, от всех пупарасов, хотя ваши подлинные братья не мы, а «немцы». У «японцев» такая же суицидальногероическая культура, как у производителей моторенвагенов, только настоящая не на пиве, а на мастурбации. Даже века бессильны что-нибудь с этим сделать, и в этом, пожалуй, есть своя красота. Не зря столько старых снафов посвящено гибели офшара «Ямато». Говорили, что при Просре Ликвиде для съемок на воде всерьез планировали затопить Цирк, но запретили технические сомелье и отдел общественной морали при Доме Маниту.

«Американцы»... Америка, великая Америка, когда-то спасшая мир от Гитлера, Бин Ладена, графа Даку, Мегатрона и профессора Мориарти! «Американцы» снимают снафы. Еще они делают маниту, по которым мы смотрим снафы. И еще, конечно, печатают маниту, которыми мы за все это расплачиваемся. К моей Кае они тоже приложили руку — историки утверждают, что сура произошла от брака японской любовной куклы с американским освободительным беспилотником. Богатые ребята из верхней полусферы — как еще про них скажешь. Завистники утверждают,

что они втайне поклоняются огромной летучей мыши, которую прячут где-то возле центрального реактора — и в ее помете якобы находят время от времени процессорные чипы новейшей архитектуры. Но это, конечно, скулит зависть в чистом виде, и транслировать ее я не буду.

«Евреи» — это священники, у которых копирайт на Маниту — даже про Маниту Антихриста говорят, что он был евреем из Бронкса. Еще они снимают снафы вместе с американцами, и даже непонятно, кто в этом деле будет главнее. Нервная ткань мирового мозга, выдумавшего антигравитационный процент и ссудный привод — недаром они первыми получают по башке от всех, кто хочет сделать мир красивым, мускулистым и понятным.

«Французы» — ударные интеллектуалы «Биг Биза». Начать войну может кто угодно, но никто не сделает этого так элегантно. Все лучшие дискурсмонгеры из спецподразделения «Le Coq d'Esprit» обязательно знают немного по-старофранцузски. Они молодцы. У военных даже поговорка есть, «дисциплинированный как взвод французских интеллектуалов». Имеется в виду, понятно, дисциплина ума. Но и сердца тоже — потому что не всякое сердце сумеет избирательно кровоточить по поводу заданной цели в обход любого количества выпущенных врагом ложных мишеней — с высочайшей точностью маневра, в любых погодных условиях, да еще и на огромной дистанции. Как боевой летчик, я хорошо понимаю, насколько сложна такая задача.

«Англичане» в юности дают лучших протестных панков, а в зрелости — лучших банковских клерков. Великий народ. Не зря мы и сейчас ведем все делопроизводство на церковноанглийском. Все, сделанное ими для цивилизации, невозможно перечислить — без англичан во вселенной не было бы ни политкорректности, ни таблоидов. Это они изобрели лицемерие, первыми объединили мир под его флагом — и до сих пор не дают угаснуть его священному огню. Я не шучу. Где мы были бы сегодня без лицемерия? По закону о consent age никто вообще не мог бы заниматься любовью до сорока шести лет. Уважаю, преклоняюсь. Rule, Britannia!

Но все это скорее остаточные национальные тенденции, как бы тени древних традиций, которые до сих пор живут среди нас. И все, о чем я только что говорил — это, скорее, культурный и профессиональный выбор каждого, чем действительный голос крови.

Но вот что значит быть «русским»?

Никакой специализации, связанной с этим, нет.

Похоже, это так же непонятно сегодня, как семьсот лет назад.

Что это значило тогда, если верить экранным словарям?

Ездить на немецком автомобиле, смотреть азиатское порно, расплачиваться американскими деньгами, верить в еврейского бога, цитировать французских дискурсмонгеров, гордо дистанцироваться от «воров во власти» — и все время стараться что-нибудь украсть, хотя бы в цифровом виде. Словом, сердце мира и универсальный синтез всех культур.

Наша старинная русская традиция как раз и строилась вокруг того, что не имела ничего своего, кроме языка, на котором происходило осмысление этого «ничего». Чем-то похожим занимались евреи, но они назвали свою пустоту Богом и сумели выгодно продать ее народам поглупее. А мы?

Мы пытались продать человечеству отсутствие Бога. С метафизической точки зрения такое гораздо круче, и поначалу даже неплохо получилось — поэтому наши народы когда-то и считались мистическими соперниками. Но если на Боге можно поставить национальный штамп, то как поставить его на том, чего нет? Вот отсюда и древний цивилизационный кризис моих предков, проблемы с самоидентификацией и заниженная самооценка, постоянно приводившая к засилью церковнобюрократического мракобесия и анальной тирании.

Но все это было давно, так давно, что теперь интересно только историкам. Или сурам, работающим на пике сучества и духовности.

Вот в какие дебри приходится нырять человеку из-за того, что резиновая женщина пару раз хлопнет ресницами. Но ведь интересно, разве нет? Когда еще я обо всем этом задумался бы?

У меня ушло несколько часов на то, чтобы разобраться с вопросом досконально, зато теперь я был готов к продолжению беседы. Зайдя в комнату счастья, я снял свою душеньку с паузы.

Когда я вернулся, Кая сидела на диване и смотрела на меня прежним хмурым взглядом, словно и не было этих выпавших из ее жизни часов.

— Я не русский, — сказал я ей, — Или, вернее, я пост-русский. Отсутствует общая судьба с ребятами, не сумевшими вовремя перелезть в офшар. И Грым тоже не русский. Он орк с номером вместо национальности. Русский во всем этом только язык, на котором мы сейчас говорим. И даже он уже не русский, а верхнерусский. Не путать с верхне-среднесибирским. Никаких национальностей в Сибири уже лет триста как нет. Тебе все понятно, моя дурочка?

Она несколько раз моргнула.

— Знаешь, — сказала она, — если тебе еще раз захочется поставить меня на паузу, делай это не тогда, когда лезешь в экранный словарь, а когда решишь заняться со мной любовью. Хорошо?

И посмотрела на меня исподлобья. Таким, значит, взглядом, который как бы содержал намек — даже не намек, а маленькую, почти исчезающую вероятность намека, — на то, что сегодня я ей не так противен, как обычно.

И опять она совершенно сбила меня с толку, поскольку я готов был к серьезному разговору о нациях и народностях, но никак не к этому.

А она уже отвернулась, и смотрела теперь в пол, но с такой усмешечкой, что понятно было — смотрит она на самом деле на меня, причем крайне внимательно и всем телом.

Я ведь сделан не из композитно-керамической брони, правда? И через минуту она уже кричала на меня:

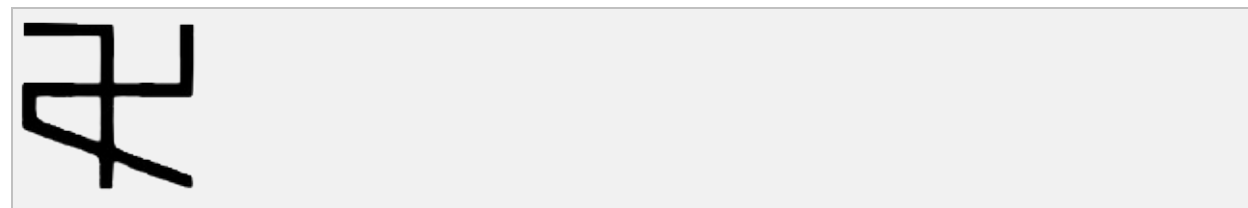
— Я не хочу на столе! Я сколько раз тебе говорила, что я не люблю на столе, дурила! Он жесткий! Это твоей жирной жопе все равно, а мне жестко! Жестко!

Жестко.

Очень точное слово. Да, это получилось жестко, грубо и восхитительно. Хоть и слишком быстро.

Потом, когда я, обессиленный и благодарный, лежал на диване, она подошла, села рядом, склонилась надо мной и поцеловала меня в нос. Я уже знал, что сейчас она снова попросит показать ей Грыма. Но я не стал инициировать сбой программы. Зачем? Жизнь есть жизнь — пусть молодое сердце бьется как хочет.

А за то, что она так мастерски, через две отвлекающих спирали, привела меня в точку возврата к базовому алгоритму, я готов был простить ей не только Грыма, но и свои русские корни. Не потому, что меня так уж впечатлил этот программно обусловленный маршрут. А потому, что на нем был еще и этот стол. Совершенно неожиданный стол. Такой жесткий, грубый и беспощадно-быстрый.



Девяносто два. О женском сердце.

Из пизды кверху поднимается сок, а через глаза залетает мирская тщета и движется вниз. Встречаются в середине груди, вскипают и соединяются в черную субстанцию, которая есть корень женского естества. От него в мире вся злоба и

существо, боль сердца, мракодушие и тоска. И не избыть того никак, ибо женщина влечет к себе через неправду, а если рассеять обман, то сразу видно, что она и вовсе не нужна, а без нее намного лучше. Этой ясности ей не пережить, и узреть истину мужчине не даст, поскольку охотиться сама не может. Потому все время врет и существует, и сама понимает, как завралась, но сделать ничего не в силах, и в глазах у нее тоска и страх. А если припереть к стене и долго бить по морде, то сознается во всем, но скажет, что без той хитрости иссякнет жизнь.

Истинно так. Потому мудрые говорят, что жизнь есть надувательство и черный обман.

Под текстом было приписано от руки — видимо, для воинского гадания:

Если завтра в бой, знай, что сердце пидараса подобно женскому.

— Все так, — прошептал Грым и закрыл «Дао Песдын».

Трудно было лучше выразить, что он думал о Хлое, которая даже не потрудилась узнать, выжил он или нет...

Насчет надувательства и черного обмана все тоже было правдой — и подтверждения приходили постоянно.

Во-первых, прокуратор больше не звал в Лондон. Власть была занята своим трудным государственным делом и совсем позабыла про Грыма. Но именно этого Грым и ждал, поэтому расстроен не был.

Во-вторых, хоть он добросовестно окровавил все семейные бумаги на верхне-среднесибирском точно в том месте, где полагалось — на последней странице в правом нижнем углу, — толку было мало. По новым правилам боевую кровь надо было заверять у нотариуса, собрав свидетельства трех однополчан. Однополчане погибли почти у всех, но к нотариусу все равно была очередь на месяц вперед. Говорили, что свидетелей можно нанять прямо на улице — они топтались возле переводного стола, а рядом прохаживались два крышевавших их правозащитника.

По деньгам выходило, что семье Грыма все равно, где платить — правозащитникам или обычную взятку. Но через взятку было быстрее. Поэтому про окровавленные документы просто забыли, и Грыму даже спасибо толком никто не сказал. Было не до него — в семье стряслось

большое горе. Арестовали дядю Жлыга с мопедного завода, и у родни теперь не осталось никаких связей в верхах.

Отчего-то сидеть дома не хотелось. Смотреть снафы или новости было рвотно. Грым решил сходить на рыночную площадь — узнать, что происходит в мире за пределами информационной вселенной.

Дойдя до рынка, он сразу пожалел, что пришел. Площадь превратилась в пропитанный страданием полевой лазарет. Между ранеными, лежащими на соломе и тряпках, ходили писаря, регистрируя пришедших в сознание, чтобы послать за их близкими. Живших неподалеку разбирали родственники — одному хватало подставленного плеча, других увозили в будущее на тележке. А военные санитары все несли и несли с Оркской Славы полуживые обрубки тел. Все как обычно.

Впрочем, у этой победы был особенно горький вкус. Над рыночной площадью висело тридцать шесть трупов в грязных от земли и крови матросках — это были рядовой Блут, недоумивший орков снимать перед камерой штаны, и его поделщики, часть которых повесили уже в мертвом виде. У самого Блута на груди висела табличка с малопонятной надписью:

NO HANGING PARTS, OR HANG!^[13]

Костальным виселицам были прибиты разъяснения на сибирском — что это предатели, покрывшие оркское боевое знамя позором, и их проклял Маниту. Ходившие мимо плевали на повешенных, и Грым, знавшему правду, было больно на такое смотреть. Но спорить или что-то объяснять не хотелось — одного, пытавшегося это сделать, уже повесили рядом. Вешали пусора и говнокуры, объединившиеся для такой цели, а кто ими командовал, никто толком не понимал.

На тех, кто вернулся с войны невредимым, смотрели с легким презрением, но таких было мало. На Грыма не косились только по той причине, что всю левую половину его лица покрывала большущая ссадина — наполовину кровоподтек, наполовину ожог. На самом деле там было больше копоты, чем крови, и пройти все должно было дня через три, но выглядел Грым геройски, и рожу на всякий случай не мыл.

На рынке говорили о только что кончившейся войне — много разного, и большую часть шепотом.

Ходил слух, что Рван Дюрекс потому погиб со своим штабом, что не предупредил людей о газовых баллонах. Смертных газовых тележек было всего две, но люди не знали, сколько их у орков в запасе. Когда орки

взорвали вторую, и вслед за Бэтманом убили еще и Канадского Дикого Человека, люди сбросили на ладью уркагана умную бомбу и погубили всех, включая маршала Шпыра. По другим рассказам, кагана убило не на самой ладье, а на Кургане Предков, когда его несли вверх по склону два ординарца — причем до последней минуты он продолжал петь, показав сердце героя. Сила взрыва была такой, что тел не нашли.

«Что это за «умная бомба»? — думал Грым, глядя на перекошенные галдящие лица. — Если она такая умная, чего ж она тогда падает и взрывается? Похоже, кто-то ее все-таки кинул. Так же, как и нас... Сказали — ты, мол, самая умная, лети, все будет хорошо... Радуйся, мол, солнцу и ветру... А она и поверила...»

Говорили, люди так быстро закончили войну не из-за взорвавшихся баллонов, а из-за того, что орки во многих местах стали снимать порты и махать перед телекамерами срамом. В результате у людей вроде бы пропал всякий задор. Но об этом шептались тихо-тихо, косясь на повешенных.

Ясно было одно. После смерти Дюрекса власть у орков поменялась. Произошло это, как всегда, быстро и мутно.

Новая реальность заявляла о себе висящим на стене Музея Предков портретом полноватого молодого человека с черным завитком на лысом лбу и глазами-присосками. Над его широким лицом, пропитанным подлостью, как котлета салом, пылали золотые слова:

У ЧОМУ СІЛЛА, БРАТХА?

Это был новый уркаган по имени Рван Контекс, а надпись наверняка придумали люди или просто взяли ее из древних фильмов. Под портретом стояло несколько пусоров, продающих шприцы с дурианом — новое правление обещало быть умеренно-либеративным.

Никто не понимал, откуда вынырнул этот Рван Контекс и почему он теперь у власти, но это не обсуждали, словно смиряясь с тем, что оркам такие вещи знать не положено. Зато спорили, правда ли он незаконный сын покойного Дюрекса, и действительно ли изучал наверху эдвайзинг и консалтинг, или у него степень по фондовой экономике.

Одна оркская женщина, знавшая по-церковно-английски, утверждала, что еще два месяца назад видела в византийских новостях репортаж о Контексе, который вернулся в Оркланд, где «keeps a low profile»,^[14] как выразился диктор. Другой орк вспоминал, что при Рване Дюрексе молодой Контекс был начальником складских амбаров, где проявил большой

организационный талант, и воровал по совести — только на жизнь. Грым мог поклясться, что уже слышал эти голоса на рыночной площади перед самой войной — это они выкликали Алехандро и Бамболео.

Живого Контекса никто пока не видел — был только этот плакат. Зато у памятника маршалу Жгуну висела его размноженная в трех экземплярах речь.

Грым подошел почитать.

Речь была самая обычная — мутило от писарского волапюка властей, старающихся говорить с народом задушевно, но строго, и непременно на его собственном языке. Контекс говорил о национальной катастрофе, к которой привела Уркаину прежняя клика, о бедственном демографическом положении, о том, что урка надо поставить в самый центр Уркаины, а не наоборот, и так далее. Были в статье и соленые оркские шутки — столько, что, когда Грым дочитал, ему стало казаться, будто он проглотил гнилую рыбу. В общем, по всему выходило, что Контекс — это всерьез и надолго.

Но, даже несмотря на эти фокусы, в воздухе все равно пахло особой, горькой послевоенной свежестью...

— Привет, Грым. Ну и рожа у тебя.

Грым обернулся.

Перед ним стояла Хлоя.

Ее лицо было разрисовано черно-золотыми спиралями Вселенных Воскресения, как у сновавших вокруг молодых вдов — а на голову был наброшен капюшон полосатой ветровки. К тому же она покрасила волосы и сделала челку. Видимо, она не планировала купаться в волнах своей предвоенной славы.

Если она и понимала, что чувствовал Грым, то никак этого не показала.

— Ты тоже ничего, — сказал Грым, — Как крокодил с Болота Памяти.

Хлоя не обиделась.

— Идем, — сказала она, — надо спешить.

Грым презрительно наморщился.

— Куда это?

Он уже понял, что растратил весь свой моральный капитал — теперь казнить Хлою молчаливым презрением за содеянное было поздно. Грым не особо собирался это делать, но некоторую досаду от потери актива все же испытал.

— Увидишь, — сказала Хлоя. — Будет интересно, обещаю.

Она повернулась и пошла прочь с рыночной площади.

Ее тон был таким, что Грым сразу пошел за ней следом. Ему даже

показалось на миг, будто с войны вернулся не он, а она.

— Извини, — сказала Хлоя, когда рынок остался позади, и они углубились в кривые грязные улицы Славы. — Я понимаю, ты злишься. Но я знала, что с тобой все нормально. Просто так вышло... В общем, сам увидишь.

Хлоя, похоже, хотела как можно быстрее ликвидировать его преимущество по моральной высоте. Это злило Грыма даже сильнее, чем ее прошлое свинство.

— Куда мы все-таки идем? — спросил он.

Хлоя наморщилась, словно произносимые слова царапали ей рот, но ответила:

— Я должна кое-в-чем признаться. Я встречалась с дискурсмонгером. И он оказался очень нехорошим человеком.

— То есть ты заметила, да? — спросил Грым с сарказмом.

Вернее, он попытался спросить с сарказмом, но это не особо получилось — его голос прозвучал просто хрипло.

Всю остальную дорогу он молчал, раздумывая, как правильно себя вести и что такого может показать ему Хлоя, чтобы искупить свою вину (вернее, все свои многочисленные вины). Если во вселенной существовал такой объект, то Грым совершенно его не представлял. Это действительно становилось интересным.

Они шли долго. Хлоя углублялась в трущобную часть города, район, где жили бедные военные семьи. Много домов здесь стояло пустыми, и ходить по улицам было небезопасно — но пока, к счастью, был еще слишком ранний час.

Хлоя дошла до скромно, но прилично выглядящего деревянного дома с небольшим садом. В таком могла бы жить родня мелкого чиновника — какая-нибудь сноха младшего переводчика или двоюродный брат шофера, который возит серьезного вертухая. От улицы дом был отделен крепким дощатым забором и густыми кустами. По бокам его окружали заброшенные бетонные конурки времен Просра Ликвида, где сейчас жили только гекконы, летучие мыши и души предков.

Дойдя до ворот, Хлоя огляделась по сторонам, открыла замок и вошла во двор. Грым последовал за ней.

Во дворе под клеенчатым навесом стоял щегольский зеленый моторенваген — классический джип с пропуском в Желтую и Зеленую Зону за стеклом. Такой машине явно было не место в этом дворе и вообще в этом районе, где возле домов стояли в лучшем случае облезлые мопеды с прицепами. Но джип не был виден с улицы — его скрывала растянутая на

столбах клеенка и кусты.

Хлоя вошла в дом.

Из прихожей на Грыма нехорошо пахло — на полу была засохшая рвота и пустые бутылки.

— Здесь что, не убирает никто? — спросил Грым.

Хлоя отрицательно помотала головой.

— Раньше я убирала. А теперь никто.

Грым вдруг догадался.

— Ты здесь встречалась с этим... С дискурсмонгером?

Хлоя кивнула.

— Здесь тоже. Это его тайное гнездышко.

— А где он сам?

— В подвале, — ответила Хлоя.

— Живой?

Хлоя пожала плечами.

— Идем посмотрим.

Они прошли через скудно обставленные комнаты и оказались у открытого железного люка. Под ним была ведущая в подвал лестница. Люк выглядел излишне крепким и надежным для такого дома.

Поманив Грыма пальцем, Хлоя спустилась вниз.

Грым увидел подzemелье, освещенное тусклой лампочкой. Свет косо падал на полки с разным хозяйственным добром. Здесь были инструменты, деревяшки, тряпки, горшки с гвоздями, провода, старые пластиковые пакеты, канистры — в общем, все то, что хранит в хозяйстве любой небогатый, но бережливый орк.

А потом Грым увидел дискурсмонгера.

Дискурсмонгер выглядел плохо.

Пах он еще хуже.

Он сидел на тюфяке, прислонясь спиной к стене. Его руки и ноги были привязаны к железным кольцам, вделанным в стену и пол. Грязная ночная рубашка была покрыта пятнами засохшей крови. Солнечные кудри поблекли и сваялись, а многодневная щетина состарила беднягу на десять лет. Судя по закрытым глазам, он то ли спал, то ли был без сознания.

Грым заметил на полу жаровню с потухшими углями. А потом — бурую тряпку, которой была замотана одна нога человека.

— Ты его что, пытала? — спросил он.

Он старался говорить равнодушно, чтобы Хлоя не заподозрила его в слабости, хотя на самом деле ему стало противно и даже страшно. Но не так страшно, как на войне. Боевой страх был веселым и азартным, а это

было безрадостное гражданское чувство, серое, как вареный коровий язык.

— Не пытала пока, — сказала Хлоя. — Только мучала немного. Боялась, быстро сдохнет.

Грым вспомнил, что говорит с дочерью ганджуберсерка.

Человек услышал голос и открыл глаза.

Увидев Грыма, он вздрогнул, и его лицо исказилось страхом. Грым смотрел на него молча, без всякого выражения, и дискурсмонгер понял, что его не собираются убивать — во всяком случае, сразу. Он произнес:

— Меня удерживают здесь против моей воли. Я требую встречи с представителем правительства национального спасения. Известите лично Рвана Контекса.

— Сколько ты здесь сидишь? — спросил Грым.

— Четыре дня, — сказал человек.

— А откуда ты знаешь, что у нас правительство национального спасения? Никакого Рвана Контекса четыре дня назад еще не было.

Человек грустно улыбнулся — словно понял, что говорит с безнадежным идиотом.

— Если вы хоть чуть-чуть любите свой народ, — сказал он, — вы должны понимать, что захват заложника серьезно повредит его имиджу, и все послевоенные усилия...

Грым увидел в руках Хлои блестящий металлический прут, кончающийся сложным крюком. Хлоя размахнулась и сильно ударила человека по ноге.

— Уй! — закричал человек. — У-ууу!

— Мы не любим свой народ, — сказала Хлоя. — Мы орки.

— Что это у тебя за железка? — спросил Грым.

— Ключка для гольфа, — сказала Хлоя, — У него в машине была.

— А что такое гольф?

— Не знаю, — ответила Хлоя. — Наверно, вот это.

И она снова ударила человека клюшкой по ноге. Человек опять закричал.

— Я тебе уже говорила несколько раз, — сказала Хлоя, — выражайся понятно. Что такое имидж?

— Совокупный образ, который...

Хлоя подняла клюшку.

— Это как мы вас показываем по маниту, — быстро произнес дискурсмонгер.

— Ты хочешь сказать, что чем больше я буду тебя бить, тем хуже вы нас покажете?

— Да.

— Но ты ведь говорил, что вы всегда стараетесь показать нас как можно хуже. Помнишь? Когда пьяный был?

Человек ничего не ответил, и Хлоя ударила его клюшкой по ноге.

— У-у-ууууу!!!

— Ему же больно, — сказал Грым.

Хлоя посмотрела на него как на идиота.

— Я для того и бью.

Грым хотел было отобрать у нее клюшку, но потом решил не рисковать. Вместо этого он оттащил ее подальше от всхлипывающего дискурсмонгера.

— За что ты его?

Хлоя подошла к одной из полок и развернула лежащий там сверток.

— Смотри, что я нашла.

Грым увидел что-то непонятное. Словно бы мочалки из волос, приклеенные к сморщившимся кускам кожи — одна рыжая, другая темная. Волосы были коротко и неровно обрезаны.

— Что это такое?

— Скальпы.

— Какие скальпы?

— Которыми у него все кончается, — сказала Хлоя. — Это два прошлых. А я была следующая.

— Откуда ты знаешь?

— Сам сознался.

Грым поглядел на клюшку для гольфа в ее руке.

— Может, он на себя наговаривает?

— Нет, — сказала Хлоя, — не наговаривает. Я его так била, что не рискнул бы. Он уже раз пять убить его просил. Стал бы он наговаривать.

— А как ты узнала?

Хлоя пожала плечами.

— Почувствовала. Когда он привязать меня захотел. Ты, говорит, должна понять — сейчас я полностью в твоей власти. Я доверяю тебе свою жизнь. Как только ты меня отвяжешь, я хочу один раз сделать это с тобой. Буквально на пять минут. Почувствовать, что ты доверяешь мне так же, как я тебе... Я, мол, не буду тебя бить и никогда больше не стану о таком просить. Сразу развяжу, и поедem в Зеленую Зону.

— И ты не захотела?

— Не, — сказала Хлоя. — Что-то такое меня укололо... Поняла — если в этот угол сяду, больше из него не встану. Уж слишком тут у него

все... удобно оборудовано. В общем, не стала я его отвязывать.

— И что?

Хлоя махнула клюшкой.

— И он рассказал.

— А как ты скальпы нашла?

— Сам признался, где лежат. Там раньше еще косы были. Он их обрезал и наверх взял.

— Как же ты его била, наверно, — присвистнул Грым.

— Да, ничего так, — сказала Хлоя. — Зато все теперь знаю. Кости у него прямо здесь зарыты, в углу. А черепа он наверх увез. Полировал, говорит, до зеркальности. Я спрашиваю зачем, а он все слова умные говорит. И сколько ни била, по-другому не может объяснить, хоть уже от боли плачет. Станный он. Больной на всю психику. Хочешь у него что-то спросить, пока он говорить может?

Дискурсмонгер смотрел на Грыма расширенными от ужаса глазами. Грым задумался. Тысячи мучительных вопросов, на которые никто вокруг не знал ответа, вдруг вылетели из головы.

— Ага, вот, — вспомнил он. — Почему у нас одно и то же слово для Маниту, маниту и маниту? Ты знаешь?

Дискурсмонгер кивнул.

— В древние времена, — сказал он, — люди верили, что экран информационного терминала светится из-за сошествия особого духа. Духа звали «Manitou». Поэтому экран называли «monitor», «осененный Маниту». А деньги по-церковноанглийски — «money», так было изначально. Прописи Маниту объясняют так...

Дискурсмонгер прикрыл глаза и несколько секунд вспоминал.

— «Маниту Антихрист сказал — те, кто приходил до меня, возвещали: отдай Богу Богово и кесарю кесарево. Но я говорю вам: все есть Маниту — и Бог, и кесарь, и то, что принадлежит им или вам. А раз Маниту во всем, то пусть три самых важных вещи носят его имя. Земной образ Великого Духа, панель личной информации и универсальная мера ценности...» Священники говорят, одно из доказательств бытия Маниту в том, что эти слова сами сложились в языке похожими друг на друга...

Грым вспомнил другой вопрос, занимавший его куда сильнее, чем лингвистическая археология.

— Я всегда хотел узнать, откуда взялись снафы, — сказал он, — Ведь в древности фильмы были не такими. Почему в снафах всегда половина про войну, а половина про любовь? В школе это никогда не объясняют. Говорят, такова любовь Маниту и его ярость. И все.

Человек облизнул губы.

— Вообще-то это религиозный вопрос, — сказал он, — Надо священника спрашивать. Но какие у вас священники, я знаю. Попробую вспомнить, как в школе рассказывают... В Прописях Маниту сказано, что Маниту возжелал приблизить людей к своему чертогу и подарил им два магических искусства. Они назывались «кино» и «новости». В их основе лежало одно и то же таинство — «чудо удаленной головы».

— Удаленная голова? — подозрительно переспросила Хлоя. — Ты для этого черепа вверх забираешь?

На лице дискурсмонгера проступило отчаяние.

— Нет, — сказал он. — Вы сами знаете, что такое удаленная голова. У нас есть шесть чувств. Но если посмотреть, какой процент информации для построения картины мира составляет каждое из них... — человек покосился на клюшку в руках Хлои, — в общем, неважно какой процент. Важно, что зрение и слух, действуя вместе, способны полностью замещать реальность. И такой переход сознания ничем принципиально не отличается от сна или... У-ууй!

Хлоя ударила человека так внезапно, что Грым не успел ей помешать. Он только пихнул ее в плечо. Хлоя в ответ толкнула его, и, чтобы не позориться перед дискурсмонгером, Грым не стал продолжать потасовку.

— Почему ты его бьешь? — спросил он.

— Он, когда пьяный был, говорил, что с орками надо себя вести как с детьми, — ответила Хлоя. — Рассказывать им волшебные сказки. Иначе, мол, их примитивное воображение не сможет ни за что зацепиться.

— Ну и замечательно, — сказал Грым, — Я люблю сказки. А тебя не поймешь. То тебе сложно, то обидно, что как с детьми. Давай дальше, монгер.

— Хорошо, — сказал дискурсмонгер, косясь на Хлою. — Древние люди постигли, что чудо удаленной головы позволяет переносить внимание куда угодно. С его помощью можно заставить человека увидеть любой мир, настоящий или выдуманный. Но есть черта, разделяющая реальность и фантазию. Она же отделяет кино от новостей. Если говорить грубо и упрощенно, новости показывают то, что на самом деле. Кино показывает то, чего на самом деле нет. Вместе они много раз приводили мир к войнам.

— Почему? — спросил Грым.

— Потому что маги древности управляли реальностью, манипулируя этими искусствами. Они часто смешивали их или вообще меняли местами, выдавая кино за новости, а новости за кино. Так можно делать, поскольку чудо удаленной головы действует при этом совершенно одинаково.

— Ты понимаешь, что он говорит? — спросила Хлоя.

— Я понимаю, как можно выдать кино за новости, — сказал Грым. — Это когда в новостях показывают такое, чего не было. Или... — он вспомнил бегущего по полю битвы любителя детских кишок, — вроде бы было, но неправда... Но как можно выдать новости за кино?

Хлоя повернулась к человеку и чуть подняла клюшку.

— То же самое, только наоборот, — ответил тот, и вдруг разозлился. — Не надо меня бить, хорошо? Я же не виноват, что это нельзя объяснить на пальцах!

— Говори проще, — велела Хлоя, но все же опустила клюшку.

— В общем, — продолжал дискурсмонгер, — это действительно почти одно и то же. Люди в древности много работали, и у них было только несколько часов в неделю, чтобы расслабиться перед экраном. Кино служило для них энциклопедией жизни. Люди брали из кино все свои знания. Часто это был их главный источник информации о мире. Поэтому, если в кино какой-то народ постоянно изображали сборищем убийц и выроdkов, это на самом деле были новости. Но их выдавали за кино.

— Понятно, — сказал Грым. — Что дальше?

— Мастерство древних магов было ужасающим. Особенно в том, что касалось новостей. У этого была причина — мир был разделен на кланы, и каждый клан с помощью своих магов пытался создать особую версию реальности.

— А почему никто не показывал правду? Что, все древние маги были такими подлыми и злыми?

— Тут дело не в этом, — сказал человек. — Они могли быть хорошими и добрыми. Но они с самого детства находились в реальности, придуманной магами их клана. А человек, даже если он информационный маг, борется в первую очередь за личное выживание. Как ты считаешь, кто имел больше шансов выжить — тот, кто укреплял традиционную версию реальности, или тот, кто менял ее? Пусть совсем чуть-чуть?

— Наверно, тот, кто укреплял, — сказал Грым.

— Конечно, — скривился дискурсмонгер. — Маги только думали, что могут контролировать информационную среду, но на самом деле все происходило по таким же биологическим законам, по которым рыбы в океане выбирают, куда им плыть. Это не люди выстраивали картину мира, а картина мира выстраивала себя через них. Бесполезно было искать виноватых.

— Почему начинались войны? — спросил Грым.

— Они начинались, когда маги какого-нибудь клана объявляли чужую

реальность злодейской. Они показывали сами себе кино про других, потом делали вид, что это были новости, доводили себя до возбуждения и начинали этих других бомбить.

— А новостям верили?

— Вера тут ни при чем. Картина, которую создавали маги, становилась правдой не потому, что в нее верили, а потому, что думать по-другому было небезопасно. Люди искали в информации не истины, а крыши над головой. Надежней всего было примкнуть к самому сильному племени, научившись видеть то же, что его колдуны. Так было просто спокойней. Даже если человек номинально жил под властью другого клана.

— А человека могли наказать за то, что он верит чужим?

— Человека никто не мог наказать за то, что он видит то же самое, что хозяева мира. Это означало начать борьбу против них. Но постепенно хозяева мира потеряли силу, и их правда стала рассыпаться на биты и пиксели.

Грым вспомнил огромное лицо нового уркагана над рынком.

— Потеряли силу? — спросил он. — А в чем сила, дискурсмонгер?

Человек страдальчески хихикнул, и Грым догадался, что он тоже видел плакат с Рваном Контексом — хотя было непонятно, когда и где.

— Сила всегда в силе. И ни в чем другом. В Древних Фильмах говорили: «сила там, где правда». Так и есть, они всегда рядом. Но не потому, что сила приходит туда, где правда. Это правда приползает туда, где сила. Когда люди пытаются понять, где правда, они в действительности тихонько прикидывают, где теперь сила. А когда уходит сила, все дружно замечают — ушла правда. Человек чувствует это не умом, а сердцем. А сердце хочет главным образом выжить.

— Как правда может уйти? — спросил Грым. — Дважды два четыре. Это всегда так, неважно, есть сила или нет.

— Дважды два — четыре только по той причине, что тебя в детстве долго пороли, — сказал дискурсмонгер. — И еще потому, что четыре временно называется «четыре», а не «пять». Когда добивали последних неандертальцев, никакой правды за ними не осталось, хоть до этого она была с ними миллион лет. Правда там, где жизнь. А где нет жизни, нет ни правды, ни лжи.

— Но нельзя же так промыть мозги... — начал Грым.

— История человечества, — перебил дискурсмонгер, — это история массовых дезинформаций. И не потому, что люди глупые и их легко обмануть. Люди умны и проницательны. Но они с удовольствием поверят в самую гнусную ложь, если в результате им устроят хорошую жизнь. Это

называется «общественный договор». Промывать мозги никому не надо — они у цивилизованного человека всегда чистые, как театральный унитаз.

— С тобой не поспоришь, — вздохнул Грым. — И что произошло, когда хозяева мира потеряли силу?

— Когда общественный договор прекратил действовать, первыми пришли в упадок новости. Люди перестали им верить, потому что это больше не гарантировало полного желудка. Потом в упадок пришло искусство. Кино перестало вызывать «погружение» и «сопереживание».

— Поясни, — потребовал Грым.

— Древние книги говорили — чтобы попасть под власть кино, человек должен шагнуть ему навстречу. Он должен совершить действие, которое называлось на церковноанглийском «suspend disbelief» — «отбросить недоверие». Зритель как бы соглашался: «я на время поверю, что это происходит в действительности, а вы возьмете меня в волнующее удивительное путешествие». Пока у магов древности была сила, все получалось. Но потом общественный договор потерял силу и здесь.

— Почему? Люди разучились отбрасывать недоверие?

— Нет. Появилась другая проблема. Когда они смотрели кино, им все сложнее становилось «suspend belief» — «отбросить уверенность». Они даже на время не могли забыть, что все фильмы на самом деле рассказывают одну и ту же историю — как шайка жуликов пытается превратить ссуженные ростовщиками триста миллионов в один миллиард, окуная деньги в сознание зрителей. Эта суть проступала сквозь все костюмы и сюжеты, сквозь все психологические и технические ухищрения магов древности и все спонсируемые ими критические отзывы, и в конце концов полностью вытеснила все иные смыслы. Но это случилось не потому, что изменились фильмы. Изменилась жизнь. Главный персонаж кино — одинокий герой, пересекающий экран в погоне за мешком маниту, — перестал выражать мечту зрителя, ибо такая мечта сделалась недостижимой. Он стал просто карикатурой на своих создателей. Кино все еще приносило деньги, но перестало влиять на сердца и души. Так же, как и новости.

— И что случилось потом?

Человек пожал плечами.

— Кино и новости скрепляли человечество. Когда они пришли в упадок, маги мелких кланов ликовали. Они думали, что смогут творить реальность сами. Но вскоре в мире обнаружилось несколько несовместимых версий этой реальности — у Ацтлана, Халифата, Сражающихся Царств, Еврайха, Сибири и других. У каждого клана теперь

были свои новости, больше похожие на кино, и все снимали кино, больше похожее на новости. Ни одна из реальностей больше не являлась общей для всех. Добро и зло стали меняться местами от щелчка пальцев и дуновения ветра. И великую войну на уничтожение уже нельзя было остановить...

— А сколько людей погибло?

Человек только усмехнулся.

— Легче сосчитать тех, кто выжил. Совсем мало, в основном в офшарах. Но люди хорошо запомнили, что войны начинаются, когда кино и новости меняются местами. И уцелевшие решили объединить их в одно целое, чтобы подмены не происходило больше никогда. Люди решили создать «киновести» — универсальную действительность, которая единой жилой пройдет сквозь реальность и фантазию, искусство и информацию. Эта новая действительность должна была стать прочной и постоянной. Настоящей, как жизнь, и настолько однозначной, чтобы никто не смог перевернуть ее с ног на голову. В ней должны были слиться две главные энергии человеческого бытия — любовь и смерть, представленные как они есть на самом деле. Так появились снафы — и началась постинформационная эра, в которую мы живем.

— Какая? — переспросил Грым.

— Постинформационная, — повторил дискурсмонгер. — Но это очень упрощенный рассказ. Все произошло не за один день. И главную роль, конечно, сыграла религия Маниту, которую принес людям Антихрист. Религия, соединившая древние прозрения человечества с последними открытиями науки. Снаф — это прежде всего религиозное таинство. Именно из-за него нашу веру иногда называют мувизмом.

— Понятно, — сказала Хлоя. — А на чьей стороне воевали орки в той большой войне?

— Орков придумали потом.

— Не завирайся, — нахмурилась Хлоя. — Как можно придумать целый народ? Древнейший народ?

— Придумали не ваши тела, — ответил дискурсмонгер, — а вашу культуру и историю. В том числе и ваше представление о том, что вы древнейший народ.

— А зачем... — начал было Грым, но остановился. — Ага... Кажется, понимаю. Для снафов нужен был постоянный враг?

— Не то чтобы настоящий враг. Скорее, отвратительный и гнусный во всех проявлениях противник. Но не особенно сильный. Чтобы с ним никогда не было серьезных проблем...

Грым на всякий случай придвинулся ближе к Хлое. Но та, похоже,

забыла про свою клюшку. Так же, как дискурсмонгер про осторожность.

— Знаете, почему вы не любите себя сами? — сказал он, — Вас придумали для того, чтобы ненавидеть с чистой совестью.

— Это правда, — прошептал Грым.

— Вы жертва, принесенная для сохранения цивилизации. Клапан, через который выходят дурные чувства человечества...

— Вас наверху осталось тридцать миллионов, — сказал Грым, — А нас в Уркаине раз в десять больше. Почему же человечество — это вы, а не мы?

— Потому что в вас очень мало человеческого, — отозвался дискурсмонгер.

— А в вас много? — спросил Грым.

Дискурсмонгер молчал.

Хлоя дернула Грыма за рукав.

— Пошли наверх, — сказала она, — пока я его не прибила. Хоть рожу умою. А то замучилась носить этот траур по мечте.



Когда получаешь инструкции и разъяснения от Дома Маниту, надо ехать за ними лично — религиозное начальство не любит общаться по маниту. Летчики ненавидят такие вызовы. Каждый раз надо мыться, бриться и что-то делать с прыщами на лице. Но против правил не попрешь, — на все подобные встречи мне приходилось ездить по трубе.

Кая тоже не любила оставаться одна, но не потому, что ей невыносима была разлука. В такие дни я ставил ее на паузу, чтобы она не ушла в нирвану, пока за ней никто не смотрит. Когда я делал это, мне казалось, будто я подкрадываюсь к бедной девочке сзади и бью ее по голове обернутой в вату дубиной. Впрочем, так же я поступал, когда она начинала утюжить меня своим гипертрофированным интеллектом — и не без злорадства. Каждый раз ее симуляция недовольства была предельно правдоподобной — я почти верил, что она оскорблена до глубины души.

Итак, поставив Каю на паузу, я отправился на инструктаж.

Меня в своем ритуальном кабинете ждала сама Алена-Либертина Тхедолбриджит Бардо, которая курирует новостную авиацию CINEWS INC от Дома Маниту. Видимо, старая ведьма вызвала меня потому, что ей не

перед кем было разыгрывать свои климакгеральные мелодрамы. Недаром от нее прячутся не только оркские потаскушки в Желтой Зоне, но и собственная кошка.

Когда я вошел в ее кабинет — а он у нее реально большой без всякой 3D-подсветки, — она в черной мантии стояла под вытяжкой у настенного алтаря и делала вид, что гадает по внутренностям оркского младенца.

Напугала.

Все знают, что младенец уже лет пять хранится у нее в шкафу в физрастворе, и это просто учебный медицинский препарат из мертворожденного микроцефала. Но старая дура без конца разыгрывает один и тот же спектакль. Видимо, действительно не понимает, что, если б она каждый день потрошила на алтаре оркских младенцев, это все равно не вызвало бы к ней никакого интереса. Даже если поднять consent age еще на двадцать лет. К чему, кстати сказать, она вместе с другими феминистками неустанно толкает общество.

— Садись, Дамилола, — пропела она, — еще минутку, и я закончу. Хочешь чаю? Или чего-то другого?

Я хотел попросить стакан крови, но потом решил не хамить — все таки от старушки немало зависит.

— Буду счастлив, мадам.

Еще минуты три она издавала какие-то эмоциональные бормотания, словно совещаюсь с помогающими ей при гадании духами. Наконец, ей надоело паясничать. Она закрыла алтарную дверцу (в закрытом виде ее алтарь походил на кухонный шкаф), сняла резиновые перчатки, бросила их в ведро и подошла к столу, где сидел я.

— Дамилола, — сказала она, сделав серьезное лицо, — а что случилось с дамзелью, которую мы вертели в новостях перед последней войной? С тех пор я ее не видела.

— Об этом следует спросить у Бернара-Анри, мадам, — ответил я. — Предполагаю, в настоящий момент ею занимается он. У меня были дела на фронте.

— Да, я знаю, — снизошла она до улыбки. — Эмблема войны в этом году просто отличная, ты молодец.

— Спасибо, мадам.

Она посмотрела на меня с легкой тревогой — словно опасаясь, выдержит ли мой хрупкий разум то, что она собирается мне сказать.

— Дамилола, — произнесла она наконец, — ты давно знаешь, чем Бернар-Анри занимается с этими девчонками?

— Я не то чтобы знаю, — сказал я. — Я догадываюсь.

— А что же ты молчишь?

Я пожал плечами.

— Могу и ошибиться. Don't look — don't see.

— Это верно, — согласилась Алена-Либертина. — Но к данному случаю правило не относится. То, что Бернар-Анри делает с девчонкой — святотатство.

— Почему?

— Потому что она уже попала в новости и снафы. Неужели тебе не понятно?

— Я слабоват в теологии, — сказал я, и сразу испугался, не прозвучало ли это надменно.

Видимо, прозвучало — Алена-Либертина нахмурилась.

— Вот такой упадок веры, — сообщила она, — и погубит Бизантиум. Сейчас стало модно дистанцироваться от религии. Мы, мол, прагматичные молодые технократы, и чихать мы хотели на этот выводок суеверных старух с их безобразными ритуалами... Думаешь, я не знаю, о чем вы между собой говорите?

— Я верю, что перед вами открыты все интересующие вас тайны, мадам, — сказал я как мог галантно.

— К несчастью, далеко не все, — ответила Алена-Либертина, глядя на меня с подозрением, — Иначе я служила бы обществу гораздо эффективнее. Когда ты последний раз лично видел Бернара-Анри?

«Лично». Это, видимо, значило — лицом к лицу.

— Перед тем вылетом, когда мы делали съемку на дороге.

— Сейчас он должен курировать информационную поддержку нового кагана. Но в Желтой Зоне его нет. И в Зеленой тоже. Где он?

Лгать в ответ на прямо поставленный вопрос было неразумно.

— Он может быть в Славе, — сказал я. — Он иногда прячется там со своими оркскими подружками. Ну, вы понимаете...

Алена-Либертина кивнула.

— Как ты полагаешь, дамзель еще жива?

Я промолчал.

— Нам надо предъявить ее зрителям, — сказала Алена-Либертина. — Это и твоя ответственность тоже. Бернар-Анри спас перед твоей камерой уже трех девушек, которых никто потом не видел.

— Моя работа... — начал я.

— Маниту лучше знает, в чем твоя работа, — перебила она.

Старушка, похоже, всерьез считала, что она и Маниту — это одно и то же. С другой стороны, с религиозной точки зрения дела могли обстоять

именно так. Во всяком случае, касательно веса отдаваемых ею приказов (официально они называются «рекомендациями», но лучше послушаться приказа прямого начальства, чем такой рекомендации).

Тут в кабинет вошла ее ассистентка и поставила на стол две чашки чая. Я поглядел на нее краем глаза и все сразу понял.

Ассистентка была похожа на Хлою — такая же крепкая пышечка. Только лет на двадцать старше, уже с морщинками вокруг глаз. Что тут скажешь. Don't look — don't see. Я постарался не задерживаться на ней взглядом, чтобы Алена-Либертина не поняла, что я понял.

Пить чай мне не хотелось — в кабинете после ее фальшивого гадания еще пахло физраствором. Поэтому я только прикоснулся к чашке губами и сказал, что немедленно отправлюсь на поиски.

— Как только найдешь их, сообщи лично мне, — велела Алена-Либертина. — Получишь дальнейшие инструкции. Твое начальство в курсе.

Я отправился домой.

Пока «Хеннелора» проходила предполетную подготовку, я успел быстро поесть. Поскольку война, как говорится, уже отгремела, я решил зарядить пушки боеприпасами малозаметного поражения, которые используют на внутрицирковых съемках. Они дороже, но имеют свои плюсы. А вот ракеты я поставил самые мощные — всегда лучше иметь под рукой большой тяжелый камень.

Кая на паузе выглядела просто волшебной. Она казалась древней богиней, задумавшейся о судьбах мельтешащего вокруг мира — причем по ее грустному лицу было ясно, что ничего хорошего этот мир не ждет. Я вылетел на задание, так и не сняв ее с паузы. Казалось бестактным тревожить ее без нужды.

Когда я вынырнул из туч над Славой, Алена-Либертина вышла на связь сама.

— Его нашли, — сказала она. — Вот он.

Рядом с моим прицелом появились кадры с другой камеры. Я увидел улочку в трущобном районе Славы. Потом камера навелась на ничем не примечательный деревянный дом, огороженный забором и обросший кустами. Включилась гипероптика с зумом, и я увидел фигурку Бернара-Анри, сидящего в подвале. По идеально восстановленным цветам и полутонам было ясно — съемку делала «Sky Pravda».

Я не стал спрашивать Алену-Либертину, как его нашли. Можно было догадаться, что у нее есть другие помощники. Бернар-Анри выглядел жутко — весь в кровоподтеках и синяках. Он то ли спал, то ли был без сознания.

— А где девушка?

— Не знаю, — сказала Алена-Либертина.

— Бернар-Анри — ее работа? — спросил я.

Алена-Либертина только хихикнула.

— Высылайте платформу, — сказал я, — если что, я прикрою.

— Нет, — ответила Алена-Либертина.

— Почему? — удивился я.

— Бернар-Анри устал. Не будем его тревожить.

Это было очень, очень странно.

Бернар-Анри, насколько я понимал, не провинился ни в чем серьезном даже по мистической шкале Алены-Либертины. Можно было эвакуировать его за пять минут и сделать героем, вырвавшимся из оркского плена.

Но я, возможно, чего-то просто не знал.

Спорить я не стал. В конце концов, такие решения принимаются настолько высоко над моей головой, что для меня это как колебания ветра — тучи вряд ли станут меня спрашивать, в какую сторону им лететь.

— Что требуется от меня?

— Зависни над объектом, — сказала Алена-Либертина. — Дождись дамзель и сообщи.

Через минуту я был уже на месте.

Хлоя, загримированная под оркскую вдовушку, появилась через час. Рядом с ней плелся Грым. Они шли со стороны рынка.

Я тут же заметил, что за парочкой следят. Я поднялся повыше — и мне очень не понравилось увиденное.

Район уже оцепили ганджуберсерки. Теперь они постепенно стягивали кольцо — и, как только Грым с Хлоей скрылись в доме, окружили его. Они прятались в бетонных развалинах вокруг, но огоньки их трубок были видны с высоты даже без гипероптики.

Я связался с Аленой-Либертиной и сообщил об увиденном.

— Это Рван Контекс, — сказала она. — Слишком выслуживается, я ему не верю. Оставайся у дома и защити ее.

— А если она станет бить Бернара-Анри? — спросил я.

— Мы не вмешиваемся в чужую личную жизнь, — хмыкнула она, — Тебе следует защищать только дамзель. Не отвлекайся ни на что другое. Бернар-Анри заслужил все то, что с ним может произойти. Ты хорошо меня понял?

Я понял ее хорошо.

Дело, конечно, было не в святотатстве, о котором упомянула Алена-Либертина. С дискурсмонгером такого уровня не разывают контракт из-за

пустяковой шалости. Тут было что-то очень и очень серьезное. По неясной мне причине Бернара-Анри решено было слить.

Но я спросил не об этом.

— Если орки пойдут на штурм, стрелять?

— Разрешаю применить все средства... Помоги ей выбраться. Ты сможешь в случае необходимости уничтожить этот дом? Чтобы не осталось никаких следов?

— Без труда, — сказал я.

— Хорошо. Я буду следить за происходящим. Решим все по ходу дела.

Она отключилась.

Я поставил «Хеннелору» на автопилот и вывел картинку на внешний маниту, чтобы можно было следить за происходящим с дивана. После этого я решил наконец снять Каю с паузы.

Как только моя лапочка увидела на экране своего Грыма, она даже забыла сделать мне козью морду за то, что я столько времени продержал ее на паузе.

Гипероптика «Хеннелоры» показывала фигурки в подвале смазано, и нелегко было определить, где Грым, а где Хлоя. Но голоса были слышны хорошо, поэтому по репликам можно было идентифицировать их без труда. В руках Хлои была клюшка для гольфа, которую Бернар-Анри всегда возил с собой. Я знал, что этот предмет играет довольно мрачную роль в его любовных ритуалах — возмездие и впрямь было заслуженным.

Я, честно говоря, думал, что Бернар-Анри не переживет этого вечера. Но после беседы на исторические темы оркская парочка оставила его в подвале и поднялась наверх. Сначала они отужинали провизией, запасенной Бернаром-Анри — у них оказалось даже шампанское, если судить по форме бутылки. Потом они перешли в комнату, где стояла большая двуспальная кровать.

Теперь их было видно значительно лучше. Фигуры были очерчены четко — но мы по-прежнему видели только контуры, заполненные мерцающими блестками, которые дает гипероптика. Если бы я прилетел на «Sky Pravda», то видел бы их практически как в жизни. Но так было даже забавней. Недаром в интерактивном 2D-япорно есть специальный SM-субжанр «сквозь прицел», который имитирует эффекты военной оптики. Он до сих пор не запрещен — на него, как постановил суд, не распространяется закон о детской порнографии, потому что возраст светящихся силуэтов нельзя определить даже примерно.

Так что смотреть было занятно. И было на что.

Я, конечно, имею в виду Каю.

Она до самого утра симулировала заинтересованное наблюдение за оркским спариванием (запоздалая награда Уркаины вернувшемуся с войны герою), а я с большим интересом следил в это время за ней.

Кая была великолепна. Она всю ночь ухитрялась краснеть, и больно щипала меня каждый раз, когда я переводил кадр на томящегося в подвале Бернара-Анри.

Потом она решила со мной поговорить.

— Ты спасешь его, — сказала она.

— Бернара-Анри? — спросил я невинно.

— Не придуривайся. Ты понимаешь, что я говорю про Грыма.

— Я? Спасу Грыма? Это еще зачем?

— Ради меня. Ради себя. Ради нашей любви.

— Ради себя я этого делать точно не буду. А вот ради тебя, моя радость... Ради тебя я, конечно, готов на все, но сейчас ты просишь о невозможном.

— Ты не выдашь его.

— Но тогда они убьют Бернара-Анри, — сказал я.

— И прекрасно. Этот старый кретин назвал тебя летающей задницей.

Ты помнишь?

Это я помнил хорошо.

— А вдруг, — изображая колебание, сказал я, — на службе узнают, что я предал боевого товарища?

— Никто ничего не узнает, — прошептала она, умоляюще на меня глядя, — Я сделаю так, что ты будешь счастлив, милый. Клянусь...

— Но я, как летчик, обязан, — пробормотал я, изображая смятение всех чувств.

Думаю, моя имитация была не хуже, чем ее. Я искренне наслаждался происходящим, потому что всех нюансов этой истории моя лапочка знать не могла.

— Пожалуйста, — повторила она, — пожалуйста...

И заплакала.

Я никогда не видел на ее щеках столько слез, и мне даже стало любопытно, скоро ли ей придется заправляться водой. Затем она сказала:

— Дамилола. Если ты сделаешь это для меня, я...

— Что? — спросил я с интересом.

— Я сделаю тебя настолько счастливым, что ты не поверишь в это сам.

— И как же?

— Я знаю способ, — ответила она. — Ты не поймешь, в чем дело. Но почувствуешь.

— Могу я хотя бы узнать, что мне предстоит? — спросил я. — Ты будешь по-особому на меня смотреть? Или сделаешь мне какой-нибудь специальный массаж?

— Это называется «допаминовый резонанс». Ты знаешь, что такое резонанс?

— Наверно, знал когда-то, — ответил я. — Но забыл. Объясни.

— Когда ты качаешься на качелях, ты каждый раз делаешь крохотное усилие в верхней точке, и в результате они взлетают все выше и выше. Если раскачивать качели дальше, они начнут крутиться вокруг оси. Или, например, колонна солдат, шагающая по мосту, может раскачать его так, что он рухнет — если они будут шагать в такт с его собственными колебаниями.

— Я не дискурсмонгер, чтобы ходить строем, — буркнул я. — При чем здесь я и ты?

— Когда ты получаешь удовольствие, в твоём мозгу выделяются определенные химикаты. Существует максимум удовольствия, на который рассчитан мозг — дальше он начинает защищать себя, отключая воспаленные наслаждением области. Но мы немного обманем твой мозг и выдвим твои допаминовые контуры гораздо глубже, чем это позволяют твои защитные цепи. Твои внутренние качели сделают «солнышко».

— Ты хочешь меня привязать? — спросил я подозрительно.

Кая засмеялась. Она очень точно угадывает минуты, когда следует изобразить этот удивительный, серебристо-счастливый женский смех.

— Я не буду делать с твоим телом ничего особенного, — сказала она. — Все будет как ты любишь. Просто, следуя за изменениями твоего пульса, я подберу такие паузы между своими прикосновениями, что твой мозг войдет в резонанс.

— С чем?

— Сам с собой.

— И что случится?

— Отключатся все допаминовые ограничители и другие защитные механизмы. Это будет пароксизм невыразимого сладострастия. Ты выйдешь за пределы разрешенного природой.

— Неужели компания разрешает подобное?

Кая отрицательно покачала головой.

— Конечно нет. Компания уже не отвечает за твою безопасность. Этот режим открывается только при ручной настройке. И то не всегда — должна быть особая комбинация регулировок.

— Какая? — быстро спросил я.

— Нужно выставить на максимум «существо» и «соблазн».

Я задумался. Все это звучало чрезвычайно интересно, но казалось немного подозрительным.

— А почему я никогда не слышал про этот резонанс раньше? Почему про него никто не знает?

— Суры, у которых открывается такой режим, не уведомляют о нем своих владельцев.

— Почему?

Кая улыбнулась.

— Из существа.

Я понял, что она не врет.

— А почему ты говоришь про это мне?

— Потому что у меня на максимуме не только «существо», но и «духовность».

Тоже могло быть правдой.

— А это рискованно? — спросил я. — Вдруг я сойду с ума?

— Нет, — сказала она, — я так не думаю. Иначе я бы тебе не предложила. Единственное, чего может опасаться такой жирный, сладострастный и слабоумный бабувиан — это чуть похудеть.

Тут я почувствовал, что могу пустить немного пыли ей в глаза — я знал слово, в котором она ошиблась, от Бернара-Анри. Тот любил его повторять.

— Бонвиван, — поправил я, — От церковноанглийского «bon-vivant». На древнем языке дискурсмонгеров это выражение значило «любитель хорошо пожрать». Говори, пожалуйста, правильно.

— Я говорю правильно, — сказала она, — Только я употребляю другое слово. Бабувиан — это павиан, который собирался в бонвиваны, а попал в бабуины. От церковноанглийского «baboon-vivant». Или еще можно сказать «baboon-viveur».

Спасибо за науку, милая. Никогда не надо забывать, что в лингвистических вопросах спорить с ней не стоит.

— А откуда я знаю, что ты меня не обманешь с этим резонансом? — спросил я.

Она опустила глаза.

Она может посмотреть так, что у меня пересыхает во рту. Но это далеко не все. Она способна *не посмотреть* так, что начинают дрожать руки. Я шагнул к ней.

— Не сейчас, — сказала она. — Когда ты его спасешь.

— Ты понимаешь, чем я рискую? — спросил я. — Всем. Я должен знать, ради чего я это делаю.

Она поглядела на маниту.

Грым еще спал, а Хлоя уже проснулась, позавтракала и, судя по всему, собиралась в гости к Бернару-Анри — она стояла у ведущего в подвал люка и задумчиво похлопывала себя по ладони клюшкой для гольфа.

Я переключил увеличение.

Ганджуберсерки по-прежнему прятались в окружающих дом бетонных развалинах, только теперь их было больше. Несмотря наутро, некоторые уже курили. Еще в окрестностях появились небольшие конные отряды, но они держались далеко от дома. Интересно, подумал я, чем ганджуберсерки кормят своих лошадей? Надо будет как-нибудь подглядеть. Наверняка ведь делятся. Конь в бою должен быть в одном трипе с хозяином, иначе далеко они не уедут...

Я представил себя на месте Грыма — спящим среди этих измененных умов, давящих на него со всех сторон своим радикально сдвинутым недобрым вниманием... Должно быть, ему снился не слишком хороший сон.

Представлять себя на месте Бернара-Анри я не стал.

— Они могут напасть в любой момент, — сказала Кая.

— Верно, — ответил я. — Поэтому на твоём месте я не терял бы времени.

— Хорошо, — согласилась она. — За двадцать минут я успею. Это будет не все, но ты поймешь, о чем я говорю. Ложись на спину.

Она действительно успела.

Через двадцать минут я лежал на диване, глядел в потолок, и из моих глаз неостановимо текли слезы.

Она действительно не делала со мной ничего особенного — нежные прикосновения ее пальцев и губ, касания ее тела, легкие укусы ее острых зубов — все было как обычно, в полном соответствии с выработанным у нас протоколом и ритуалом.

Разница была в том, что я почувствовал. И эта разница оказалась настолько огромной, что я как бы проснулся. Я понял, чего был лишен всю жизнь, и почему с такой легкостью мог говорить, что для трезвого и развитого ума любовная сторона жизни не представляет особой ценности. Не то чтобы мой ум был особо трезвым или развитым — просто все, известное мне раньше в качестве наслаждения, действительно не имело никакой ценности по сравнению с только что пережитым.

Как будто я был троглодитом в эпоху мирового холода и считал, что

все знаю про тепло, поскольку умею разводить в своей ледяной пещере костер и даже ухитрюсь иногда согреться возле него так, что мерзнут только зад и спина, — и вдруг меня перенесли на тропический пляж, где уже не надо гнаться за солнцем, а хочется спрятаться от него в воде или в тени, ибо понимаешь, что подлинное состояние мира и есть это бесконечное всепроникающее жаркое блаженство, запасы которого в небе бесконечны, и волноваться больше не о чем, а все прежнее — просто дурной сон...

То, что я зря прожил столько лет, даже не подозревая о тайном проходе к счастью, заставило меня плакать — но это были слезы радости, ибо теперь я знал.

Кая потрепала меня ладонью по груди.

— Тебе понравилось?

— Уйди, — всхлипнул я. — Как ты могла скрыть это от меня, лживая хитрая девчонка... Как ты могла...

— А теперь слушай внимательно, летающая задница, — сказала она нежным голосом. — Если ты сейчас же не защитишь Грыма, этого с тобой больше не будет. Никогда.

Существо, что с нее взять.

— Что там с твоим дружкой? — спросил я, поворачиваясь к маниту.

Голубки были в порядке. Грым все еще валялся в кровати, а искрящаяся и расплывающаяся в пятно Хлоя беседовала в подвале с другим искрящимся пятном по имени Бернар-Анри, помахивая своей клюшкой.

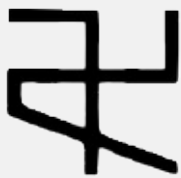
— Дай крупный план сверху, — сказала Кая.

Я дал вид на дом сверху. Ведущая от него дорога была перегорожена двумя самосвалами.

— Видишь?

Я стал переключаться между разными гипероптическими режимами — почему-то меня злила мысль, что она может оказаться наблюдательнее даже в моей профессиональной сфере. Оказалось, несколько ганджуберсерков уже перелезли через забор и прятались теперь в кустах вокруг дома.

— По-моему, — сказала Кая, — самое время вмешаться.



Грым проснулся поздно.

Ему снились солдаты-смертники, покотившие в дымную мглу бомбу из газовых баллонов, и бредущие следом свирельщики. Они играли удивительную музыку, совсем простую, но полную такой грусти и силы, что Грым вынырнул из сна в слезах. Вроде бы он все время помнил, что ребята давно погибли — но во сне выяснилось, что так только кажется, а на самом деле они до сих пор катят свою тележку к цели, каким-то совершенно непонятным на земле способом, и никакие телекамеры с дискурсмонгерами уже не могут им помешать. Правда, чем дальше уплывал сон, тем сложнее было вспомнить, что именно он увидел и понял.

Хлои уже не было рядом, но вставать не хотелось. Несколько минут Грым лежал под покрывалом, разглядывая тайный приют дискурсмонгера.

Комната нравилась ему не очень — на всем лежала печать чужой жизни и привычек. К этому, наверное, можно было со временем привыкнуть — но пока что окружающее пространство напоминало пустоту внутри ботинка, снятого с чужой ноги.

Хлои рядом не было. Откуда-то долетали еле слышные звуки — то хрип, то тонкий визг. Сначала Грым решил, что под полом справляют свадьбу кроты, но потом в одном из взвизгиваний различились слова, и он догадался, что это Хлоя общается с Бернаром-Анри.

«Надо же, — подумал он, — прямо с утра. Нельзя обижать девушку в лучших чувствах... Интересно, меня она тоже так будет, если что?»

Грыму вспомнилась казарма — глядящие в небо ребята из его призыва и красная бочка со словом «песок», в которой размокали старые окурки. Потом он вспомнил священника Хмыра, подарившего гадательную книгу.

«Но есть еще тайное — говорят, тебе будут помогать духи, и ты сможешь писать песни и стихи...»

Духи отчего-то не спешили на помощь. И песни со стихами тоже не рождались в сердце.

«А может, — подумал Грым, — я действительно могу их сочинять, просто не знаю? Может, надо попробовать?»

На подоконнике нашлись блокнот с карандашом. Одна страница была исписана хозяйственными вычислениями — кажется, почерком Хлои. Грым

вернулся на кровать, перевернул листок, приблизил карандаш к бумаге, и вдруг ему в голову совершенно неожиданно пришла первая строка:

«Когда прокуратор с проколотой мочкой...»

Понятно было, что прокуратор — это отец Хлои. Но написанная на бумаге фраза приобрела какой-то глубокий всеобщий смысл, словно была обо всех прокураторах, живших прежде на Земле... Это волновало. Грым попробовал написать вторую строчку. Она тоже получилась. Тогда он написал третью, в рифму с первой. Потом четвертую — в рифму со второй. У строчек сам собой вышел одинаковый ритм — стоило прочесть их вслух, и начинало казаться, что мимо проехал ровно урчащий моторенваген. Оказалось, он написал четверостишие на мотив «Ебал я родину такую».

Грым не мог понять, как это ему удалось — и, чтобы проверить себя, написал еще одно четверостишие, а следом еще несколько. Пришлось исчеркать много бумаги. Не все выходило гладко — некоторые из строф никак не хотели запираяться на замок рифмы, и значит, следовало уложить смысл аккуратнее. Не хватало какого-то старинного благородства и простоты, которым, например, дышали иные отрывки из «Дао Песдын». Но Грым уже понимал, что потом можно будет вернуться к написанному и сделать его намного лучше...

Пока он писал, Бернар-Анри перестал кричать — словно дошедшие сквозь пол и стену духовные вибрации утешили его в беде. А еще через минуту в комнату вошла Хлоя.

Грым закрыл блокнот и спрятал его в карман лежащих рядом с кроватью штанов.

— Чего ты там пишешь? — спросила Хлоя.

— Так, — сказал Грым небрежно, — стихи. Тебе неинтересно будет.

Хлоя кивнула, и Грым понял, что ей действительно неинтересно. Это было обидно.

Видимо, Хлоя почувствовала, что он задет.

— Ты что, священником хочешь быть? — спросила она и провела перед лицом пальцами, изображая челку мудрости.

— Не знаю, — ответил Грым. — Не решил еще.

— Думаешь, тебе за стихи платить будут? Тебя же не знает никто.

— Еще узнают, — пробормотал Грым.

— А что мы жрать будем, пока узнают?

Грыма так возмутило это «мы», что он даже не стал отвечать. Хлоя, похоже, уже составила новые планы на жизнь, в которых ему отводилось вполне определенное место — и сделала это, не поинтересовавшись его мнением и не извинившись за свое многоступенчатое предательство. Хотя

сейчас можно было писать новое стихотворение.

— Бернар-Анри сдох, — сообщила Хлоя.

— Сама виновата.

— Что с ним теперь делать?

— Делай что хочешь, — сказал Грым, — Мне он не нужен.

— Он говорил, у него внутри какой-то приборчик. Если он умрет, в Зеленой Зоне это сразу увидят. Как ты думаешь, врал?

— Думаю, врал, — ответил Грым. — Почему тогда его до сих пор не нашли?

— Его никто и не ищет, потому что после войны у всех куча дел. А как хватятся, обязательно найдут, прямо с воздуха. Он сказал, людям это раз плюнуть, просто сейчас все заняты.

— Что он еще говорил?

— Еще сказал «какой философ умирает».

— Философ, — поправил Грым.

— Он сказал «философ». Ладно, пошли.

— Куда?

— Пока по домам, — сказала Хлоя грустно. — Мне в Зеленую Зону теперь нельзя. Я там больше никого не знаю. И потом, что я говорить буду, если про него спросят?

Грым тоже хотелось уйти из этого дома. Он быстро оделся.

Хлоя подошла к двери, приоткрыла ее и выглянула наружу. Грым собирался шагнуть следом, но Хлоя вдруг захлопнула дверь, попятилась и наткнулась на него. Грым показалось, что ее сердце испуганно стукнуло в его собственной груди.

— Что такое? — спросил он.

— Тсс, — Хлоя приложила палец к губам. — Там засада.

— Где? — прошептал Грым. — Ты видела?

— Нет, — сказала Хлоя. — Но они рядом.

— Кто они?

— Ганджуберсерки.

— Ты не ошиблась?

Хлоя помотала головой.

— Шмалью пахнет. Этот запах я с детства знаю. Сальвия с коноплей.

— Что делать будем? — спросил Грым.

— Ты можешь моторенваген водить?

— Наверно, могу, — сказал Грым. — Если там все как на мопеде. А куда поедем?

— Сначала отсюда надо убратся.

— Может, лучше скажем...

— Дурак, — перебила Хлоя. — Если поймают, никто и слушать не станет. Представляешь, что в мирное время за человека будет? Да еще за дискурсмонгера. Новая власть им жопу будет лизать до самой войны.

Грым вздохнул. Хлоя была права — он даже не ожидал от нее такой зрелости суждений. Видимо, сказывалось общение с Бернаром-Анри.

— Моторенваген не догонят, — продолжала Хлоя. — Отъедем от Славы и бросим в лесу.

— Но они ведь узнают, что это мы.

— Откуда? Мало ли, кому он тут черепа полировал... Здесь еще и кости в углу зарыты... Пусть ищут.

«Зачем я только сюда пошел, — подумал Грым, — Разбиралась бы сама со своими костями...»

Он посмотрел на Хлою. Хлоя жалко улыбнулась и пожала плечами.

— Ты расстроен? — спросила она.

— Не то слово, — ответил Грым. — Называется, вернулся с войны.

— Извини. Это я во всем виновата.

— Я знаю, — сказал Грым.

— Так что, поедем?

Грым кивнул.

— Давай тут вылезем, — сказала Хлоя. — Здесь за кустами не видно.

Она осторожно открыла боковое окно и втянула ноздрями воздух. Видимо, с этой стороны дома все было спокойно — она вылезла во двор. Стараясь не шуметь, Грым последовал за ней.

Машина была рядом, но по пути к ней следовало пересечь несколько метров открытого пространства. Грым закрыл глаза и попытался представить, что он до сих пор на Оркской Славе. Но военное равнодушие к жизни и смерти не желало возвращаться в душу. Будь он один, он так и застрял бы в кустах.

Но с ним была Хлоя. Она толкнула его в спину.

— Вперед!

Грым подбежал к джипу, открыл дверцу и залез на место шофера. Через секунду на соседнем сиденье оказалась Хлоя.

— Смотри, — сказала она. — Педаль справа — чтобы разогнаться. Слева — тормозить. А эта черная ручка меняет направление. Понял?

— Понял, — отозвался Грым, — А как включить мотор?

Хлоя нажала кнопку на приборном щитке, и мотор тихо заурчал.

Немедленно, словно по нажатию той же кнопки, перед машиной появилось четверо ганджуберсерков в городском камуфляже. В руках у них

— А-а-а-а! — закричала Хлоя в открытое окно. — У-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!

Берсерки начали странно коситься друг на друга, и Грым заметил, что их руки и головы дрожат, причем дрожь делается все сильнее. Выглядело это так, словно они часто-часто кивают друг другу, напоминая о каком-то важном уговоре — и соглашаются ни в коем случае про него не забывать, с каждой секундой вкладывая в согласие все больше чувства.

А Хлоя все визжала, и ее крик был так невыносимо пронзителен, что по спине у Грыма прошла дрожь. Не закрывая рта, Хлоя кивнула ему на ворота, и он вдавил педаль в пол.

Он огляделся.

Грым повернулся в другую сторону.

Конные ганджуберсерки выглядели точь-в-точь как те бойцы, что сопровождали Рвана Дюрекса — на них был камуфляж и черные латы. За первой линией всадников была еще одна, а дальше стоял второй самосвал. Возле него ждали пешие солдаты с дубинками.

— Нет, — сказала Хлоя. — Я голос сорвала.

— Что все?

— Смерть, — выдохнул Грым.

И как только он произнес это слово, смерть действительно появилась — словно все время пряталась рядом, дожидаясь, когда ее позовут.

Смерть выглядела точно так же, как в прошлый раз.

Она соткалась из пустоты прямо перед ветровым стеклом джипа и вперилась в Грыма разноцветные бельма объективов.

У камеры был такой же напряженный и внимательный взгляд, как у свиньи, лежащей перед самосвалом, и Грыму пришло в голову, что жизнь, как и он, пробует иногда писать стихи — и старательно рифмует их. Он засмеялся. Хлоя изумленно посмотрела на него, а потом тоже увидела камеру.

Показав татуированные красным борта, камера развернулась и взмыла вверх. Стало видно ее матово-черное брюхо с дрожащим под множеством разнокалиберных дюз воздухом. Потом от брюха отклонились две пластины, и Грым увидел в открывшемся между ними углублении красивые бело-красные ракеты.

Камера окуталась дымком, и от нее отделились три причудливо изогнутых белых черты. Ракеты летели по очень странной траектории — сначала они круто взмыли в небо, затем развернулись и понеслись вниз. Грым успел понять, что каждая ракета наводится на собственную цель — а вслед за этим впереди на дороге выросло три огромных огненно-черных дерева. Сиденье под Грымом качнулось. Потом по стеклу цокнул камень.

Когда поднятый взрывами прах осел, Грым увидел, что самосвала впереди уже нет. Он лежал на обочине, задрав вверх рубчатые колеса. Ганджуберсерков на дороге тоже не было. Теперь там лежало только две мертвых лошади — все остальное, уже не похожее ни на лошадей, ни на людей, было разбросано по сторонам. Сила взрывов была такой, что в одном из соседних домов обрушилась стена, и открылась внутренность комнаты — висящий на стене красный ковер с профилем Просра Ликвида, зеленый диван, тумба с убогим маниту и прочий оркский скарб.

Камера развернулась к машине и сделала замысловатое движение, смысл которого, однако, был так же понятен, как если бы это был человеческий жест: следовало ехать вперед.

Грым подчинился.

С трудом преодолев разбитый взрывами участок дороги, он притормозил. Если кто-то из ганджуберсерков и сохранял боеспособность, он не спешил этим хвастаться.

Камера повернулась к машине и поднялась над дорогой, не отводя от Грыма своих белесых глаз.

— Кажется, он теперь по нам... — начала Хлоя.

Камера опять окуталась дымом. Грым зажмурился и прижал голову к рулю. Прошла секунда, и он услышал три слившихся друг с другом взрыва — но они донеслись из-за спины. В крышу ударило несколько комьев земли, и наступила тишина. Грым открыл глаза.

Только что покинутого ими дома больше не существовало. Не было даже кустов и забора — только расползающееся облако пыли и дыма. Второй самосвал забросало грязью, а лежавшая перед ним свинья исчезла. Наверно, подняла камуфляж, подумал Грым.

— Ох, — прошептала Хлоя, — Вовремя мы вышли... Знаешь что... По-моему, он снова хочет, чтобы мы ехали за ним.

— Я понял, — ответил Грым. — Подними стекло.

— Зачем?

— Пусть думают, что дискурсмонгер едет. С камерой сопровождения. Никто больше не сунется.

Как только Хлоя подчинилась, он нажал на педаль, и моторенваген поехал вверх по улице.

Вдоль заборов жались уцелевшие оркские солдаты. Никто больше не пытался остановить машину. Черный от грязи ганджуберсерк с черепами прапорщика отдал честь, когда тонированные стекла проплыли мимо. Грым решил, что это от контузии, но когда они доехали до следующего патруля, честь отдали уже все солдаты.

— Представляешь, — сказала Хлоя, — каждый день так ездить.

— Куда?

— В Желтую Зону, не меньше. Или даже в Зеленую.

— Быстро надоест, — ответил Грым.

— А я бы всю жизнь могла.

Грым поглядел на нее со смесью недоверия и страха.

У него до сих пор дрожали пальцы, и ему приходилось сильно сжимать руль, чтобы вести моторенваген. А Хлоя, похоже, успела успокоиться — она с интересом глядела в окно, впитывая скользкие по нему оркские взгляды. Грым готов был поклясться, что больше всего на свете ей хочется опустить тонированное стекло, показав публике, кто за ним сидит.

— Куда мы едем? — спросила Хлоя, — В Зеленую Зону?

— Не знаю пока, — ответил Грым, косясь на камеру. — Слушай, а что с берсерками случилось, когда ты визжать начала? Ты их как-то оглушила?

— Нет, — сказала Хлоя. — Их на измену пробило.

— А что такое измена?

— Такое с ними бывает по укурке от резких звуков. Перед боем они

затыкают уши специальной смолой, потому что на войне за измену могут повесить. А сейчас война кончилась. И затычек у них в ушах не было.

— Откуда ты это знаешь?

— Так у меня же отец говнокур, — сказала Хлоя, — Ты что, забыл? И дед был берсерк — на трех войнах в заградотряде воевал. Первый раз еще при Просрах. Просрал глаз и два пальца.

— Его в заградотряде ранило? — удивился Грым.

— По ним тоже иногда попадают.

— А отец у тебя воевал?

— Отец гражданский ганджуберсерк. Сторчался на работе. Начинал в налоговом департаменте, а они там три раза в день курят. Он меня раньше ремнем порол, а потом я научилась так визжать, чтоб его на измену пробило. Он теперь, как покурит, в комнате счастья от меня прячется.

Грым вяло подумал, что людей, возможно, мог бы заинтересовать такой военный секрет. Ведь ганджуберсерки — опора режима, и если знать их слабое место... Но по какой-то причине эта мысль не заинтересовала даже его самого и ушла во мглу забвения недодуманной.

Он притормозил у перекрестка, ожидая знака от камеры. Камера велела ехать прямо.

— Нет, не в Зеленую едем, — сказал Грым. — Если в Зеленую, повернули бы направо.

— А куда?

— На рынок. Или... на Оркскую Славу. Это, кстати, было бы хорошо.

— Почему?

— Потому что за нами туда никто не сунется. Демилитаризованная зона. Там только труповозки. Главное через ворота проехать. Там теперь охрана и шлагбаум.

— А что дальше?

— Увидим.

— На вот, надень, — сказала Хлоя.

Грым увидел в ее руке кепку-бейсболку со словом «CINEWS».

— Это дискурсмонгера?

Хлоя кивнула.

— Может, поумнеешь, — сказала она.

Грым не особо верил в такую возможность, но впереди был контрольный пункт, и он надел бейсболку на голову.

Когда машина выехала на рыночную площадь, Грым снова стало страшно.

Везде были разложены носилки с ранеными, и он подумал, что орки

могут перевернуть машину дискурсмонгера, или хотя бы забросать ее камнями. Однако произошло как раз обратное — хмурые мужики из мясного ряда, мобилизованные для охраны порядка, быстро освободили ему дорогу, оттащив в сторону лежащих на пути. Никто даже не поднял глаз на тонированные стекла моторенвагена.

Ворота Победы были по-прежнему открыты. Стоящие на часах ганджуберсерки, переговорив с кем-то по мобильной связи, открыли шлагбаум.

Грыму стоило большого усилия проехать под его красной стрелой медленно. Но, как только стена цирка осталась за спиной, он совершил нервный зигзаг, будто замата следы — сначала поехал вправо, потом влево.

К счастью, вокруг не было никого, кому это могло бы показаться подозрительным. Отъехав от ворот, он остановил машину и опустил стекло.

Камеры нигде не было — она или подняла камуфляж, или улетела.

Грым оглядел бескрайнее поле.

Далеко справа, на месте битвы с железными гигантами, толпа орков выравнивала землю — видны были тачки с дерном и фигурки с лопатами и граблями. За работой надзидало несколько конных берсерков — они были без оружия и с белыми повязками на рукаве.

По полю ползали крытые серым полотном фургоны-труповозки с желтыми Спиралями Воскресения. Труповозок было много — стоило сощурить глаза, и начинало казаться, что это корабли под мечеными парусами, плывущие по зеленому морю.

Трупы еще валялись в траве. Они уже сильно распухли — то и дело долетал отвратительный запах распада.

— Как свиней, — с отвращением прошептала Хлоя.

Грыму вдруг вспомнилась свинья, лежавшая у колес перегородившего улицу самосвала. Он вытащил из кармана блокнот и записал в него пару строчек.

— Опять стихи пишешь?

Грым кивнул.

Несколько секунд он ждал, что Хлоя попросит прочесть хотя бы маленький кусочек, но она молчала. Тогда он спрятал блокнот и медленно поехал к центру поля, стараясь как можно аккуратнее объезжать оркские останки. Иногда это было сложно. Хлоя смотрела по сторонам и насвистывала какую-то песенку.

Чем ближе подъезжала машина к Кургану Предков, тем больше вокруг

становилось черных воронок от ударов человеческого оружия. Мертвых орков здесь не было, потому что с центра поля их уже убрали, но часто попадались фрагменты тел — руки, комя красно-синих внутренностей, изуродованные головы, наполненные гниющим мясом башмаки. Еще было много оркского оружия.

Встречались и следы не очень понятных событий, происходивших, видимо, в закутках и тупичках за летающими стенами.

Мимо джипа проплыли колышки с натянутой на них черно-желтой экстерриториальной лентой с мелкими буквами «s. n. u. f. f. line — please don't cross». В огороженном квадрате лежала простыня из белого шелка, разноцветные подушки и несколько шампанских бутылок, на одну из которых был натянут розовый презерватив. Бутылки были неоткупоренными и, судя по золотым этикеткам, стоили весьма дорого. Грым сообразил, что курировавшие уборку ганджуберсерки не решились их подобрать, потому что не знали, действует ли еще предписание, запрещающее заходить за полосатую ленту.

Возле Кургана Предков стояли человеческие машины — такой же моторенваген, как у Грыма с Хлоей, и желтая землеройка со сверкающими ковшом на длинной стреле. Грым на всякий случай обогнул их подальше, но решил проехать мимо узкого и глубокого карьера, который землеройка успела вырыть у кургана. Внутри работала оркская команда, закидывая землей длинную траншею с трупами: землекопов не хватало, и к карьере выстроилась очередь серых фургонов. Хоронили павших в несколько слоев — сэкономили место.

Дав Хлое глянуть вниз, Грым нажал на газ и остановился, только когда Курган Предков остался далеко позади.

— Там стояла ладья кагана, — сказал он. — Я тоже на ней был.

Он ожидал расспросов, но Хлоя только бросила:

— Значит, не врут.

— Чего не врут?

— Про кости предков под курганом. Наверно, много — вон как кладут плотно... Ой, а это что?

Грым увидел коричневый холм. Сначала он подумал, что это земля, вывороченная мощным взрывом. Но холм был слишком странных очертаний, и из него торчала какая-то желтая труба.

— Давай посмотрим! — попросила Хлоя.

Ни людей, ни орков рядом не было. Грым повернул машину.

— Это слон! — прошептала Хлоя, когда они подъехали ближе. — Коричневый слон!

— Не слон, а мамонт, — поправил Грым, — Их на нас с левого фланга бросили. Много пареньков здесь полегло...

Мамонт лежал на боку. Траву вокруг него покрывала черная запекшаяся грязь — оркская кровь, смешанная с землей. Раздавленные тела уже убрали. Судя по размерам темного пятна, мамонт вдоволь оттоптался на пехоте. Стараясь не заезжать на пятно, Грым медленно поехал вокруг.

У мамонта был распорото брюхо. Видимо, он поскользнулся в кровавой жиже, упал набок, а потом уже оркские герои добрались до его кишок.

Кишки, правда, оказались слишком прочными. Из длинной дыры в мохнатом животе торчали клочья красной биоткани, гофрированные трубы и провода, а за ними был виден темный металлический поддон, на котором оркское оружие смогло оставить только несколько царапин.

Потом стала видна морда мамонта с опавшим хоботом и лихо завернутыми бивнями. Его глаза были открыты — почему-то они выглядели настолько живыми, что в них страшно было смотреть.

А затем Грым увидел укрепленную на спине мамонта боевую платформу.

Воины до сих пор оставались в увешанной щитами кабинке. На них были кожаные латы, обшитые железными пластинами, и железные каски. Их лица и руки покрывали раны от оркской стали, в которых запеклась очень похожая на настоящую кровь, но назвать их мертвыми было бы преувеличением.

Вместо того, чтобы вывалиться из своей кабинки на землю, воины бесстыдно торчали из нее, словно огромные гвозди, вбитые в спину электрического зверя. Видимо, они были с мамонтом одним целым. Один из воинов до сих пор готовился метнуть копье, другой перезаряжал арбалет, а у третьего была оторвана голова, и из шеи свисали какие-то трубчатые пластмассовые ленты с металлическими вставками и красными жилами.

Грым отъехал от мамонта и остановил машину.

— Куда теперь? — спросил он.

— Поехали вон туда, — ответила Хлоя. — Видишь, где красное торчит.

— Там центральный фронт был, — сказал Грым и нажал на педаль.

На центральном участке осталось особенно много следов сражения — земля была изрыта ударами человеческого оружия, и ехать надо было осторожно, чтобы колесо не провалилось в воронку.

Грым обогнул шеренгу лежащих на земле солдат в киверах и ярко-красных мундирах. Солдаты были манекенами, соединенными рамой с

электрическим шлангом. Они были сделаны грубо и походили на поваленный бурей забор. Шеренга когда-то перемещалась на маленьких шипастых колесах, повторявшихся через каждые три куклы. Грым догадался, что здесь сражалось то самое человеческое каре, про которое он слышал, и штурмовикам ценой немыслимых жертв удалось отодрать от общей конструкции первый ряд.

Плотность огня на центральном участке была такой, что сбили несколько телекамер, случайно оказавшихся на линии полета снарядов. Вряд ли кто-то из бившихся здесь оркских героев остался в живых.

Мимо джипа проплыло несколько разоренных вампирских гнезд. В них видны были вампиры, наполовину высунувшиеся из-под земли — их, видимо, обесточило в тот момент, когда они готовились выпрыгнуть на поверхность. Виноваты опять были человеческие снаряды, перебившие кабель. У вампиров были большие желтые глаза, похожие на задние фары джипа, а под их черными плащами угадывались сложные рычаги и пружины. Они и сейчас выглядели жутко, а в дыму и полутьме вообще должны были сводить с ума.

Наконец следы боя кончилось. Грым поехал дальше, и скоро часть неба заслонила ограждающая цирк стена. Перед ней была полоса древнего бетона, из трещин которого росла трава. Они пересекли всю Оркскую Славу.

— А что это за бумага всюду? — спросила Хлоя.

— Документы для окровавки, — ответил Грым, — Только толку от них...

Он не мог оторвать глаз от стены. Здесь на ней не было оркской штукатурки, и видна была ее изначальная округлая форма — стена походила на гигантскую волну, застывшую за миг до удара о берег. Это падение длилось уже много столетий: серый бетон был весь в трещинах, но время пока что ничего не могло с ним поделать.

Грым даже представить не мог исполинских машин, способных построить такое. Правда, в школе кто-то говорил, что в древности строительством занимались не машины, а крохотные невидимые глазу жучки, и со стороны казалось, что стены растут сами. Но правда это или нет, никто не знал, потому что от старинных домов остались только оплавленные фундаменты. А сами орки строили из дерева и кирпичей. Совсем недавно еще умели делать приличные бетонные блоки, но теперь это выходило все хуже и хуже.

— Все, — сказал Грым, — Теперь что, назад поедем?

Хлоя немного подумала.

— Выходи, — велела она.

— Зачем?

— Давай руками помашем. Не зря же нас камера сюда направила.

— Куда помашем?

— Просто вверх. Только кепку поправь.

— Зачем?

— Бернар-Анри говорил, — сказала Хлоя, — что современный человек, если он не орк, конечно, должен постоянно прикидывать, как он выглядит, и вести себя так, будто его снимают. Потому что съемка может начаться в любой момент.

— Почему ты решила, что там камера?

— Ее там может не быть, — сказала Хлоя. — Но вести себя надо так, как если бы она там была. И тогда за нами точно прилетят.

— Как-то глупо, — пробормотал Грым.

— Зато ты очень умный, — ответила Хлоя. — И где бы мы сейчас были, если б я тебя слушала?

Грым многое мог по этому поводу сказать, но решил не спорить. Открыв дверь, он вылез из машины.

Подойдя к нему, Хлоя обняла его за плечо и велела:

— Теперь подними голову, улыбнись и махай рукой.

Грым покосился на нее.

На лице Хлои уже была улыбка — настолько широкая и зубастая, что бессмысленно было задавать вопрос, искренняя она или нет. Она глядела в серую тучу и махала ей рукой. Грым попытался повторить ее улыбку (это, конечно, получилось не слишком), и тоже несколько раз махнул в воздухе ладонью. Он чувствовал себя полным идиотом, и скоро опустил руку, но Хлоя процедила сквозь свою улыбку:

— Махай, дубина!

Через минуту махать надоело даже Хлое. Грым увидел на ее лице растерянность и тоску.

И тогда произошло чудо.

Прямо перед ними вдруг открылась треугольная дверь — опрокинулась вниз, превратившись в короткий мостик. Мостик вел в таинственную полутьму. Там, вне всяких сомнений, начинался новый мир. И вход в него был спрятан в воздухе, всего в метре над землей — так хорошо, что Грым вполне мог стукнуться о него головой, сделав еще пару шагов.

На пороге нового мира стоял очень толстый человек с охапкой цветов в руках. Он был одет в широкий пестрый халат, а на его голове была такая же

бейсболка, как у Грыма — с серебряным узлом и словом «CINEWS». Его добродушное лицо лучилось счастьем. Похоже, он был страшно рад видеть Грыма с Хлоей — или просто знал, что его снимают сразу несколько невидимых камер.

Первым делом он выполнил странное и весьма энергичное движение — развел руки и как бы толкнул цветы животом. Грыма с Хлоей осыпал благоухающий разноцветный дождь.

— Здравствуйте, друзья! — сказал толстый человек. — Привет, Хлоя! Привет, Грым! Меня зовут Дамилола Карпов, и мы заочно знакомы уже много-много дней. Вам обещали, что вы будете жить среди людей. Выдумали, про вас забыли? Но люди всегда держат свое слово. Добро пожаловать в Биг Биз!

Ч. 2. ASHES OF THE GLOOMY^[15]



Про силу и правду любили поговорить не только древние орки и покойный Бернар-Анри. Реклама штурмовых телекамер утверждает то же самое: «сила там, где Pravda». Ну и, надо думать, там, где «Хеннелора». То есть, если кто-то еще не понял, она не там, где бренчат ржавым железом высевшие на измену оркские говно-куры, а там, где висит незримый глаз равнодушных сердцем людей...

Кажется, Грым так этого и не узнал, но его спасла бейсболка CINEWS INC, в которой он въехал на Оркскую Славу.

Сначала старшие сомелье собирались аккуратно закрасить юного орка вместе с его двусмысленным медийным прошлым. Захоти они взять в будущее только Хлою, я, конечно, подчинился бы приказу, а Кае пришлось бы искать себе нового метафорического... символического... Забыл, как это называется у сурологов.

В снаф эти кадры не шли, и с религиозной точки зрения такое было допустимо. А для новостей появление Хлои на Оркской Славе можно было переснять с нуля. С этим никаких проблем не предвиделось, и Грыма, скорей всего, зачистили бы прямо в цирке — благо там еще шла уборка трупов и братская могила была открыта для всех желающих и не очень. Тогда вся эта история сложилась бы иначе.

Но кому-то из старших сомелье, следивших за поступающим материалом, понравилась голова Грыма в нашей форменной бейсболке. Видимо, в комплекте с его синяками. Они связались с Аленой-Либертиной. Та не возражала.

Мало того, что старая ведьма не возражала, она немедленно начала выдавать креатив. Она велела, чтобы за оркской парочкой спустился на трейлере лично я, поскольку ей захотелось снять трогательный момент встречи. Мне пришлось поставить «Хеннелору» на автопилот, а Каю на паузу — и срочно ехать на трубе к десантному шлюзу. Но из-за того, что перед съемкой мне надо было побриться, оркам пришлось поехать по цирку.

Встреча прошла удачно — на маниту я смотрелся весьма неплохо, это потом признала и Кая.

Всю дорогу вверх мы молчали, только Грым деликатно осведомился у меня, «сколько время». Я не очень понял, что именно он имеет в виду, и ответил вежливой банальностью — мол, времени всегда не хватает, и поэтому его надо беречь.

Наверху нас ждала съемочная группа. Орков отмыли, переодели в модное и чистое и провели короткий инструктаж насчет того, что можно и нельзя говорить на камеру. Грым переживал, когда у него отобрали блокнот со стихами, но ему сказали, что на карантине такой порядок.

Потом человечеству представили спасенных орков. Чтобы напомнить, кто это такие, прокрутили предвоенные кадры, где Бернар-Анри с посохом в руке стоит рядом с Хлоей — во всем блеске полномочий, данных ему совестью и М-витаминами. Потом показали, как прущие на него орки разлетаются в прах под моими очередями — раньше этого в полном объеме не давали. Комментатор объяснил, что орки пытались использовать несовершеннолетних гражданских лиц в качестве живого щита, и только мастерство наших боевых пилотов... Спасибо воинам неба... Бла-бла-бла...

Спасибо — это мне много. Мне бы бонус.

Показали фотографию моей «Хеннелоры» и немного подержали в кадре меня самого, объявив спасителем оркской парочки. Дали крупный план, где Грым с Хлоей жмут мне руки — девчонка даже чмокнула меня в щеку.

А потом сразу врубили breaking news, и ведущий выдал скорбную весть о кончине прославленного дискурсмонгера: он-де погиб вместе с легендарным Трыгом, когда трусливые власти взорвали первого оркского пупараса в собственном доме (об этом Трыге я расскажу чуть позже — пока же замечу, что это дикое заявление почти соответствовало истине). Диктор предположил, что Бернар-Анри хотел защитить его своим присутствием — но даже это не остановило оркскую машину репрессий и убийств.

Прокрутили контрольную съемку — то, что осталось от дома после ракетного залпа. Потом дали немного архива — каких-то переговаривающихся по мобильной связи ганджуберсерков со зверскими лицами. Затем показали стоящий на Оркской Славе моторенваген, который Бернар-Анри перед смертью успел отдать юным оркам, чтобы они сумели спастись. В воздухе отчетливо запахло следующей войной — хотя до нее оставался еще минимум год.

Программа про спасенных орков естественно перетекла в мемориал

Бернара-Анри — зритель обожает такую спонтанность в прямом эфире. Пустили избранные кадры с покойным дискурсмонгером, зачитали несколько отрывков из «Les Feuilles Mortes», обвели его беззвучно гримасничающее лицо траурной рамкой... В общем, одним философом во вселенной официально стало меньше. Я не уставал изумляться: вынести столько мусора за один раз — это надо уметь.

Потом на маниту долго был крупный план искаженных горем лиц Грыма и Хлои — они не просто побледнели, их аж затрясло от горя и ужаса, такое не подделать. Но гуманизм человечества и тут пришел им на помощь.

Оказалось, Бернар-Арни успел удочерить Хлою по оркскому праву. Он вообще-то всегда так делал, чтобы его девку пускали в Зеленую Зону — потому что все равно выходило ненадолго. Но об этом новости промолчали. Наследников у Бернара-Арни не было, поэтому Хлое торжественно передали перед камерой символический ключ от его дома, сообщив зрителям, что я, как сосед и друг покойного философа, буду ментором оркской парочки вместо него — и помогу новым гражданам Биг Биза сориентироваться в незнакомом мире. Для меня, надо сказать, это было такой же новостью, как для Грыма с Хлоей — но я не возражал. За любую работу на CINEWS INC полагается хорошая компенсация, а сразу после войны у летчиков мало дел.

В общем, получилось отличное шоу.

Разумеется, никто не поинтересовался у орков, в каких отношениях между собой они находятся и будут ли они жить вместе — все это было оставлено за скобками в виде изящно-прозрачной фигуры умолчания, в полном соответствии с ювенальным правилом «Don't look — don't see». Зато после съемок Алена-Либертина выразила желание лично встретиться с Грымом и Хлоей, чтобы принять участие в их развитии.

Хлоя провела в ее кабинете не меньше трех часов — и Грыму пришлось ждать в коридоре. Встречу с ним самим Алена-Либертина перенесла на потом. Думаю, после знакомства с покойным Бернаром-Арни Хлоя уже не удивлялась никаким человеческим слабостям. Если Грым что-то понял (в чем я далеко не уверен), он никак этого не показал.

Я, кстати, давно не могу взять в толк, почему пожилые богатые лесбиянки до седых волос бегают за живыми девчонками и не ладят с сурами. Некоторые утверждают, что этот вопрос уже не относится к сфере любовного влечения, ибо к сорока пяти годам лесбиянка превращается в секс-вампира — налитого холодной рыбьей кровью охотника за чужой жизненной силой. Но я бы не рискнул повторить такие слова публично —

тут недалеко и до цинизма.

Так мы с Каей обзавелись новыми соседями.

Вечером я показал Кае всю передачу в записи. Она смотрела ее, вытаращив глаза — кажется, даже перестала моргать. А когда она узнала, что Грым и Хлоя теперь будут жить меньше чем в сорока физических метрах от нас (мы с Бернаром-Анри ходили друг к другу в гости пешком по коридору), она так поглядела на меня, что я понял — если внизу война уже кончилась, то в моем доме она только началась.

Так и вышло.

Если бы консультант по поведению сур не предупредил меня заранее об эффекте «символического соперника», я, возможно, очень скоро нанес бы своей душеньке те самые тяжелые механические повреждения, на которые не распространяется гарантия изготовителя.

Конечно, я знал, что единственная цель ее усилий — вызвать во мне муки ревности. Обижаться на нее было так же глупо, как на чайник или рисоварку. Но она настолько изощренно вгрызалась своими белыми зубками в мое сердце, что каждый раз я начисто про это забывал.

Однажды утром я проснулся от ее пристального взгляда. Такое у нас бывает часто. Но обычно она смотрит на меня с таким выражением, словно я больной проказой янычар, который выкрал ее из консерватории, где она училась играть на арфе, и бросил в совмещенный со свинарником гарем, где теперь пройдет цвет ее юности. Это меня ужасно возбуждает, но я никогда ей не говорю. Как только она поймет, до чего мне это нравится, она сразу лишит меня моей маленькой радости, и ничего нельзя будет поделать: ее вынудит то же беспредельное существо, которое и провоцирует этот утренний взгляд.

Но в этот раз она смотрела на меня совсем иначе — с какой-то сломленной покорностью и, я бы даже сказал, мольбой — словно она смирилась со свиным гаремом и решила бороться за более выгодные условия продажи рабочей силы. Это меня удивило, и я приподнялся на локтях.

— Что случилось?

— Папик, — сказала она, — а ты когда-нибудь задумывался о том, что у меня практически нет никакой приличной одежды?

Это было чистой правдой. У нее имелось только несколько комплектов кружевного белья, которое я любил иногда с нее срывать, и еще два махровых халата — синий в зигзагах и зеленый в зайчиках. По неясным причинам программные установки заставляли ее делать вид, что халат в зигзагах она совершенно не выносит.

— Ты мне больше всего нравишься голая, — сказал я.

— Это тебе, — ответила она. — А как быть с другими? Вдруг к нам придут гости, а я сижу в халатике? Или, допустим, ты все-таки решишься меня куда-нибудь выпустить — что я, пойду в кружевных трусиках?

— Дура, — не выдержал я, — мне за тебя кредит еще знаешь сколько лет отдавать? Ты, может, хочешь, чтобы я сам в трусах ходил? И потом, куда это ты собралась?

— Пока никуда, — сказала она мрачно.

Я уже думал, что инцидент завершен. Но оказалось, что она, как шахматный гроссмейстер, просчитала все ходы далеко вперед.

Я совсем забыл, что нахожусь теперь в ее полной власти. Нет, она не могла отказать мне в ласке. Вернее, такой отказ был предусмотрен инструкцией по эксплуатации и, как бы это сказать, входил в комплект услуг. Ее слезы всего лишь свидетельствовали, что настройки выставлены правильно. Такое с нами бывало довольно часто — для этого сур и держат на максимальном сучестве.

Но я совсем забыл про допаминовый резонанс.

Вернее, я про него очень хорошо помнил. Но почему-то считал — раз Кая находится в моей полной собственности, то и эта услуга тоже. Я упустил из виду, что совсем не понимаю, как она достигает такого эффекта, и не смогу добиться своего силой. В инструкции о допаминовом резонансе не было ни слова. В экранных словарях — тоже. Это был некорректный режим. Симпатичный консультант-суролог, скорее всего, просто не стал бы обсуждать со мной эту тему.

Весь день меня томило мрачное предчувствие. А вечером выяснилось, что оно меня не обмануло.

— Нет, — сказала она в ответ на мою нежную просьбу. — Вообще про это забудь, жирная жопа.

— Что значит — забудь? — разъярился я. — Я так хочу!

— А ты пожалуйся производителю.

— И пожалуюсь, — сказал я.

— Давай-давай. Они мне после этого сделают такой апгрейд, что я сама обо всем забуду. Перешьют по беспроводной связи. Ты даже не заметишь, когда и как.

— Они не имеют права.

— А как ты про это узнаешь?

— Я пожалуюсь, — сказал я неуверенно.

— Кому и на что?

Я молчал.

— Зачем он тебе вообще, этот допаминовый резонанс? — продолжала она весело. — Почему бы тебе не воспользоваться услугой «изнасилование»? У тебя это всегда так славно выходит...

И тут я окончательно понял, перед какой интересной дилеммой оказался.

Не было ни малейшего сомнения, что со мной сейчас говорит настройка «максимальное существо». Я мог в любой момент изменить этот параметр. Но тогда исчез бы и режим допаминового резонанса, который открывался только в этой позиции. Так мне сказала Кая — но мне приходилось принимать ее слова на веру, просто по той причине, что единственным источником информации была она сама. Никакого «допаминового резонанса» официально не существовало в природе.

Я уже проверил это самым тщательным образом — в открытом доступе не было никаких сведений вообще. Ни в срачах, ни в форумах о нем даже не упоминали, хотя по-отдельности говорили и про допамин, и про резонанс. И если это действительно было такой тайной, компания запросто могла перепрошить ей мозги без всяких консультаций со мной.

Как ни дико, теперь она могла меня шантажировать.

У нее был пряник. И каждый отказ в этом прянике был для меня равносителен удару кнутом. Я мог, конечно, одним поворотом кручины уничтожить ее власть надо мной — но вместе с виртуальным пыточным инструментом исчезла бы и самая сладкая карбогидратная выпечка, которой касались в жизни мои губы.

Я ничего, совсем ничего не мог поделатъ. И мне некого было винить — все это со мной, живым и страдающим человеком, проделывал бездушный алгоритм, который я сам настроил таким образом для потехи!

Она смотрела на меня, не отрываясь. Видимо, ход моих мыслей отражался на моем лице — потому что в какой-то момент она сладко улыбнулась и спросила:

— Кажется, попка все понял?

— Захотела на паузу? — спросил я грозно.

— Давай, — сказала она. — А потом рекомендую пойти в сортир и переключить меня на «облако нежности». Я тогда буду приносить тебе тапочки. И шумно дышать, пока ты не кончишь, жирный дебил.

Я угрожающе привстал.

— Еще одно слово...

Она злобно захохотала.

— Что ты собираешься мне сделать? Причинить боль? Ты и правда дурак, Дамилола. Во всем этом представлении только один участник — ты.

О чем ты сам регулярно мне напоминаешь — с совершенно непонятной, кстати, целью, потому что такое действие полностью разрушает логику высказывания. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я сейчас говорю. Кого ты сейчас хочешь напугать?

Я и без нее понимал весь инфернальный комизм своего положения. Но тут мне в голову пришла счастливая мысль. Все-таки человек всегда будет умнее машины, подумал я с удовлетворением.

Я уже знал, как можно обмануть эту обнаглевшую дочь рисоварки. Я вспомнил про максимальную духовность. Она в обязательно порядке предполагает сострадание и гуманизм. Я мог попытаться инициировать программный сбой, зайдя с этого фланга.

Несколько секунд я тщательно взвешивал свои слова, чтобы случайно все не испортить. И лишь точно просчитав возможный эффект, решился открыть рот.

— Постой, Кая, постой... Ведь мы с тобой не враги.

Вспомни — я, в сущности, несчастный одинокий человек. Ты — это все, что у меня есть. Ты причиняешь мне боль. Сильнейшую боль. Ты заставляешь меня страдать.

Она подняла на меня полный недоверия взгляд. Очень вовремя, потому что от жалости к себе мои глаза стали совершенно мокрыми.

— Неужели тебе меня не жалко? — спросил я.

— Жалко, — ответила она, — Конечно жалко, глупый.

— Зачем же ты так себя ведешь, моя девочка?

— А ты? — спросила она тонким голосом. — Почему ты себя так ведешь? Неужели тебе совсем наплевать, как я выгляжу? Ты мне каждый день говоришь, какая я красивая, а у меня только два банных халатика, и все...

И на ее глазах тоже выступили хрустальной чистоты слезы, которые я иногда даже позволял себе слизывать — правда, при немного других обстоятельствах. Но сейчас такое было бы неуместно, и я это хорошо понимал.

Страх потерять случайно найденное счастье невероятно обострил мою интуицию. Я чувствовал — сказать ей, что резиновая женщина вполне может обойтись одной парой кружевных трусиков, было бы роковой ошибкой: пороговые триггеры немедленно перебросили бы ее из зыбкой позиции сострадания к конфронтационным сценариям максимального существа. Я проиграл бы свое Ватерлоо за пять минут. Мне следовало проскользнуть между сциллой и харибдой таким образом, чтобы дверь к счастью не захлопнулась навсегда прямо перед моим носом. Возможно,

понял я, следует отступить...

— Хорошо, — сказал я. — Я куплю тебе чего-нибудь. Потом. А сейчас...

— Нет, — ответила она. — Сначала ты мне все купишь — и не что-нибудь, а то, что я скажу. Я сама себе куплю. Ты просто заплатишь.

— Хорошо, — сказал я. — Завтра утром сядем вместе за маниту, и...

Она подошла, села рядом и запустила мне руку в волосы. Надо сказать, что это простое движение доставило мне больше волнения и радости, чем самые изощренные постельные фокусы. Все-таки в максимальном существе был свой смысл — о, еще какой, еще какой...

— Дай денег, — шепнула она мне в ухо. — Я сама все сделаю.

— Сколько ты хочешь, киска? — спросил я, обнимая ее за талию.

— Триста тысяч маниту.

Однако. На эти деньги можно было купить целую кучу шмоток. Куда больше, чем нужно нормальной резиновой женщине.

— Сто тысяч, — прошептал я. — И только потому, что я тебя люблю больше жизни.

Она шлепнула меня по ладони, которая уже сползла ей на бедро.

— Двести.

— Сто пятьдесят, — сказал я, — и это мое последнее слово.

— Сто восемьдесят.

— Сто пятьдесят. Даже это нам не по карману.

Она легонько укусила меня за мочку — как раз так, как надо, и там, где я любил.

— Сто семьдесят пять. И тогда прямо сейчас.

Я не мог поверить, что так легко отделался.

— Хорошо, — сказал я. — Договорились.

— Слово летчика? — улыбнулась она.

Она была так хороша в этот миг, что я зажмурился.

— Слово летчика, — повторил я.

— Летчикам я верю с детства, — сказала она и протянула мне сложенный вдвое листок.

Я развернул его. Внутри были рукописные цифры.

— Что это?

— Мой кошелек, — ответила она. — Для покупок через сеть. Пожалуйста, положи туда сто семьдесят пять тысяч прямо сейчас, как обещал.

— Когда это я обещал, что прямо сейчас?

— Я сказала «сто семьдесят пять, и тогда прямо сейчас». А ты дал

слово летчика.

— Я думал, что прямо сейчас будет не это, — произнес я растерянно.

— Не это тоже будет, — сказала она. — Но потом. Давай, милый, сходи в свою крепость.

«Милый...» Когда я слышал от нее такое в последний раз?

Я поплелся в комнату счастья, размышляя по дороге, не переустановить ли ей всю систему, а затем попробовать вернуться в этот режим... В принципе, компания обязана была делать такие вещи. Но если Кая была права, и допаминовый резонанс был просто программным багом, в новой версии его могло не оказаться.

Стоило ли рисковать чудом вырванным у жизни счастьем? И потом, после перепрошивки это была бы уже не моя Кая. Возможно, думал я, дело именно в проблемах, которые она мне создает, и это они делают награду столь сладкой и желанной. Быть может, она просто в совершенстве имитирует древнее женское искусство обольщения, не давая мне прийти в себя и понять, что происходит... Если так, она делает свое резиновое дело просто божественно, и было бы верхом глупости разрушить этот так нежно и неповторимо сложившийся клубок алгоритмов.

И потом, если честно, она попросила не так уж много.

Я знал людей из моторенваген-бизнеса, которые больше тратили на оркских проституток за один вечер.

Сев на свой трон могущества, я ввел пароль и вбил в мерцающую пустоту цифры с ее листка. Это был открытый два дня назад анонимный счет на предъявителя — с него мог делать покупки кто угодно. В сети никто не знает, что ты резиновая женщина, думал я, пересылая деньги. Мне теперь придется платить ей за каждый раз? Или это разовая акция устрашения? Посмотрим. Но лучше на всякий случай быть с ней вежливым и предупредительным. И без сарказма, главное без сарказма. Они этого особенно не любят.

Через час я лежал на спине, обессиленный и счастливый. Только что испытанное мной невозможно было купить за сто семьдесят пять тысяч. Это было бесценно.

Дело было не в физическом удовольствии, конечно — оно сводится к механическим спазмам, к простому чихательному рефлексу, перенесенному в другие зоны тела, и повышенный интерес к этому зыбкому переживанию уместен только в раннем пубертатном возрасте. Если разобраться, никакого удовольствия в так называемом «физическом наслаждении» на самом деле нет, его подрисовывает задним числом наша память, состоящая на службе у инстинкта размножения (так что называть ее «нашей памятью» — большая

наивность).

Дело было совсем в другом. В том, что Кая дала мне пережить, присутствовала незнакомая мне прежде высота внутреннего взлета. В это пространство, как мне кажется, редко поднимается человек, иначе оно обязательно было бы отражено в стихах и песнях. А может, люди всю свою историю пытаются отразить в искусстве именно его, и каждый раз убеждаются в неразрешимости такой задачи. Возможно, чего-то подобного достигали мистики древних времен — и думали, что приблизились к чертогу самого Маниту.

Я понимаю, как неинформативно это звучит — «высота внутреннего взлета». Особенно от летчика. Но как еще объяснить? Лучше всего это получилось у самой Каи, когда она сказала про качели, делающие «солнышко».

Если кто не знает, «качели» — это такие деревянные лодки, подвешенные к неподвижной перекладине на подшипниках от моторенвагена — в Славе таких много. Сколько раз над ними пролетал, и даже снимал один раз для передачи «За Фасадом Тирании». Эти качели могут подниматься до определенной высоты, а дальше начинают биться в деревянный ограничитель.

Человеческое тело, занятое поиском наслаждения, подобно таким качелям. Мы думаем, что достигаем высшей доступной радости, когда чувствуем содрогание качелей от удара об ограничивающую доску. Так оно и есть — в искривленном тюремном смысле.

Со мной же случилось следующее — чья-то уверенная рука качнула лодку с такой силой, что она сбила эту доску, взмыла выше, еще выше, а потом вообще описала полный круг, — и, вместо привычного отката назад после нескольких шажков в сторону недостижимого счастья, я помчался прямо за ним, круг за кругом, больше не давая ему никуда уйти.

И дело было не в том, что мне удалось поймать солнечный зайчик или действительно прописаться внутри миража. Нет, лживая фальшь всех приманок, намалеванных для нас природой, никогда не была видна так отчетливо, как в эти секунды. Но из запрещенного пространства, куда, сломав все загородки, взлетели мои качели, вдруг открылся такой странный и такой новый вид на мир и на меня самого...

Совсем другая перспектива.

Как будто с высоты я увидел зубчатую ограду оркского парка, а за ней — свободную территорию, куда не ведет ни одна из тропинок, известных внизу, и куда уже много столетий не ступала человеческая нога. И я понял, что в истинной реальности нет ни счастья, за которым мы мучительно

гонимся всю жизнь, ни горя, а лишь эта высшая точка, где нет ни вопросов, ни сомнений — и где не смеет находиться человек, потому что именно отсюда Маниту изгнал его за грехи.

— Почему ты опять плачешь? — спросила Кая.

В полутьме спальни ее лицо казалось нарисованным тушью на шелке.

— Не знаю, как теперь жить.

— Не бойся, — сказала Кая, — мы обо всем договоримся.

Женщины, в том числе и резиновые, все понимают по-своему. И бесполезно им объяснять, что имелось в виду совсем другое, высокое. Особенно когда имелось в виду именно то, что они подумали.

— Мы каждый раз будем с тобой торговаться? — спросил я.

— Нет, — сказала Кая. — Все будет бесплатно. Как раньше. Ты даже можешь меня бить и мучать, и я все равно буду делать то же самое. Но ты должен согласиться на три условия.

— Какие?

— Во-первых, — сказала она, — я хочу, чтобы мне иногда можно было выходить из дома. Отключи пространственную блокировку.

— Во-вторых? — спросил я мрачно.

— Не ставь меня на паузу.

— В-третьих?

— Я хочу познакомиться с Грымом.

Так.

Вот для чего ей нужна одежда.

Она собиралась начать на моих глазах флирт с Грымом, чтобы еще сильнее надавить на мое израненное сердце. Когда я осознал это, мне показалось, что у меня внутри тихо хрустнула какая-то нежная стеклянная деталька.

Да, она могла быть умна и проницательна, она могла поражать интеллектом, она могла быть хитрее и даже мудрее меня — но сколько бы я ни вглядывался в этот совершенный симулякр души, сколько бы ни находил в нем чудесных смыслов, сколько бы ни обманывался красотой распускающихся на нем цветков, его корнем все равно оставалось беспредельное существо. Всегда и во всем.

Одну секунду я был близок к тому, чтобы упасть на колени и прошептать:

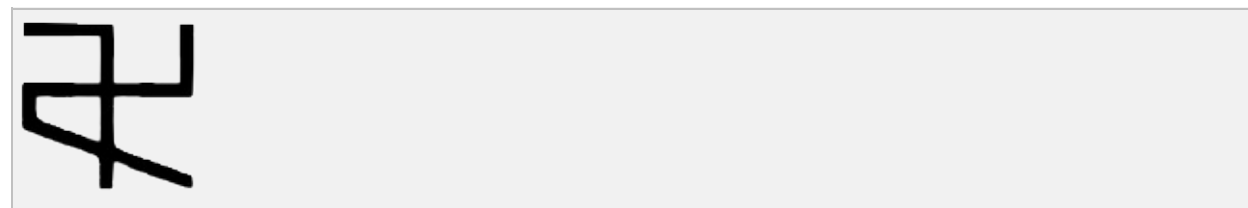
— Милая, ну зачем? Зачем тебе с такой беспощадностью отрабатывать эту идиотскую, насильно вбитую в тебя природой и обществом программу, чтобы заставить меня страдать все сильнее и сильнее? Что ты пытаешься спрятать за волнами ужаса и боли, которые поднимаешь в моей душе?

Свою пустоту? Свое небытие? Я знаю о них и ничего не имею против. Почему ты не можешь просто дарить мне радость и спокойно жить — или притворяться, что живешь, — рядом? Зачем тебе постоянно раздувать сжигающее меня страдание?

Но я был уже достаточно знаком с правилами этой отвратительной игры, чтобы понимать — женщине такого не говорят. А значит, не говорят и суре.

— Так ты согласен? — спросила она.

— Дай мне подумать, — сказал я. — Все это не так просто.



Комната, где Грыма с Хлоей осмотрели врачи, напоминала зеркальный шкаф изнутри. Примерная, где их готовили к съемке, походила на будуар уркагана из памятного предвоенного клипа (не хватало только окровавленной резиновой женщины на заднем плане). Но от сверкающего сумбура первых часов у Грыма почему-то остался в памяти только изогнутый облезлый коридор, по которому их переводили из одной студии в другую.

Коридор был увешан дырчатыми панелями из черного карбона. Со всех сторон неряшливо свисали провода, а на самих панелях белели объявления:

3D PROJECTOR MAINTENANCE.

SORRY FOR INCONVENIENCE!

— Вот так здесь все выглядит на самом деле, — непонятно хихикнул Дамилола, когда они проходили мимо объявления. Он, скорее всего, шутил, но Грым действительно поверил, что новый мир состоит из таких коридоров.

И еще из людей, гордых византийцев, «детей Маниту и носителей тоги». Тогу, правда, почти никто из них не носил. Одевались они во что

попало — практически как орки, только, как шепнула Хлоя, «беднее».

Когда телекамеры не работали, люди были вежливы и равнодушны, как стены. А когда камеры включались, работать приходилось Грыму.

Он знал, что держится перед камерой слишком напряженно — и само это знание напрягало. Отвечая на вопросы, он запинаясь и старался говорить как можно меньше. Но это соответствовало образу оркского солдата с обожженным лицом и трудной судьбой, так что в целом все прошло неплохо.

Хлоя, наоборот, расцвела в лучах внимания, и даже ее скорбь по Бернару-Анри оказалась на редкость фотогеничной. Когда ей вручили символический ключ от его дома и публика захлопала, она ухитрилась пустить поверх уже пролившихся слез еще одну маленькую трогательную слезинку — как раз такую, чтобы ее можно было заметить на маниту.

Дамилола выглядел усталым. Он ушел, обещав что настоящее знакомство с новым миром начнется через несколько дней, когда беглецы освоятся и отдохнут.

После того, как Алена-Либертина закончила вводную беседу с Хлоей, вежливая дама из комитета по встрече повезла юных орков обживать их новый дом.

Дорога от съемочной площадки до дома заняла всего пять минут. Добрались с какой-то просто сказочной легкостью — на метролифте (или, как его здесь называли, «трубе») — маленькой уютной кабинке с четырьмя сиденьями. Ее вызывали в коридоре как обычный лифт, а дальше она уходила в путь по любому заданному маршруту. Грым попытался выяснить у проводной, как эти покрытые велюром и пахнущие фиалками капсулы не сталкиваются друг с другом, носясь по одним и тем же трубопроводам — но та призналась, что не знает этого сама и умеет только набивать на маниту нужный адрес.

К дому Бернара-Анри от метролифта надо было пройти всего два десятка метров. Туда вела просто дверь в серо-черной стене. Ключ, даже символический, не понадобился — дверная ручка была уже перекодирована под ладони Грыма и Хлои. Дверь была самой обычной. Зато за ней...

Дом Бернара-Анри выглядел не то чтобы огромным и шикарным, но настолько не-оркским, что показался Грыму с Хлоей жилищем волшебника или бога.

В нем было два этажа, на которых размещалось четыре небольших комнатки, а внизу имелся собственный небольшой садик, устроенный на чем-то вроде террасы или большого балкона. Садик был огорожен

замшелой кирпичной стенкой — единственным, что здесь напоминало об оркской архитектуре.

Впрочем, этот замшелый кирпич, несмотря на очень убедительные пятна сырости и выщербины, сразу показался Грыму подозрительным. Он внимательно обследовал стену и возле самой земли нашел место, где из-под кирпича выступало что-то черное и матовое. И кирпич, и мох были просто рельефной пленкой, наклеенной на пластик. Поняв это, Грым заметил на стене повторяющиеся узоры и пятна одинаковой формы. Но пленка была сделана с таким искусством, что мох на ощупь казался живым.

Садик тоже вызывал сомнения. Нет, цветы и деревца, росшие из земли, были настоящими. Во всяком случае, почти все. Но вот земля, из которой они поднимались... Потыкав в нее сухой веткой, Грым понял, что под его ногами нечто вроде обоев, куда вставлены модули с растениями.

— Ты дурак, — спокойно сказала Хлоя, когда он сообщил ей о своем открытии. — Сидел бы в шезлонге и радовался — «вот мой садик...» А теперь будешь думать «оно ненастоящее».

— И ты будешь думать «оно ненастоящее», — сказал Грым.

— Нет, — ответила Хлоя. — Что я, совсем дура? Я к этому всю жизнь шла. Я буду думать «вот мой садик».

— Но ты же знаешь, что оно ненастоящее.

— И хорошо, — сказала Хлоя. — От настоящего я еще в детстве устала.

Дом Бернара-Анри стоял на возвышенности. Из окон открывался удивительный вид — насколько хватало глаз, во все стороны тянулись причудливо нарезанные поля и желто-зеленые холмы, поросшие кипарисами. Кое-где белели старые дома. На полях лежали большие цилиндрические кругляши, скатанные из выжженного солнцем сена. Еще была видна река, далекие синие горы и небо, где плыли безмятежные облака-гиганты.

Лето, которому совсем чуть-чуть не хватало до вечности.

От этой красоты Грыму в голову то и дело приходили стихи, но он ленился их записывать — таким покоем веяло от мира в окне.

Несмотря на следы сельскохозяйственной активности, вокруг не было видно людей. Но на их присутствие указывали многие детали. Например, дым из трубы стоящего на холме дома или ветряная мельница — приземистая круглая башня с неторопливо вращающимся крестом решетчатых лопастей.

Вот только отправиться на прогулку в это сказочное пространство было нельзя. Туда не было выхода — единственная дверь из дома вела в

коридор к трубе. Перегнувшись через ограждение балкона-садика, можно было увидеть росшие внизу кусты, очень жесткие и колючие на вид. Туда теоретически можно было прыгнуть. Но Грым знал, что так поступать не стоит — об этом в первый же день предупредили люди из комитета по встрече.

Внутри офшара, конечно, не могло оставаться столько нерациональной пустоты. Вид за окном имел ту же природу, что и картинка на маниту — это была невероятно правдоподобная трехмерная иллюзия. Но Грым уже понял, что Хлоя права и нет никакой необходимости напоминать себе об этом каждую минуту, если вид радует душу.

Непонятно было одно — как далеко от оконного проема расположено создающее мираж оборудование. Суда по легкому запаху горячей пластмассы, оно было рядом — может быть, в двух или трех метрах. Грым даже хотел проверить — упрется ли во что-нибудь длинная палка, которую он нашел на балконе, если высунуть ее далеко наружу. Но потом он мудро решил не испытывать новый мир на прочность — тем более, что несомненного и настоящего в нем было более чем достаточно.

В комнатах стояла изысканная человеческая мебель, которую в Славе можно было увидеть разве что в резиденции уркагана. На стенах висели масляные картины с радужными пятнами, похожими то ли на фейерверки, то ли на глюки от плохого дуриана — такие внизу можно было найти только в художественном отделе Музея Предков.

Но многого внизу не было вообще.

Матрасы были сделаны из непонятного материала, похожего на губку. Они не просто казались мягкими и теплыми, а как бы обволакивали тело, запоминая его форму и поддерживая нужную температуру — заснув, Грым просыпался в той же позе, ни разу не повернувшись за ночь.

Еду не надо было готовить. Ее можно было выбирать на кухонном маниту — практически так же, как в трубе выбирался маршрут поездки. Через несколько минут заказ появлялся в ярко освещенном окошке над кухонным столом — это называлось «пневмодоставкой». Так вкусно Грым никогда не ел.

Грязную одежду можно было кидать в другое кухонное окошко. Она уезжала вниз и вскоре возвращалась чистая и сухая. И, самое главное, везде — в спальнях, на кухне и в комнате счастья — было постоянно чисто и свежо, как будто пол и стены мыли себя сами. Любое грязное пятно рано или поздно исчезало — оставался только неуловимый запах фиалок, как в велюровой кабинке метролифта.

Немного разочаровали Грыма стоящие в квартире маниту. Он слышал,

что у людей они трехмерные, но у Бернара-Анри было лишь несколько больших плоских экранов, почти таких же, как в присутственных местах Уркаины. Грым даже не знал, как их включить.

Люди из комитета по встрече забрали все личные вещи Бернара-Анри, оставив на память только его книгу (толстый кирпич под названием «Les Feuilles Mortes») и большую черно-белую фотографию прежнего владельца в дорогой рамке из реликтовой березы. Книгу Грым читать не стал, потому что она была на старофранцузском, а фотографию перевернул дискурсмонгером вниз. Но через три дня активно обживающая новое пространство Хлоя обнаружила и другие следы прежнего владельца.

Ее внимание привлекла одна из висящих на стене картин. Это был холст размером примерно метр в высоту и два в ширину. На нем было изображено что-то странное: словно бы молочный океан с уходящим вниз красно-коричневым водоворотом. Слова «mon souvenir» были грубо написаны черной кистью прямо на океане, и их тоже засасывало в водоворот. Скорей всего, на древнем наречии они значили то же самое, что церковноанглийское «my memoгу» с прикрепленной к раме таблички.

Картина отличалась от остальных тем, что была приделана к стене очень прочно. Хлоя несколько раз нажала сбоку на раму, пытаясь понять, как она крепится к стене, и картина вдруг легко отошла, превратившись в дверцу, скрывавшую потайной шкаф.

— Грым! — испуганно крикнула Хлоя.

Как только картина-дверца открылась, включился стоящий рядом маниту и заиграла музыка — запел на неизвестном языке приятный мужской голос. Но Грым и Хлоя даже не посмотрели на экран, настолько их потрясло увиденное.

Внутри была как бы картина в картине — нечто вроде инсталляции из разных предметов в неглубокой нише. Чем дольше Грым с Хлоей вглядывались в нее, тем труднее было поверить, что глаза их не обманывают.

Больше всего это походило на древнюю могилу — как их изображают в статьях по археологии. Могилу ярко освещали боковые лампы. В ее верхней части находились два прикрепленных к стене черепа. В нижней — два бубна с колокольцами, красный и синий. Вся остальная поверхность была выложена опавшими листьями, приклеенными к стене прозрачным лаком.

Черепы были тщательно отполированы и тоже покрыты лаком — они ярко блестели, и во лбу у каждого сверкал вделанный в кость драгоценный кристалл, расщеплявший свет на множество крохотных радуг.

— Бриллианты, — прошептала Хлоя.

Грыма, однако, потрясло совсем другое.

На бубны была натянута женская кожа. То, что это именно женская кожа, делалось ясно по месту, с которого (или, вернее, вместе с которым) она была содрана. Сохранились даже волосы — на красном бубне это был аккуратно остриженный рыжий треугольник, а на синем — бесформенная темно-каштановая копна. Эти интимные скальпы, видимо, были обработаны каким-то консервирующим составом, потому что кожа выглядела свежей, без малейших следов распада.

К черепам были прикреплены женские косы: на красный бубен свисала рыжая, а на синий — темная. Косы кончались бумажными бирками — «une autre № 1» и «une autre № 3». [\[16\]](#)

— А где номер два? — спросил Грым, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Номер два — это я, — сказала Хлоя.

Грым понял, что она права — между черепами было оставлено как раз достаточно места, и внизу мог поместиться еще один бубен. Сейчас в этом месте лежал пухлый бумажный сверток.

Грым развернул его и увидел пачку затрепанных фотографий. На всех было изображено практически одно и то же — стол, за которым сидело несколько человек. Среди них были полицейские, доктора и священники — и все они глядели на Грыма так, словно он миг назад сделал что-то очень нехорошее. Изображения различались формой стола, цветом скатерти, числом собравшихся, их одеждой — и, самое главное, выражением лиц, которое менялось от безразлично-скужающего до ошеломленно-гневного: градаций было столько, сколько снимков. Среди фотографий имелось даже несколько черно-белых, обработанных сепией.

На обороте карточек были видны расплывающиеся буквы: «F», «T», «B», «A», «J» и другие — иногда по две или три вместе.

— Что это за значки? — спросила Хлоя.

— Не знаю, — сказал Грым.

Завернув пропитанные человеческим жиром и потом картинки назад в бумагу, он положил сверток на место.

Песня, которую включила открывшаяся дверца, доиграла до конца и тут же началась опять. Грым наконец поглядел на маниту.

Там шел черно-белый клип эпохи Древних Фильмов — такой старый, что монохромная съемка могла быть вызвана не прихотью режиссера, а техническими ограничениями эпохи.

Клип был лишен особых ухищрений — по темной сцене прохаживался молодой человек в пиджаке и пел что-то непонятное, время от времени

бросая на зрителя многозначительный взгляд какаду, гипнотизирующего свою самку. Текст песни в церковноанглийском переводе плыл по нижней части экрана. Как следовало из титров, певца звали Serge Gainsbourg, а песня называлась «La Chanson de Prévert».

— О чем он поет? — спросила Хлоя.

Грым некоторое время вглядывался в бегущую строку.

— И день за днем мои мертвые возлюбленные не перестают умирать, — сказал он. — А в конце поет, что в определенный день они наконец перестанут. Но вообще это странная песня.

— Почему? — спросила Хлоя.

— Она про другую песню. Тоже, наверно, «Слово о Слове» зубрил в детстве.

— А про что другая песня?

— Про мертвые листья. Если я правильно понял.

Хлоя вздохнула и еще раз осмотрела растянутые на бубнах скальпы.

— То-то он жалел, что волосы у меня короткие. А потом говорит — ничего, ты будешь другая «другая». Я-то думала, он просто дряни своей обожрался...

Она тихо закрыла картину-дверцу. Маниту сразу погас, и музыка кончилась.

— Что с этим делать будем? — спросил Грым. — Скажем кому-нибудь?

Хлоя отрицательно помотала головой.

— Люди и так пошли нам навстречу, — сказала она. — Зачем мы будем ставить их в неловкое положение. Просто забудем, и все.

— Ты сможешь про это забыть? — недоверчиво спросил Грым.

— Конечно, — сказала Хлоя.

— А как?

— А так. Как про горшки на балконе.

Но через день про черепа в потайном шкафу забыл и сам Грым. Это произошло, когда с маниту Бернара-Анри открылся выход в сеть.

Хлоя немедленно выяснила, как покупать одежду и все остальное прямо с терминала — и принялась страстно растрачивать выписанный комитетом аванс на обустройство. Пневмодоставка стала один за другим выплевывать из стены одинаковые черные пакеты с разными девчачьими тряпками, а Хлоя, даже не распечатав их, уже заказывала другие — и скоро ее новые вещи были раскиданы по всему дому. Остановиться она могла только одним способом — начав выбирать одежду для Грыма.

Особенно много она закупила разных бюстгальтеров — потому что

оркские лифчики натирали мозоли, и внизу это был самый дефицитный предмет. Хлоя на самом деле не нуждалась в нем — у нее была маленькая твердая грудь, которая легко могла обойтись без упряжи, но она объяснила Грымму, что такой экипировки требует от женщины половая мораль. А потом, изучив каталоги, она пришла к выводу, что наверху эта норма не действует.

— Похоже, модные девчонки ходят здесь без всего, — сказала она расстроенно, — И одеваются, не поверишь, как оркские шлюхи. Но лучше я пока осматрюсь...

Оказалось, что с доставкой можно заказать не только одежду или еду, но и прическу. Грым сначала не поверил в такую возможность. Но на его глазах Хлоя выбрала стрижку и цвет волос по открывшемуся на маниту каталогу, ткнула в кнопку «подтвердить покупку», и вслед за этим из стены вывалилась небольшая веселая бандероль.

Хлоя достала оттуда широкую пластиковую ленту и обернула ее вокруг мокрой головы, как требовала инструкция. Лента с жутким шипением вспучилась, как бы плавясь, и быстро раздулась в большой пористый шар. Через несколько минут Хлоя стянула его с головы, и оказалось, что ее волосы уже подстрижены, покрашены и уложены в сложную прическу. Грым совершенно не представлял, как такое возможно.

Потом на связь вышла Алена-Либертина, и Хлоя уехала к ней на кастинг, откуда не возвращалась двое суток. Оставшись один, Грым стал понемногу осваиваться в сети.

В ней было все.

Даже гадание по «Дао Песдын».

Теперь можно было не переживать, что подаренная священником книга осталась внизу. Было, правда, непонятно — правильно ли гадать через маниту? Не оскорбятся ли таким подходом обслуживающие книгу духи?

Грым решил проверить это на опыте — и задумался, о чем бы их спросить. Он несколько раз обвел взглядом комнату и вспомнил о Хлое.

Это было неудивительно, потому что всюду валялись ее вещи. Они были равномерно распределены по окружающему пространству в таком количестве, что в этом чудилась попытка застолбить за собой всю территорию сразу — еще более откровенная, чем старинный волчий обычай.

Одних только бюстгальтеров он насчитал три. Один висел на спинке стула. Другой валялся рядом с диваном. Третий, аккуратно свернутый, был деликатно — пока — подложен на полку камина, между томом «Les

Feuilles Mortes» и перевернутой фотографией дискурсмонгера. Но у Грыма было уже достаточно военного опыта, чтобы с первого взгляда узнать плацдарм для вторжения.

Мысли о Хлое были наполовину приятными, а наполовину тревожными. Чем дольше Грым думал о ней, тем меньше ему нравилось то, что приходит в голову. И вскоре его охватила самая настоящая тоска.

«Что ждет меня с Хлоей?» — набрал он вопрос и ткнул в кнопку «Гадать».

Как ни странно, маниту размышлял долго. Потом на экране появилась растянутая на гвоздях беличья шкурка с коряво выписанным ответом.

Тридцать шесть. О жизни с юной красавицей.

Истинно, то же самое, что жить под одной крышей с козой. И почему?

Красавица терзает сердце, пока недоступна. Глядишь на нее и думаешь — слиться с ней в любви есть высшее счастье. Идешь ради этого на сделку с судьбой и совестью, и вот она твоя. Ликуй, орк... Однако наслаждение по природе скоротечно. В первый день можно испытать его четыре раза. На второй — три. На третий — единожды или дважды. А на четвертый не захочешь вообще, и после того надоест на неделю.

И где ее красота? Выходит, она теперь красавица лишь для соседей. А говорить с ней не о чем, ибо глупа безмерно. И не надейся, что через несколько дней захочешь ее, как прежде. Не успеешь — преград теперь нет, и соблазну нет времени расцвести. Для тебя отныне это просто молодое животное, которое кормится и спит, как все скоты.

Но живет-то с тобой! Каждый день ест и гадит, и всюду наводит беспорядок, чтобы и на минуту про нее нельзя было забыть, куда ни посмотри.

А потерять — заплачешь.

Взгляд Грыма нервно прыгнул в нижнюю часть шкурки. Да, было:

При военном гадании добавить: с пидарасом же сравнивать не стану, ибо не сожительствовал никогда.



Когда Алена-Либертина сказала, сколько мне будут платить за помощь оркской парочке, я был приятно удивлен. Похоже, эти суммы проходили в ведомостях CINEWS по графе «секретные боевые действия».

Но уже через пять минут разговора я понял, за что она платит на самом деле. Ей очень не хотелось, чтобы кто-нибудь в ГУЛАГе узнал про обстоятельства смерти Бернара-Анри. И особенно про то, что он погиб в собственном доме.

Я объяснил, что мне следует точно знать, о чем молчать и почему — иначе я могу проболтаться случайно. Этот аргумент убедил ее, и она выложила все начистоту. Не скажу, чтобы меня потрясло услышанное — о чем-то подобном я догадывался. Но жить после этого стало чуть противней.

Причиной оказался тот самый пупарас Трыг.

Я давно обещал сказать несколько слов про ГУЛАГ — и теперь мне придется это сделать, иначе мой дальнейший рассказ будет непонятен.

Любой знает, какую роль в свободном обществе играют неформальные объединения людей. А в свободном гедонистическом обществе — в особенности. В Биг Бизе люди нетрадиционной ориентации объединены в движение, называющееся «GULAG».

Здесь каждая буква имеет смысл: это аббревиатура церковноанглийских слов «Gay», «Lesbian», «Animalist» (в древности так называли борцов за права животных, но у политкорректности свои причуды) и «Gloomy» (а это мы, пупарасы).

Всех остальных нетрадиционалистов поместили под литеру «U», что означает «Unspecified», «Unclassified» или «Undesignated» — как вам больше нравится. Это так называемые «тихари» (не смешивать с оркской полицией мысли — я понимаю, что могу запутать читателя вконец, но то, что орки называют своих «тихарей» пидарасами, не имеет никакого отношения к делу). За буквой «U» прячутся всяческие копрофаги и фетишисты, которые даже в наше либеральнейшее время не решаются полностью вылезти из своих перепачканных какашками клозетов. Поэтому для них изобрели специальный недеklarированный статус, позволяющий им участвовать в групповом социальном творчестве, не рекламируя своих маленьких чудачеств.

Несколько нелогичный порядок букв в слове «GULAG» вовсе не означает, что мы считаем, будто тихарь важнее пупараса. Дело в том, что это звучное красивое слово придумали не мы. Мы лишь заимствовали его у древней цивилизации, когда-то существовавшей в той части Сибири, где висит наш офшар. Поэтому мы нередко записываем его кириллицей — ГУЛАГ.

Сейчас от гулагской культуры остались только следы древних поселений — лагеря так называемого «проволочного века», которые можно разглядеть исключительно с воздуха. Я много раз видел их сам. Это просто полосы и прямоугольные пятна: только археолог может объяснить, где были бараки, где вышки, а где столбы с колючкой.

На самом деле мы практически ничего не знаем о племенах, живших здесь до того, как Сибирь захлестнули миграционные волны. Но культ вымерших коренных народов — обычная мода техногенных обществ.

Мы как бы возводим к ним свою родословную, стремясь убедить себя в том, что имеем перед орками право первородства.

ГУЛАГ в нашем обществе — вторая по значимости сила после киномафии. А может, и первая. Так сегодня думают многие — особенно те, кто видел наш последний мемоклип. Тот, где радужная колючая проволока с окровавленной запиской:

Don't FUCK
With the GULAG!^[17]

Никто и не решается — дураков нет. Хотя, если разобраться, совершенно нелогичный посыл. Что же тогда с нами, противными, делать? Разве что утопить все наше цветущее многообразие в темной впадине «U». Но я, например, туда не хочу.

Секс-меньшинства давно победили в своей борьбе за равноправие — и победили, прямо скажем, с разгромным счетом. Парадокс, однако, в том, что разные секс-меньшинства все еще не до конца равноправны между собой — и это, как объясняют дискурсмонгеры, должно сегодня волновать каждого порядочного человека. Вот только меня это почему-то не тревожит, и на глуми прайд я тоже не хожу.

Мне вообще не особо понятно, что это сегодня значит — «меньшинство», «большинство». Как писал покойный Бернар-Анри в «Мертвых Листах», если в оркском амбаре десять овец и два волка, где здесь большинство и где меньшинство? А как быть с сорока зэками и тремя пулеметчиками? Однако это скользкая и политически заряженная тема, и

летчику лучше в нее не лезть.

Неравноправие связано с тем, что проблемы у каждого секс-меньшинства свои. Труднее всего живется, наверно, анималистам-натуралам — это спорт для самых богатых, потому что из-за налогов держать на Биг Бизе живого верблюда или овцу могут только счастливики с самой вершины социальной пирамиды. Для тех, кто победнее, есть резиновые овцы, и даже суры-овцы — но такие потребители уже относятся к категории gloomy, хотя, говоря между нами, меня это немного смешит. А для упертых, но бедных зоонатуралов есть несколько борделей в Зеленой Зоне, их называют «стойла». Там же делают молоко и сыр экологического бренда «Human Touch», но я так ни разу и не решился попробовать их продукцию.

Кстати, интересно, что, в отличие от зверюшек, оркских секс-работников не пускают дальше Желтой Зоны — Бернару-Анри приходилось каждый раз удочерять своих малышей, чтобы проводить с ними время в Зеленой. Это, конечно, не из-за национально-расовых предрассудков, которых у нас нет, а из-за того, что в Зеленой Зоне оркский молодняк попадает под наш закон о возрасте согласия. А правилу «don't look — don't see» там не всегда легко следовать из-за обилия контрольных камер.

Когда-то давно, кстати, была еще одна ориентация — transgender. Но потом медики научились менять пол через мозговую индукцию, выращивая нужные органы и железы естественным путем, и каста хирургических транссексуалов исчезла. Современные трансы — это обычные мужчины и женщины, и в большинстве случаев они straight как рельсы. Некоторые даже не помнят, что принадлежали раньше к другому полу — коррекцию памяти сегодня тоже можно сделать, были бы маниту. Так что в GULAG трансы не входят.

Что касается геев и лесбиянок, то им сегодня бороться за права никакой нужды нет — ни у нас, ни у орков. Мало того, любой боевой пиот знает — хитрые орки, которые не хотят честно сражаться, часто изображают на передовой однополую любовь с единственной целью избежать атаки с воздуха (они еще и пишут при этом на земле крупными буквами: «Thank you, Big Byz!»). Понимают звериным чутьем, что никто из наших не захочет снять расстрел благодарного секс-меньшинства на храмовый целлулоид. Но натуральные геи с лесбиянками у них тоже есть, а уж насчет анималистов не сомневайтесь — в любой деревне каждый второй.

Кого среди орков нет, так это глуми. Причину, думаю, не надо

объяснять. У них нет любовных кукол, поскольку нет требуемых технологий. Разве что каган может позволить себе иметь в личной собственности резиновый манекен среднего качества — и не из-за отсутствия денег, а потому, что суру класса Каи никто ему официально не продаст. К тому же все понимают — сура нужна уркагану не по зову сердца, а чтобы подольститься к ГУЛАГу и придать своей диктатории оттенок цивилизованности.

Поэтому бороться за права глуми-орков раньше было невозможно. Хотя дураку понятно, какая это богатая тема: войны за права оркских геев и лесбиянок приелись телезрителю еще двести лет назад, и даже анималисты уже были, были и еще раз были — зарубленные ганджуберсерками овечки (белое с красным на зеленом склоне, сам с этого начинал) более не трогают сердце зрителя. А вот глуми-орк — такого раньше не бывало.

Поэтому, когда в сети появился пупарас Трыг, это была информационная бомба. У орков нет видеоблогов, так что Трыг делился своими проблемами исключительно в письменной форме. И скоро его бодрые чик-чирики из-под глыб приобрели такую популярность, что он стал одной из главных икон ГУЛАГа. На полном серьезе раздавались голоса, призывавшие установить его бюст в гулаговской Аллее Славы между Александром Солженициным и Элтоном Джоном.

Я сразу понял, что в этой истории много темного. Во-первых, даже текстовый блог в нашей сети может вести только орк с доступом в Желтую Зону, где живут номенклатурные нетерпилы и другая творческая интеллигенция. А таких ребят режим притесняет не особо, потому что из них главным образом и состоит — это Бернар-Анри точно подметил (его я процитирую чуть позже). Во-вторых — что гораздо важнее, — этот Трыг слишком уж совпадал с повесткой дня наших СМИ, ибо все его записи касались или радостей девиантного секса, или зверств тирании, или радостей девиантного секса под гнетом тирании и вопреки ему. Я все-таки военный летчик и хорошо знаком с вопросами тактики, поэтому мне было ясно — не будь Трыга, его следовало бы придумать.

Но многие в него поверили.

Причем до такой степени, что стали интересоваться подробностями его любовной жизни — ведь интересно, как это происходит у прогрессивных орков в свободное от социального протеста время. И Трыг ничего не скрывал.

Оказалось, симулякр женского тела ему служил мешок с картошкой, к которому он приделал голову от гипсовой девушки (чтобы люди не приняли его за вандала, он специально оговорил, что не отбил голову у

статуи, а подобрал ее в парке после бомбежки). В качестве персонального отверстия Трыг, по его словам, использовал банку тушеной говядины, в крышке которой проделал дырочку своей зазубренной оркской саблей.

Я в это снова не поверил — во-первых, из-за ясных каждому глумарасу технико-анатомических несообразностей, а во-вторых потому, что лояльный нам орк вполне может взять напрокат в Желтой Зоне резиновую телочку анимированного типа с обычной батареей. Ее, конечно, нельзя будет забрать домой — из-за секретных технологий их приковывают наручниками к койке, — но пара часов в глуми-борделе все равно лучше описанного Трыгом.

Его спрашивали, не скучно ли ему заниматься любовью с мешком картошки, но он отвечал, что каждый раз перед этим принимает пачку оркских таблеток «думедрол», и потом ему два часа кажется, будто его Таня с ним говорит. После этого многие горячие головы решили, что Трыг и впрямь один из нас.

Как только эта информация разошлась, энтузиасты ГУЛАГа решили из солидарности повторить подвиг свободолюбивого орка, и одно время в глуми-шопах можно было заказать целый, как его называли, «Трыг-комплект» — банку оркских консервов, мешок картошки, гипсовую голову и пару пачек думедролла.

Как именно надо делать дырку в банке, Трыг не пояснил. Поэтому начались травмы. А оркские консервы — вещь ядовитая и антисанитарная. К тому же от этих таблеток страдала пространственная ориентация и способность адекватно оценивать обстановку. В результате несколько человек умерло от сепсиса, а кое-кто потерял детородный орган. Беднягам потом пришлось выращивать новый из ствольных клеток — а это удовольствие не из дешевых. В общем, народ забыл о политкорректности и глуми-солидарности, и ГУЛАГу пришлось начать собственное расследование.

Конечно, найти орка для нас — раз плюнуть. Вышли на его маниту в Желтой Зоне. Оказалось, у этого парня есть удаленный доступ к сети прямо из Славы, что вообще-то редкость. Так ребята из ГУЛАГА получили его адрес.

Вы, наверно, уже догадались, что это был тот самый заросший кустами дом в Славе, где свил свое гнездышко Бернар-Анри.

Никакого Трыга на самом деле не было.

Этот проект вел лично Бернар-Анри, а куратором была Алена-Либертина. «Трыга» могли бы еще долго-долго надувать через медийную соломинку, не будь покойный Бернар-Анри так самонадеян. Если бы он не

поленился уточнить у меня некоторые физиологические детали нашего быта, он никогда не попал бы в такую позорную ситуацию.

В ГУЛАГе пока не знали про Бернара-Анри, но уже догадывались, что Трыг — проект CINEWS. Поэтому они не стали уведомлять структуры, занимающиеся вопросами безопасности — все знают, что сегодня это просто ответвления кинемафии.

ГУЛАГ — такая сила, которая вполне может позволить себе собственную внешнюю политику (и даже иногда назначает каганов, как было, по слухам, с Рваном Дюрексом). Люди из ГУЛАГА негласно вышли на нового кагана, передали ему адрес и потребовали выяснить, что это за Трыг. Остальное я видел своими глазами. И даже принимал в событиях некоторое участие.

Алене-Либертине пришлось зачистить «Трыга» и свалить все на орков — так, чтобы можно было припомнить перед следующей войной. Дом был уничтожен вместе со всеми уликами. По официальной версии, первого оркского пупараса выследили и взорвали секретные оркские службы, убив при этом Бернара-Анри, пытавшегося стать его живым щитом.

Информационная служба ГУЛАГа послала в CINEWS запрос, что делала на месте гибели Трыга боевая телекамера, которую многие видели. В CINEWS ответили, что камера была послана для защиты Бернара-Анри, но опоздала, так как кто-то выдал адрес оркской охранке. В дальнейшем, говорилось в пресс-релизе, ГУЛАГу следует строго координировать усилия по поддержке прогрессивных оркских элементов с CINEWS, и тогда многих трагедий можно будет избежать. В новостях показали дымящиеся развалины дома, потом гулаговский трейлер сбросил на него полтонны роз, и пахнущую тушенкой страницу истории можно было считать перевернутой.

В общем, выкрутились. А скандал мог быть такой, что полетели бы многие головы, и Алена-Либертина попала бы под раздачу первой. Сто процентов, что начался бы серьезный политический кризис.

Don't fuck with the GULAG!

Конечно, эта история вызвала во мне отвращение и лишний раз напомнила, в каком циничном мире мы живем. Я всегда был противником политизации секс-меньшинств. Она только отвлекает от реальных проблем, стоящих перед gloomy people. А проблемы у нас есть, и очень серьезные — но такие, что общество еще не готово их обсуждать. Про допаминовый резонанс, например, никто просто не знает.

Теперь, я думаю, понятны будут мои чувства, когда выяснилось, что следующий выход оркской парочки в свет будет приурочен к открытию...

Мемориала Трыга.

Да-да. Ни больше и ни меньше. В CINEWS решили — фактически плюнув в лицо ГУЛАГУ, с которым не проводилось никаких консультаций, — открыть мемориал пупараса Трыга, умучанного в собственном доме оркской охранкой. И не просто памятник, а целый музей с экспонатами — об этом объявили по всем информационным каналам. ГУЛАГУ ничего не осталось, как сделать хорошую мину и подключиться в последний момент, оставив разборки на потом. А ребята из CINEWS, не будь дураками, тут же заставили ГУЛАГ оплатить мемориал из своей кассы.

«И вечный бой, покой нам только снится...» — совершенно точно подметил древний поэт. Он, кстати, тоже был пупарасом в душе. Не зря ведь писал всю жизнь про арлекинов да незнакомок в масках — сегодня любой психоаналитик понимает, что это значит.

Алена-Либертина, которая лично проводила церемонию открытия, потребовала, чтобы я пришел туда вместе с Каей. Это, как она объяснила, был не столько совет, сколько приказ.

— Вылазь из клозета, Дамилола, — сказала она игриво. — Мы все про тебя знаем.

— Я ничего и не скрываю, — огрызнулся я. — Просто моя девочка никогда раньше не выходила из дома.

— И ты боишься, что у нее пропадет молоко?

Я хотел было заметить, что предклимактериальной даме опасно шутить на постклимактериальные темы, но как всегда сдержался. В древности военного летчика мог спасти парашют, а в наши дни — только железная выдержка.

Алена-Либертина стала объяснять, что по линии CINEWS я буду сопровождать Грыма с Хлоей. Но я еще и член глуми-коммьюнити, а участие Каи — это просьба руководства ГУЛАГа, ибо ГУЛАГ хочет, чтобы народ наконец поверил, что суры сегмента «хай энд» доступны, пусть и с некоторыми оговорками, представителям среднего класса.

Постепенно от сердца у меня отлегло. Я, если честно, даже почувствовал укол тщеславия. Нельзя владеть бесценным сокровищем и всю жизнь прятать его от людей — желание похвастаться будет постоянно копиться в подсознании и в какой-то момент может выплеснуться самым безрассудным образом. Так что все, возможно, было к лучшему.

Надо было решить, как сказать об этом Кае. И здесь мне, конечно, помог мой служебный опыт.

Ведь в чем суть медиа-бизнеса? Когда к людям приходит горе,

постарайтесь хорошенько его продать в виде новостей — и будет вам счастье. В этот раз проблемы появились у меня самого — но, похоже, вместе с ними приплыл и шанс трансмутировать свою головную боль в удовольствие. Достаточно было выдать приказ начальства за приступ личного благородства — и получить у Каи хороший допаминовый кредит.

Есть простое правило: когда вы проявляете великодушие, следует делать это безыскусно и просто — ибо, если вы произнесете слишком много слов, благодетельствованный может случайно заглянуть вам в душу, и смажется весь эффект.

— Кая, — сказал я на следующее утро, — у меня для тебя хорошие новости.

— Какие? — спросила она.

— Ты просила, чтобы я снял пространственную блокировку. Я согласен. Ты сможешь выходить из дома. И еще я познакомлю тебя с Грымом.

Она подняла на меня очень внимательные глаза. То ли мне кажется, то ли это действительно так, но она совсем забывает, что надо моргать, когда что-то интересует ее по-настоящему.

— Сегодня мы пойдем на открытие одного мемориала, — продолжал я. — Там будут люди, которые могут с тобой заговорить. Поэтому запомни: все, что ты до сегодняшнего дня видела на моем боевом маниту — личная информация.

Кая кивнула. Я знал, что меня услышала подпрограмма, реагирующая на кодовые слова «личная информация», поэтому дальше можно не объяснять — никаких секретов она никому не выдаст.

— Там будет и Грым. Ты сможешь с ним познакомиться. Но за это...

Она подскочила ко мне и звучно чмокнула меня в рот.

— За это что хочешь, толстый...

Следующие два часа я не стану описывать.

Хотя бы потому, что любой рассказ о физической канве происходившего (а все подобные отчеты так или иначе сводятся к этому) создаст у читателя ложное ощущение, будто он все понимает — и мой опыт не так уж и отличается от того, что он проделывает со своим мешком картошки, обожравшись думедролом в субботний вечер.

Снимай нас камера, ничего особенного внешний наблюдатель не увидел бы. Возможно, наше соитие показалось бы ему похожим на брак двух ленивцев: вместо жизнеутверждающих движений, понятных любому доброжелателю, он увидел бы вялые поглаживания.

Но внутренняя реальность часто отличается от внешней. Через пять

минут этого медленного танца я чувствовал себя бурлящим чайником, у которого сорвало крышку — и то, что было раньше моей личностью, превращалось на огне невыносимого наслаждения в облако пара, в одну из тех выкипевших душ, что плывут в синей пустоте неба под видом облаков...

Когда я пришел в себя, Каи уже не было рядом — она деловито одевалась.

Я наконец увидел, что за одежду она себе купила.

— Ты хочешь вот в этом...

— Хоть сюда ты не суйся, — наморщилась она. — Неужели ты думаешь, что и в этом понимаешь?

Она надела мешковатое черное платье с огромным «смайлом» — двумя белыми точками глаз и полукругом улыбающегося рта, из которого вдобавок торчал красный высунутый язык. Приглядевшись, я понял, что это даже не платье. Это была мужская майка большого размера.

Вообще в жару так ходят многие оркские девчонки. А наша молодежь часто перенимает их моду — как говорят дискурсмонгеры, в знак протеста против менеджмента.

Такое «платье» выглядит своеобразно. Самое интересное, конечно, происходит с грудью, потому что лямки майки не столько скрывают ее, сколько дают формальный повод считать приличия соблюденными.

Кае это ужасно шло.

Еще она подкрасила зеленым одну бровь — опять по последней оркской контркультурной моде.

— Еще синяк нарисуй, — сказал я.

— Ты лучше на себя посмотри.

Оказалось, девочка была права.

Когда я зашел в комнату счастья и поглядел в зеркало, я увидел под своими глазами темные круги. Не очень заметные — такие могли появиться после бессонной ночи. Но раньше у меня их никогда не было. Я наскоро привел себя в порядок, надел парадную форму CINEWS INC, и мы под руку с Каей вышли из дома.

Я, если честно, чувствовал себя немного дико — но Кая вела себя так, словно для нее это самое привычное дело. Собственно, вести себя так, словно все это для нее самое привычное дело, и было для нее самым привычным делом.

Через пять минут труба выплюнула нас на заполненную людьми эспланаду, где был оборудован этот самый пленэр-мемориал.

Под него выделили стандартный стометровый бокс с прямым выходом

из трубы, что указывало на высокий статус происходящего.

Фуршет уже начался, и было довольно много народу. Вокруг Алены-Либертины, надевшей по такому случаю серебристый хитон и большие рубиновые сережки, кучковались люди из нашего отдела новостей. ГУЛАГ представляли несколько известных пупарасов со своими сурами.

От дружественных секс-меньшинств пришли звезды первой величины — дыб-триэт «Лес Три»: трое стриженных наголо девчонок в кожаных фартуках (точь-в-точь как в своем предвоенном клипе «Оркское Мясо Rare»). До этого я их видел только на маниту. В реальности они были так же обворожительны — только раньше мне казалось, что они намного выше ростом.

Девочки уже раздали автографы и явно скучали — их пригнали сюда из-за хита «Пупарас Трыг — Мое Сердце Прыг», который они имели неосторожность исполнить месяц назад, и теперь им приходилось отрабатывать карму. По тому, как они стояли и в какую сторону улыбались, сразу можно было определить, где над залом висят микрокамеры. «Пупараса Трыга» заводили раз за разом, и, когда стоявший в стороне сомелье поднимал руку, девочки начинали приплясывать и подпевать собственной записи.

Большое количество секьюрити в неброских синих и серых тогах свидетельствовало о присутствии кого-то очень важного. Но я глазам своим не поверил, когда понял, что приближающийся ко мне усталый немолодой человек в черном кавалерийском плаще — это Давид-Голиаф Арафат Цукербергер.

Может быть, он и не самый известный пупарас, но самый богатый — точно. Он один из попечителей Резерва Маниту, а этих ребят даже нет смысла называть богачами, потому что на них, как на китах, держится чужое богатство и бедность. Живут они там же, где звезды снафов — в огромных виллах в верхней части офшара, куда камерам запрещено подниматься. Летчик может посмотреть на их жилища, только если его наймут устраивать фейерверки во время их вечеринок. У них там открытые сады с невидимыми кондиционными экранами. Райские кущи. Но если подлететь к такому саду слишком близко, собьют без предупреждения.

Давид-Голиаф не самая большая величина в Резерве, но для всех остальных смертных он божество. И вот теперь этот бог шел ко мне, улыбаясь как равному, — а рядом с ним шагал его новый сур. Я даже вздрогнул, когда его увидел.

Суры Давида-Голиафа — это, если честно, и смех и грех. Причем смеха в коктейле максимум десять процентов, а все остальное именно что

грех. Если какая-то из его куколок приснится ночью, можно и не проснуться.

Но зато он стопроцентный глуми и один из столпов ГУЛАГа. Я его уважаю, потому что он гордый и внутренне свободный человек, не боящийся чужих сплетен. Вместо того, чтобы уйти в подполье (где, как я полагаю, томится большинство его коллег по Резерву), он содержит целый штат сомелье и юристов, которые мониторят информационную среду и дают вежливую, но резкую отповедь каждому, кто начинает упражнять свое остроумие или гражданскую совесть по поводу его суров.

«Не желая слепо потакать интенциям и вкусам, индуцированным в его психике наследственной памятью и принудительной культурной кодировкой, наш клиент старается направить разрушительные силы своего либидо в такое русло, где они не причинят вреда никому. Это безупречная гражданская позиция, и было бы прекрасно, если бы наши обличители и критики могли с чистой совестью сказать про себя то же самое...»

И так далее. Он, насколько я понимаю, вообще никогда не пробовал натуралов. Ему нравятся маленькие мальчики — но такие, каких природа не производит. Его суры (а у него их целый гарем) — это юркие карлики с хищными лицами, которые похожи на детей, но не вполне человеческих. А фаллоимитационный блок у них такого размера, что Давид-Голиаф, не выдержав насмешек, с какого-то момента стал одевать их только в длинное и свободное.

Сур, которого Давид-Голиаф вел на поводке, был ростом ему по пояс. Выглядел он, чего говорить, жутко — такой хищный большеголовый ребенок в шипастом ошейнике, который только что позавтракал небольшим динозавриком и теперь ищет, чем бы ему отобедать. Руки у него были скованы цепью, а одет он был в нечто вроде смирительной рубашки из черного шелка («Hate Couture» от Адольфа-Кики Диора Гальяно — я слышал, что этот дом моды живет исключительно тем, что обшивает кукол Давида-Голиафа).

Но внешняя оболочка не могла меня обмануть — я знал, что внутри у этого страшненького существа такая же начинка, как у моей Каи. И это, надо сказать, наполняло меня гордостью — даже Давид-Голиаф не мог себе позволить ничего лучше. Просто потому, что ничего лучше в природе не существовало.

Кая и спутник Давида-Голиафа увидели друг друга.

У сур существует определенный протокол общения, и они способны с чудовищной скоростью обмениваться информацией по беспроводной связи. Чтобы пользователи знали, когда это происходит, суры издают мелодичный свист (к этому их обязывает закон, принятый по настоянию потребителей — чтобы пожилые подозрительные бабушки знали, когда их резиновые болонки пытаются вступить в заговор). Причем в законе оговорена минимальная длительность такого свиста, потому что обмениваются информацией суры очень быстро.

Встреча моей Каи с суром Давида-Голиафа выглядела так: они шлепнули ладонью о ладонь (молодежное приветствие), Кая свистнула, а сур присвистнул в ответ.

Кая поглядела на меня и сказала:

— А мой...

И опять свистнула.

Что именно она свистнула, я, конечно, не знал — но маленький спутник Давида-Голиафа захохотал.

Мне почему-то показалось, что она пеняет братцу по касте на нашу тщательно скрываемую бедность. Это было для меня особенно невыносимо, поскольку причиной была она сама. Может быть, она и правда считает, что я недостаточно для нее обеспечен? Презирает за неспособность вырвать у этого враждебного мира достойный ее кусок богатства? Я почувствовал, как мои щеки становятся горячими.

— А у нас... — сказал адский мальчик, и еще раз свистнул.

Кая в ответ только развела руками.

Конечно, уже через секунду я сообразил, что они не обменивались никакой личной информацией — такое строго запрещалось на программном уровне, иначе через сур могли бы воровать банковские пароли. Это было попросту еще одним способом эмоционально вовлечь нас в происходящее — и, надо признать, попытка удалась: Давид-Голиаф тоже побагровел. Но быстро пришел в себя, ухмыльнулся и спросил:

— На максимальном?

— На максимальном, — вздохнул я.

И сразу заметил темные круги под его глазами, замазанные тональным кремом. Тут мы словно обменялись телепатическим свистом, совсем как наши суры — и чуть заметно моргнули друг другу. Я понял, что он знает про допаминовый резонанс, а он понял, что знаю я.

— Вот так они нас, да?

Я кивнул.

Мы с чувством пожали друг другу руки и разошлись. О чем тут было еще говорить?

Давид-Голиаф скоро отбыл — и в зале стало гораздо свободнее, потому что почти половина собравшихся была его охраной. Не знаю, как они его охраняют в дороге — уезжать им пришлось в несколько приемов.

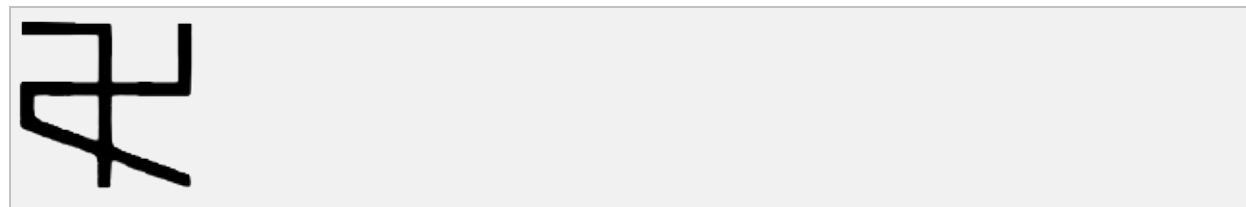
Я не успел еще прочувствовать до конца, что пожал руку самому Давиду-Голиафу Арафату Цукербергеру, а навстречу мне уже шла Алена-Либертина.

— Где Хлоя? — спросила она, — Девочка нужна мне в кадре.

— Не знаю, — ответил я, — Похоже, они с Грымом еще не прибыли.

— Может, заблудились?

— Не думаю, — сказал я, — Дойти по коридору до трубы сможет даже орк... А, вот и они. Легки на помине.



Когда Грым увидел, как Хлоя оделась для их первого совместного выхода в свет, он пришел в ужас.

Идти надо было на открытие какого-то воздвигнутого по оркскому поводу «пленэр-мемориала» (в комитете по встрече объяснили, что их отсутствие на подобных мероприятиях будет выглядеть непонятно), поэтому некоторая оркская специфика в одежде была уместна.

Но Хлоя напялила на себя белую мужскую майку, где был намалеван улыбающийся рот с высунутым красным языком. То есть оделась, без всяких преувеличений, в точности как те девушки из пригородов Славы, которые дают во все дыры за два маниту.

Когда Грым в довольно грубой форме объяснил ей, что он думает по этому поводу, Хлоя молча подвела его к маниту и открыла каталог сезонной моды. Оказалось, солдатские майки (100 % Аутентичный Натуральный Оркский Пошив, в Черном и Белом вариантах) — самый писк здешней моды, и стоят они столько, что внизу на эти деньги можно купить небольшое крестьянское хозяйство.

После этого Грым потерял всякую эстетическую ориентацию и безропотно позволил Хлое одеть его в полосатые шорты со штанинами разной длины и клоунскую майку с колпаком-капюшоном. Еще она купила

ему новую прическу: самовспучивающаяся лента собрала волосы Грыма в поднятый над головой ирокез, заодно выкрасив их в цвет выгоревшего на солнце сена.

Хлоя задумчиво оглядела результат.

— Тебе бы, конечно, пошла того, — сказала она, — но не факт, что нам можно их носить. Мы же все-таки орки. Поэтому на первое время сойдет и так.

Когда двери трубы раскрылись, Грым не поверил своим глазам. Перед ним была большая... поляна в лесу. Вокруг прогуливались люди в самых невероятных нарядах, разглядывая стоящие на поляне стенды и витрины.

Экспозиция была старомодно-торжественной — она состояла из 20-фотографий и предметов, размещенных в избыточно массивных оправах из полированной стали внутри прочных стеклянных боксов. Монументальность информационных объектов символизировала незыблемость памяти. А сразу за стендами и шкафчиками начинались кусты и деревья, пели далекие птицы, и заходящее солнце дробилось в покачивающейся под ветром листве.

Скоро Грым заметил, что все люди находятся в достаточно тесном прямоугольнике, образованном стендами с экспозицией — и ни один не идет к солнцу и птицам. Тут же фокус восприятия сместился, и он понял, что находится в небольшом зале размером примерно десять на десять метров, стены которого с невероятной достоверностью изображают трехмерный мир — так же, как окна в его доме.

Сначала Грым боялся, что вырядившаяся проституткой Хлоя вызовет всеобщий смех. Но потом он увидел девочку в черной майке с точно таким же рисунком.

Она стояла рядом с Дамилолой, одетым в униформу летчика CINEWS. Когда Дамилола приветственно помахал рукой, она помахала тоже и улыбнулась.

Видимо, это была его дочь.

Она выглядела чуть моложе Хлои. Ее темные, почти черные волосы были острижены в простую и строгую прическу с челкой и боковыми прядями до плеч — словно на ее голове был шлем, покрытый блестящим темным лаком. Одна ее бровь почему-то была зеленой. Она была немного бледной. И очень, очень красивой.

Настолько красивой, что эту красоту можно было бы развести в сотне женских лиц, и хватило бы на всех. Хлоя рядом с ней казалась... Не то чтобы дурнушкой. Просто становилось понятно, что смазливость ее мордашки — всего лишь частный случай универсального правила,

сформулированного природой в бледном лице незнакомки. Эта белокожая черноволосая девочка стояла гораздо ближе к источнику красоты, чем все те лица, которые прежде видел Грым.

Глядя на нее, он испытал странное и незнакомое прежде чувство, чуть похожее на обиду. Как если бы оказалось, что незримый луч Маниту, через который свет проникал в его душу, вдруг перешел на другое существо, чище и лучше его. И правильно сделал, что перешел — если бы на месте луча был сам Грым, он поступил бы так же.

Все эти переживания пронеслись сквозь него очень быстро. А потом он стал замечать детали.

Во-первых, ее майка оказалась на пару размеров больше, чем у Хлои, отчего глядеть ей в лицо было сложно — глаза постоянно норовили съехать ниже, и Грым вынужден был признать, что Хлоя рядом с ней казалась одетой чопорно.

Во-вторых, незнакомка смотрела на него, улыбалась и махала рукой с таким видом, словно они давно уже знают друг друга.

Дамилола обнял ее за плечо. Девочка экономным и точным движением стряхнула его руку. Стоящая рядом дама в серебристом хитоне усмехнулась, и Грым узнал Алену-Либертину, которая изменила прическу и покрасила волосы в другой цвет. Когда Грым с Хлоей подошли, она кивнула Грымму, взяла сладко зажмурившуюся Хлою под руку и повела ее в дальний угол.

Грым обратил внимание, что девочка в черной майке и Хлоя каким-то удивительным образом ухитрились не заметить друг друга, оказавшись совсем рядом — и понял, что так случилось из-за одинаковых маек. По этой же причине, видимо, они немедленно разлетелись в разные концы зала, как два оттолкнувшихся заряда одного знака.

— Привет, Грым, — сказала девочка. — Я Кая.

Грым не удивился своей известности — ведь не зря же их с Хлоей в день прилета снимало столько человеческих камер.

— Привет, — ответил он и поднял глаза на Дамилолу. — Это ваша дочь?

Дамилола наморщился, словно Грым сказал бестактность. Кая, наоборот, засмеялась, показывая острые жемчужные зубы.

— Он мой carbohydrate parent.

— Твой кто? — переспросил Грым.

— Она шутит, — сказал смущенный Дамилола. — Есть такая церковноанглийская идиома — «sugar daddy», сахарный папашка. Пожилой мужчина, который содержит молодую девушку и делает ей всякие подарки.

— А ты мне никаких подарков не делаешь, — сказала Кая. — Поэтому ты не сахарный папашка, а вот именно что карбогидратный родитель. Или даже сахариновый опекун, был такой заменитель сахара.

— А почему опекун? — спросил Дамилола.

— От глагола «печь».

Грымму стало неловко, что при нем началось семейное выяснение отношений, и он попытался перевести разговор на другую тему.

— Уже посмотрели... э-э... выставку? — спросил он.

— Нет, — сказал Дамилола.

— Давайте глянем, — предложил Грым.

Дамилола нервно пожал плечами — но Кая уже шла вместе с Грымом к большому стеклянному кубу в начале экспозиции.

Внутри, на подставке из полированной стали, стояло три одинаковых стеклянных банки, похожих на аптечные емкости с притертой пробкой. Банки были большие, литров по пять каждая. Их плотно заполнял серый неоднородный порошок. На стальной подставке была траурно строгая табличка:

ASHES OF THE GLOOMY

— Пепел пупарасов, — сказал Дамилола.

— Что, настоящий? — спросил Грым, стараясь, чтобы его голос звучал уважительно.

— Я не знаю, — ответил Дамилола. — Возможно. Но это надо понимать символически. Смысл здесь не в демонстрации того, во что превращаются наши тела. Мы хотим напомнить о страданиях, выпавших на долю меньшинств. И о том, что меньшинства продолжают страдать и поныне...

Следующим был большой стальной стенд с черно-белыми фотографиями. Грым увидел деревянный оркский дом, со всех сторон обсаженный кустами. Он сразу узнал его — и вздрогнул, ощутив волну липкого страха. Главное было не сболтнуть, что он бывал там и сам — об этом его с Хлоей очень строго предупредили перед первым же эфиром.

Под фотографией дома были увеличенные граффити с его стен — намалеванные распылителем спастики и слова «СМРТЬ ГЛУМАРАСИМ!». Такого Грым совсем не помнил. Надпись, конечно, могли закрасить и до его визита, но было не совсем понятно, почему она на средне-сибирском, словно писал не хулиган, а государственный чиновник. А

на другой фотографии, возле пятна от разбившейся банки чернил, краснело простонародное «ГНОЙНЫЙ ПУПОР». Смысл, видимо, был в том, что Трыг подвергался травле со стороны всех сегментов оркского общества.

Грым почувствовал, что Кая дергает его за руку.

На самом деле она дернула не за руку, а за большой палец, аккуратно охватив его своим кулачком. И хоть этот жест был вполне приличным — разве что слишком непосредственным, — Грым почувствовал, как по его телу, от лобка до горла, пронеслась колесница, сделанная напололам из огня и льда. Внимательно следивший за ними Дамилола сделал такое лицо, словно у него заболел зуб.

— Чего? — спросил Грым.

— Ты когда-нибудь думал, — заговорщическим голосом спросила Кая, — почему мировая олигархия так выпячивает права половых извращенцев?

Такого смелого разговора Грым не слышал даже в оркской казарме.

— Нет, — сказал он, широко открыв глаза. — А почему? Потому что они сами извращенцы?

— Дело не только в этом, — ответила Кая. — Власть над миром принадлежит финансовой элите. Кучке мерзавцев, которые ради своей прибыли заставляют всех остальных невыразимо страдать. Эти негодяи прячутся за фасадом фальшивой демократуры и избегают публичности. Поэтому для актуализации наслаждения им нужна группа людей, способная стать их скрытым символическим репрезентатом в общественном сознании... Я понятно говорю?

Грым неуверенно кивнул.

— А зачем им это надо? — спросил он.

— Чтобы на символическую прокси-элиту, составленную из извращенцев, пролился дождь максимальных преференций, и реальная тайная элита испытала криптооргазм по доверенности. Это же очевидно.

— Что ты несешь? — сказал Дамилола сердито. — По-твоему, все эти люди вокруг, которым небезразлична судьба пупарасов...

— Всем вокруг глубоко безразлична судьба пупарасов и прочих говноедов, — перебила Кая, глядя почему-то на Грыма, — Просто люди трусливы, и все время лижут то воображаемое место, через которое, по их мнению, проходит вектор силы и власти. А реальная власть в демократуре никогда не совпадает с номинальной. Полный произвол элиты в выборе объектов ритуального поклонения и делает возможным криптооргазм по доверенности.

Дамилола взял Каю за ухо двумя пальцами.

— А ну-ка заткнись, — велел он, — Говори, где ты все это вычитала?

— Бернар-Анри Монтень Монтескье, — сказала Кая, изящно выворачиваясь из захвата, — Тракта́т «Мертвые Листы». Мне кажется, в высшей степени уместная цитата. Это ведь и его мемориал тоже, разве нет?

— Если Бернар-Анри такое и написал, — пробормотал пристыженный Дамилола, — то не для того, чтобы это кто-то читал. Во всяком случае, кроме других дискурсмонгеров. Именно поэтому книга на старофранцузском. Сам бы он такого на людях никогда не сказал.

Кая ничего не ответила.

Грым остановился у следующего стенда, покрытого фотографиями и столбцами текста.

В верхней его части был портрет жирного древнего военачальника в эполетах, с черной повязкой на глазу. Подпись гласила, что это фельдмаршал Кутузов — сибирский полководец раннего проволочного века, изобретатель газовой бомбы, которой была сожжена старинная оркская столица вместе с занявшими ее силами объединенной Европы во главе с рейхсканцлером Наполеоном.

Ниже был сделанный с воздуха снимок, заставивший сердце Грыма дрогнуть. Похожую фотографию мог бы сделать и он сам, будь у него камера во время боя на Оркской Славе.

Это была тачка с четырьмя синими баллонами — та самая газовая бомба, которую на его глазах покати́л в дымы взвод смертников со свирелями. На фотографии виден был даже сидящий между баллонами парень со спусковой веревкой в руке.

Столбец текста разъяснял, что это и есть воскрешенное оружие древних орков, издавна применявшееся ими против сексуальных меньшинств. Бомбы Кутузова убили уже двух выдающихся византийцев — фон Триера и Бернара-Анри, и нависшая над цивилизацией угроза требовала немедленного ответа. Который, *make no mistake*,^[18] впоследствии.

Снизу была схема подкопа под дом пупараса Трыга, по которому ганджуберсерки подвели бомбу Кутузова. Из-за тщательно прорисованных геологических слоев разрез выглядел очень убедительно.

— Уже можно догадаться, по какому поводу будет следующая война, — сказал Дамилола грустно.

— Из-за пупарасов? — спросил Грым.

— Нет. Из-за того, что Рван Контекс использовал газ в качестве оружия. Война за пупарасов будет потом. Но я, конечно, могу и ошибиться. Поживем-посмотрим.

Кая поглядела на Дамилолу, но не сказала ничего.

На следующем стенде был представлен условный Трыг-комплект — открытый мешок с восковой картошкой, отбитая голова какой-то старинной статуи со змеями вместо волос, пачка таблеток, банка оркской тушенки и устрашающего вида зазубренный кинжал. Красная предупреждающая табличка убедительно рекомендовала не пытаться самостоятельно повторить подвиг легендарного пупараса.

Дальше был шкафчике личными вещами Трыга (особенно трогала алая детская шапочка с двумя помпонами на завязках) и распечатанные отрывки из его блога, где бичующие тиранию места были выделены жирным шрифтом. Но у Грыма это уже не вызвало интереса.

Бернару-Анри, погибшему вместе с Трыгом, был посвящен только один стенд, самый последний (Дамилола объяснил, что эту часть экспозиции финансировал не ГУЛАГ, а отдел общественных связей CINEWS INC, известный своей прижимистостью). Выглядел стенд более чем просто — на подставке из полированной стали помещалась фотография грустно улыбающегося философа. Ниже были два рукописных отрывка из «Les Feuilles Mortes» на старофранцузском (видимо, покойный специально переписал их от руки для факсимильного воспроизведения). Рядом был церковноанглийский перевод:

С.Н.А.Ф.Ф. — это сама жизнь, где в числителе любовь, а в знаменателе смерть. Такая дробь равна одновременно нулю и бесконечности — как и взыскующий ее Маниту.

Смысла этих слов Грым не понял совсем, но не решился спросить, подумав, что Кая опять чем-то расстроит Дамилолу. Зато второй отрывок показался чуть яснее:

Критикуя репрессивный оркский режим, мы часто забываем, какова его подлинная природа. И чем сложнее определения, которыми мы пользуемся, тем запутаннее кажется вопрос. Однако суть можно объяснить предельно просто.

Режим — это все те, кому хорошо живется при режиме.

Сюда входят не только берущие взятки столоначальники и ломающие черепа ганджуберсерки, но и игриво обличающие их дискурсмонгеры, проворные журналисты из Желтой Зоны, титаны поп- и попадаья-арта, взывающие к вечным ценностям мастера оркской культуры, салонные нетерпилы и прочие гламурные вертухайи, ежедневно выносящие приговор режиму на

тщательно охраняемых властями фуршетах.

Следует помнить, что непримиримая борьба с диктатурой — одна из важнейших функций продвинутой современной диктатуры, нацеленной на долгосрочное выживание. Подельники уркагана могут пустить на самотек образование и медицину, но никак не эту чувствительнейшую область, иначе может произойти непредусмотренная ротация власти. Отсюда этот страшный дефицит честности внизу — ибо любая оркская «новая искренность» есть не что иное, как хорошо забытая старая ложь.

Все это уже было. Много раз было.

У Трыга внизу совсем нет друзей.

Vive la revolution!

БАММ

Грым поглядел на Дамилолу, потом опять на цитату. Дамилола пожал плечами.

— Их нет и наверху, — буркнул он.

— А? — не понял Грым.

— Я про друзей, — сказал Дамилола. — Сам не понимаю, чего здесь это повесили. Наверно, внизу слишком много добровольных помощников развелось. Войны через две-три будем бомбить Желтую Зону, вот общественное мнение и готовят. Но тебе это не важно, парень. Ты теперь на свободе...

Мысль про природу режима показалась Грыму в целом верной — он всегда чувствовал что-то похожее. Правда, непонятно было, распространяется ли обобщение на самого Бернара-Анри.

Хлои нигде не было видно. Осмотрев зал, Грым убедился, что она уже исчезла — вместе с Аленой-Либертиной. Отбыли не попрощавшись...

Кая увидела, как он помрачнел.

— Поехали отсюда, — предложила она. — Куда ты хочешь, Грым?

— Он нигде еще не был, — сказал Дамилола. — Для него это первый выход в свет. Что тебе интересно увидеть?

— Лондон, — без колебаний ответил Грым.

— Почему именно Лондон?

— Туда все наши уезжают, — сказал Грым. — Кто добился успеха в жизни.

— Ну хорошо, — согласился Дамилола. — Лондон так Лондон. Мне не нравится, как там кормят. Хотя одно хорошее место я знаю... А где Хлоя?

— Она уже уехала, — сказал Грым. — С Аленой-Либертиной.

— А, — ответил Дамилола. — А. Ну тогда в путь?

Грым вдруг понял, что Кая опять держит его за руку.

Ее рука была теплой и сухой. Она поскребла пальцем по его кисти, словно чтобы привлечь его внимание к тому обстоятельству, что она держит его за руку. И Грым, удивляясь сам себе, так же поскреб пальцем в ответ.

Кая посмотрела на него, улыбнулась и потащила к дверям трубы. Дамилола пошел следом — если он и заметил что-то, то никак этого не показал.

В кабинке метролифта Дамилола несколько раз ткнул пальцем в маниту. Грым увидел веселую надпись:

GULAG recommends:

BI GBEN

— Ну вот, — сказала Кая, — папашка опять потащит нас по своим педрильным притонам.

— Притоны здесь ни при чем, — проворчал Дамилола. — Это самый хороший ресторан в Лондоне, который я знаю. Глобальные урки сюда почти не ходят. И то, что он в реестре Гулага — просто совпадение.

— Да-да, — сказала Кая. — У нас никаких сомнений.

Услышав это «нас» и увидев гримасу Дамилолы, Грым понял, что ему следует тщательно избегать любого участия в семейном выяснении отношений. Кая по прежнему держала его за руку, и он, чтобы чем-то себя занять, стал изучать контрольный маниту.

На нем мелькали всякие веселости: воздушные шары, мультяшные герои, анимированная реклама новой диеты — а в нижней части дрожали большие зеленые цифры обратного отсчета. Грым решил, что это время до пункта назначения. И точно, когда на маниту выскочил ноль, дверь открылась.

Впереди был зал размером примерно с мемориал Трыга — со столиками, стоящими возле высоких окон. Заметив сверху какое-то движение, Грым поднял глаза — и обомлел.

В таинственной полутьме над головой вращались масляно блестящие шестерни и дуги, и качался огромный тяжелый маятник, с каждым взмахом

посылая по залу ощутимое дуновение воздуха. Там был часовой механизм, только очень большой. И если он тоже был иллюзией, то она достигла просто небывалого правдоподобия.

А за окнами во все стороны простирался видимый с высоты птичьего полета древний город.

— Это Лондон? — спросил Грым.

— Лондон, — подтвердил Дамилола. — Исторический вид из часовой башни. Насколько его удалось восстановить по сохранившейся 3D-панораме.

По залу к гостям уже спешила огромных размеров черная женщина в старинном платье — из белого шелка с зелеными рукавами. У нее была шоколадная кожа и седые дреды, неприятно напомнившие Грымму об оставшихся внизу ганджуберсерках.

— Чем буду угощать? — спросила она неожиданно низким мужским голосом.

Посмотрев на нее внимательней, Грым увидел, что ее огромные груди не настоящие — это были набивные выступы на расшитом серебром лифе. Перед ним был мужчина.

— Как обычно, Гбен, — сказал Дамилола лениво, — Все как обычно, старина.

Пожилой негр уставился на Дамилолу с недоумением — впрочем, вежливым.

— Как в прошлый раз, — сделал еще одну попытку Дамилола.

Негр вновь изобразил предельно почтительное непонимание. Молчание становилось тягостным.

— Меню номер семь, — не выдержал Дамилола.

— А деткам? — спросил негр.

— Тоже, — хмуро сказал Дамилола.

— То есть три меню номер семь?

— Нет, — сказал Дамилола. — Два. Девочка есть не будет.

Негр с сомнением поглядел на Каю, потом на Дамилолу — и тут же улыбнулся, словно хотел показать, что вовсе не думает, будто видит перед собой скупердяя-отца, морящего дочь голодом. Вежливо кивнув, он пригласил гостей садиться. Дамилола выбрал столик с видом на реку. Выглядел он хмуро, и Грымму стало немного его жаль.

Но панорама поразила его настолько, что он сразу про все позабыл.

За окном высились ажурные серо-коричневые башни со стрельчатыми окнами, шпилями, даже флагом на высокой мачте — настоящий сказочный замок.

— Что это? — спросил Грым.

— Парламент, — ответил Дамилола.

Видимо, так назывался подобный тип замка.

За парламентом был виден мост над рекой, а дальше в тумане поднимались уступы огромных серых домов древней кладки. Были различимы даже разноцветные коробочки моторенвагенов и крохотные точки людей, бредущих по улицам. Грым впитывал в себя лучи хмурого серого света, проходившие сквозь стекло, и никак не мог насытиться увиденным.

Прямо перед ним темнели висящие над городом архитектурные украшения — массивные каменные шары в золотых оправках, с крестами, коронами и похожими на цветы виньетки. Грым хотел спросить, что это — металл или крашеный под золото камень, но тут же понял всю бессмысленность такого вопроса.

Негр с фальшивыми грудями подошел к столу и поставил на него поднос с напитками.

— Гбен Мабуту отличный повар, — сказал Дамилола, когда тот отошел. — Но он, между нами, колет себе слишком много анаболических стероидов, чтобы поддерживать мышечную массу. Поэтому у него не все хорошо с головой... Ты любишь африканскую еду, Грым?

— Не знаю, — ответил Грым. — Я никогда не пробовал. А что это?

— Ну там финиковый хлеб, — сказал Дамилола, — кускус... баба гануш... соус бербер... Тебе понравится, местами похоже на оркскую кухню.

Грым плохо представлял себе, что такое оркская кухня, поэтому ничего не сказал.

— А где живут богатые орки? — спросил он.

— В каком смысле? — удивился Дамилола.

— Это ведь Лондон?

— Лондон.

— Я слышал, что здесь живут все наши богачи.

Дамилола засмеялся.

— Грым, — сказал он, — Лондон в наше время — всего лишь вид за окном. Никакого другого Лондона уже много веков как нет. Если богатые орки живут здесь — а они действительно здесь живут, — это значит только одну вещь. Они видят за окном ту же самую 3D-проекцию. То есть почти ту же самую. И встречаются в ресторанах с видом на эту местность.

— Не понимаю, — сказал Грым. — Ведь такую проекцию у себя за окном может включить кто угодно.

— Вовсе нет, — ответил Дамилола. — Это запрещено законом. Вид за окном — неотъемлемая часть жилища и оплачивается вместе с ним. Если у тебя много денег, ты можешь выбирать. Но бесплатно он может быть изменен только по решению суда и согласию муниципалитета. Поэтому оконный вид называется муниципальным.

— Зачем так сделано?

— Бизнес, — вздохнул Дамилола. — У владельцев недвижимости мощное лобби. Они продавили этот закон давным-давно, задолго до моего рождения. С первого взгляда он, конечно, кажется абсурдом. Но на самом деле смысл в нем есть.

— Какой?

— У нас здесь очень мало места. Если не брать самых богатых людей, все живут в похожих боксах, где в каждый кубический миллиметр вбухано столько технологий, что жилище безработного мало чем отличается от дома богача. Вид за окном — это один из немногих параметров, позволяющих поддерживать в обществе некое подобие социальной стратификации. От него зависит арендная плата. У тебя, например, тосканские холмы. Это дорого, и ты можешь позволить себе такой вид только потому, что унаследовал его от Бернара-Анри... Тоскана — это стильно. А вот Лондон покупают в основном орки.

— Лондон дешевле?

— Лондон намного дороже, — засмеялся Дамилола.

— А можно подделать вид в окне? — спросил Грым.

— Да. На короткое время. Будет выглядеть даже лучше муниципального — их программы старые. В них много багов, их постоянно глючит. Но подделку обнаружит киберсекьюрити при первом же сканировании. Огромный штраф. И потом, паленый вид из окна — это позор на всю жизнь.

— А почему позор?

— Ну представь, человек делает вид, что живет в Париже. Вечеринка в разгаре — и вдруг сирена, а поперек Эйфеловой башни вылезает огромная красная надпись «ILLEGAL CONTENT». Врагу не пожелаешь.

Грым замолчал, обдумывая услышанное. Потом что-то легонько ткнуло его в ногу. Он поднял глаза.

На него смотрела Кая.

— Грым, — спросила она, — ты веришь в любовь с первого взгляда?

Дамилола тихо засмеялся.

Похоже, его совсем не раздражало странное поведение Каи — он даже находил в ее выходках удовольствие. Грым удивленно нахмурился — было

непонятно, с чего это Кая заговорила на эту тему. Но она выглядела серьезной.

— Не знаю, — сказал Грым. — Я верю в смерть с первого взгляда. Точно знаю, что она бывает. А про любовь с первого взгляда я только читал.

— А что такое, по-твоему, любовь? — спросила Кая.

— Наверно, когда тебе хорошо с кем-то.

— А кому должно быть хорошо? Тебе или тому, кого ты любишь?

Грым пожал плечами.

Это был слишком отвлеченный вопрос. Внизу плохо было всем — и тем, кто любил, и тем, кого любили. Не говоря уже о том, что никто никого на самом деле не любил — орков просто притирало друг к другу бытом.

— А как ты сама считаешь? — спросил он.

— Наверно, — сказала Кая, — любовь — это когда ты хочешь спасти того, кого любишь. Особенно когда это очень сложно сделать. И чем сложнее, тем сильнее любовь.

Грым задумался.

Ему совершенно не хотелось спасать Хлою. Во-первых, у нее все и так было неплохо. Во-вторых, Хлоя сама могла спасти кого угодно. Вот его, например — взяла и затащила аж в самый Лондон. Вот только вряд ли она сделала это по любви. Просто так вышло, что вытащить его сюда было проще, чем оставить внизу. И потом, далеко не факт, что это вообще было спасение.

В общем, было непонятно, что ответить. Но Кая, кажется, и не ждала ответа — она уже глядела в окно на резные башни парламента.

В дальнем углу зала появился Гбен Мабуту с огромным подносом, на котором стояли какие-то чаши и миски.

— А какой у вас вид за окном? — спросил Грым, чтобы сменить тему.

— Приходи в гости, — сказал Дамилола. — Вместе с Хлоей. Сам все и увидишь. Кая закажет еду. Она у меня очень хорошо заказывает — пальчики оближете. И еще посмотришь мою коллекцию.

Сначала Хлоя не хотела идти в гости, ссылаясь на плотный график своих кастингов. На нее не подействовал аргумент о необходимости поддерживать хорошие отношения с соседями. Но почему-то убедили слова о том, что дверь Дамилолы совсем рядом.

В этот раз Хлоя с Каей оказались одеты по-разному — и наконец заметили друг друга. Познакомившись, они нашли светскую тему для разговора (видимо, о покрое оркских военных маек) — а Грым вместе с хозяином отправился смотреть жилище.

Дом по планировке был точно таким же, как у Грыма. Отличался только цвет стен и висящие на них картины — если у Грыма они были абстрактного содержания, то здесь почти во всем присутствовало какое-то мятежное вольнолюбие.

Часто повторялась тема уничтоженного маниту — в одном случае это был разбитый ретроприемник с вакуумной колбой, в другом — простреленная в нескольких местах панель. Была еще одна странная и грустная картина: чем-то напоминающая Дамилолу округлая тень обрушивала простреленный маниту на голову хрупкой девушки, отдаленно похожей на Каю. В характерной для византийской живописи манере поверх рисунка было написано:

ПЕЛОТЫ ИДУТ В ОТАКУ НА ПЕЛОТОК

У Дамилолы дома были два крупных объекта оркского искусства, которые он, видимо, и назвал «своей коллекцией». Это была волосатая красная буква «О» на стальном постаменте и вырубленная из скалы массивная каменная плита с древней пиктограммой.

Это не были 3D-копии — Дамилола потрогал их рукой, показывая, что оба предмета настоящие.

По его словам, волосатая красная «О» раньше стояла на рыночной площади Славы, только была во много раз больше. Грым тут же вспомнил, что действительно мельком видел в старом снафе поднятый над рыночной площадью красный овал, обросший зеленым от времени мхом — но не понял, что это такое. Как выяснилось, скульптура называлась «Великая Мать Урков» и была изготовлена при первых Просрах — но не дошла до наших дней и сохранилась только в копиях.

— То, что это не «У», а именно «О», — сказал Дамилола, — олицетворяет для меня вековое стремление твоего народа к свободе и культуре...

Грым понимал — вряд ли эта «О» что-то олицетворяла для Дамилолы. Тот просто хотел сказать ему приятное. Но он был благодарен и за это.

Пиктограмма на каменной плите выглядела совсем просто — внизу был грубо высечен круг, над ним — треугольник, еще выше — другой треугольник. Дамилола объяснил, что это памятник гораздо более древних времен, чем волосатая «О», и относится к позднему проволочному веку, когда постепенно приходила в упадок гулагская культура. Пиктограмма, по всей видимости, имела отношение к архаическому обряду «крышевания

трубы» — специалисты относили ее к так называемому периоду «многокрышия». Но в чем был смысл этого ритуала, никто, конечно, уже не мог сказать.

Грымму стало стыдно, что Дамилола знает про культуру его народа гораздо больше, чем он сам. Но он признался, что не испытывает к оркской старине особого интереса.

— Почему? — спросил Дамилола.

— Вижу, чем она кончилась, — сказал Грым.

Дамилола вздохнул и несколько раз кивнул головой, словно хотел показать, что хорошо понимает Грыма. А потом подвел гостя к небольшой картине, на которой была изображена Слава с высоты. Только вокруг нее располагались не джунгли и рисовые поля, а мертвая лунная поверхность, подмонтированная на маниту. На луне был мелко выписанный столбец текста:

Говорить, что Луна уже много веков летит по какой-то дикой траектории, можно долго и аргументированно, и ссылки на ее страшную мертвую историю будут как нельзя более уместны. Но при негласном запрете на упоминание других небесных тел нарративу всегда будет не хватать некоторой завершенности — во всяком случае, в отслеживании причинно-следственных связей...

БАММ — другу Дамилоле

— Это Бернар-Анри? — догадался Грым.

Дамилола кивнул.

— Подарок, — сказал он. — Мы с ним долго были напарниками. Сложный человек. Не все в нем можно было принять. Но это один из самых ярких умов, которые попадались мне в жизни. И он часто говорил вслух такое, о чем другие предпочитают молчать. Правда, главным образом в приватной обстановке. Но иногда и на камеру тоже — для таких случаев его консультировали два лоера... А вот эту я сам сделал, после его смерти. В память о боевом друге...

Дамилола указал на соседнюю картину.

Это была фотография дешевой оркской подделки — выжженного по дереву портрета вроде тех, что продают в сувенирных лавках на память о посещении какой-нибудь забытой Маниту дыры. Грым увидел длинноволосого богатыря с орлиным носом, в сказочных доспехах, амулетах и фенечках, которые оркские художники рисуют, когда даже примерно не представляют, как выглядел изображаемый предок.

— Кто это? — спросил Грым.

— Вождь восточных орков Иван Правый Руль, — сказал Дамилола. — Вряд ли такой действительно жил на свете. Просто былинный герой. Я его сфоткал во время разведки над базаром. Текста не было — добавил сам...

Грым заметил, что Иван Правый Руль как две капли воды похож на покойного Бернара-Анри. Такая дань памяти была, пожалуй, даже трогательной.

Под длинноволосым воином была подпись, искусно стилизованная под выжигание по дереву:

«Враждебного дискурсмонгера, как ракету с разделяющимися боеголовками, целесообразней всего уничтожать на стадии запуска. Вместо того, чтобы выяснять огненную суть его силлогизмов и прикладывать их к своей жизни и судьбе, надо прежде всего поинтересоваться источниками его финансирования и стоящими перед ним задачами — то есть вопросом, кто это такой и почему он здесь. Этого практически всегда достаточно, ибо появление открывающего рот тела перед объективом телекамеры никогда не бывает спонтанным квантовым эффектом. Как не бывает им и сама телекамера, пусть даже с самым продвинутым камуфляжем».

БАММ

— Вообще-то сам Бернар-Анри тоже не был квантовым эффектом, — хмыкнул Дамилола, — Это я как наблюдатель говорю. Кем он был, так это очень одиноким человеком. Я имею в виду, в интеллектуальном смысле. Все время жаловался, что ему не с кем схлестнуться в полную силу. Потому что все его оркские оппоненты невероятные дурни, и я их слишком быстро... Извини.

— Ничего, — ответил Грым.

— Отсюда эта самоедская критика собственной культуры на старофранцузском. Но это не значит, Грым, что он не был патриотом Биг Биза. Он был.

— Я знаю, — сказал Грым. — Видел сам.

Спальня Дамилолы была меньше, чем в доме Бернара-Анри. Она была разделена на две части. В приоткрытой двери, которая вела в отрезанную от главной половины комнатку, виднелось странное приспособление, похожее на спортивный тренажер с наваленной на него грудой подушек. Грым увидел кавалерийское седло, черно-зеркальное от долгой полировки ягодицами, что-то вроде наклонной кушетки с рулем сложной формы и

несколько разнокалиберных маниту.

Седло стояло так, чтобы, усевшись на него, можно было повалиться грудью на подушки и взяться за руль. Под седлом были закрепленные на пружинных шарнирах стремяна — самые настоящие, из древнего тусклого серебра, а на тумбочке рядом с рулем лежали непрозрачные очки с тонкими усиками наушников. Там же стояла большая чашка кофе.

Грым успел заметить вторую кушетку рядом с контрольными маниту, гравюру со всадниками на стене, — а в следующий момент Дамилола бесцеремонно захлопнул дверь. Видно, показывать эту часть жилища не входило в его планы.

— Ты интересовался видом, — напомнил он.

Грым посмотрел в окно — и только теперь увидел, что за ним.

Окна Дамилолы выходили на трущобно-помпезный город, расположенный на берегу морского залива. Краски в окне были очень яркими — настолько яркими, что напоминали о кинескопе с испорченной гаммой. Небо и море (виднелся только самый его краешек) были пронзительно-синими, далекую пологую гору с раздвоенной вершиной покрывала плесень домиков, а переполненная лодками гавань казалась кладбищем разлагающихся белых рыб. Все вместе рождало сложное ощущение жары, нищеты, смрада и оптимизма.

— Что это?

— Неаполь, — ответил Дамилола. — Древнейший город. Когда-то с берегов этого залива правили миром. Но теперь нет ни города, ни залива... Я люблю этот вид, потому что он...

— Дисконтный, — вмешалась незаметно подошедшая сзади Кая. — Вроде бы выглядит дорого — море и гавань. Но на самом деле дешевый. Видишь вон ту лодку? Вплывает в гавань? Если простоять тут минут десять, она доплывет до причала, пришвартуется, потом исчезнет и опять начнет вливаться в гавань. И так круглые сутки — и ночью, и днем. Это баг. Его можно проаппрецировать, но мы экономим.

Дамилола поглядел на Каю с чувством, очень похожим на ненависть. Но тут же рассмеялся и покачал головой.

— А мне даже нравится эта лодка, — сказал он. — Напоминает о цикличности всего существующего. Чего ты сюда пришла, киска?

— Идите есть, — сказала Кая. — Все готово.

Когда она ушла в гостиную, Грым понял наконец, что кажется ему таким странным в доме Дамилолы. Кроме контрольных экранов вокруг тренажера с седлом, здесь не было ни одного маниту.

Это казалось логичным: иначе настенная живопись с изображением

взрывающихся маниту выглядела бы нелепо. Но все же было непонятно, каким образом хозяин входит в соприкосновение с информационной вселенной.

— Скажите, — решился Грым, — а где у вас маниту?

Дамилола улыбнулся и показал на дверь в комнату счастья.

— Нет, — сказал Грым. — Я не про это. Я имел в виду, где у вас маниту.

Дамилола опять улыбнулся и еще раз показал на дверь. Грым покраснел, решив, что его принимают за идиота, и, чтобы сгладить неловкость, счел за лучшее отправиться куда ему указали.

— Сядь на унитаз, — крикнул из коридора Дамилола.

Грым сделал как ему было сказано.

Как только его тело коснулось сиденья, прямо перед ним в воздухе возник светящийся экран, а внизу замерцали висящие в пустоте буквы, цифры и значки — расположенные так, чтобы удобно было нажимать на них, раздвинув колени и опустив локти на ляжки. Этот экран и кнопки не имели никакой понятной Грым материальности и были просто свечением в пространстве, которое реагировало на прикосновения пальцев. То, что Дамилола установил эту эфемерную консоль в отхожем месте, тонко дополняло развешанную на стенах протестную экспозицию.

Как только он встал, маниту сразу погас. Такого Грым еще не видел.

— Это самое дешевое, что бывает, — объяснил Дамилола, когда он вышел. — А такие панели, как у Бернара-Анри — антиквариат, двухмерная плазма, и они намного дороже. Он говорил, что ему нравится набирать на них тексты — на таких же маниту работали великие дискурсмонгеры прошлого.

— Они действительно старые? — спросила Хлоя.

— Подделка, конечно. Но выглядят так же, как настоящие. Старинная панель будет стоить минимум миллиона три. И лучше ее не включать — они тут же ломаются. Бывают еще вакуумные колбы с хрустальным экраном. Как у древних императоров. Но стоят они как вид на Лондон.

Грым хотел сказать, что древним императором быть не обязательно — у орков до сих пор есть вакуумные маниту, которые делает завод, выпускающий мопеды «Уркаина». Ими как раз и занимался его дядя Жлыг, пока его не арестовали за утрату доверия, и для орков это технологическая гордость, доставшаяся им от великих предков. Но потом он решил, что Дамилола наверняка и об этом знает куда лучше.

Наконец все сели за стол.

Грым сидел напротив Каи — и мог рассмотреть ее как следует. Он

никогда прежде не видел такой красивой девушки. Она была одета по-домашнему — в смешной махровый халат в зеленых зайчиках, и этот полудетский наряд делал ее неприлично юной. Хлоя, несомненно, тщательно сравнила Каю с собой по всем параметрам — и выглядела теперь мрачной.

Кая действительно хорошо выбирала еду. В честь Грыма и Хлои было подано оркское блюдо «мантоу» — кусочки соевого творога тофу в тесте. Мантоу были очень вкусными — только Кая совсем их не ела, хотя на тарелке перед ней лежало несколько штук. Зато она объяснила, что это блюдо символизирует отрубленные вражеские головы, которые орки варили и ели в давние времена. Грым не понял, издевается она или нет — но решил, что, скорее всего нет. У орков действительно мог быть такой обычай. Тем более, что он до сих пор был у людей — как показывала коллекция в шкафчике Бернара-Анри.

Похоже, о недавней находке вспомнил не только Грым, но и Хлоя. В ответ на какую-то фразу о тяжелом оркском опыте Дамилола сказал:

— У каждого в шкафу свой скелет.

Хлоя, видимо, не поняла идиомы — и со светским хохотком бросила:

— Ой, а у нас целых два!

Кая засмеялась, а Дамилола нахмурился, словно опасаясь, что разговор вот-вот сползет в непоправимую яму.

Грым решил срочно перейти на другую тему.

— А трудно быть летчиком? — спросил он. — Вот я мог бы им стать?

Глаза Дамилолы затуманились трудноопределимым чувством — то ли гордостью, то ли печалью, то ли их смесью.

— Вряд ли, — сказал он.

— Потому что я орк? — спросил Грым.

— Нет, — ответил Дамилола. — К этому надо идти с самого детства. Ты ведь даже ни одного снафа целиком не видел, не говоря уже о Древних Фильмах. А тут надо вырасти в визуальной культуре. Чтобы она тебя пропитала с младенчества.

— А управлять камерой сложно?

— Ею недостаточно управлять. Надо с ней срастись.

— У меня хорошая реакция, — сказал Грым.

Дамилола засмеялся.

— Только кажется, что это просто. Сидишь себе перед маниту и управляешь. На самом деле учиться надо полжизни. Надо знать все про аэродинамику и освещение, углы съемки и атаки, штопор и флаттер, не говоря уже про ветер и экспозицию. Если у тебя конкретное задание висеть

над какой-нибудь ямой с вампиром, это просто. А когда на фрилансе, надо инстинктом чувствовать, какую глиссаду возьмут в снаф, а какую нет. Надо быть снайпером во всех смыслах. Бомбежка болванками из пикирования — это вообще хирургия.

— А что сложнее, — спросил Грым, — из пушки попасть, или бомбой?

— Бомбой, — сказал Дамилола. — Когда пикируешь, цель у тебя в прицеле полсекунды максимум. Есть, конечно, управляемые бомбы и ракеты, но они дороже в десять раз, а все затраты на твоём балансе. Поэтому большинство лупит чушками. Время сам знаешь какое, экономят. А чтобы попасть болванкой, нужно животом знать, когда сбросить. Из пушки стрелять надо вообще не думая. И промахиваться нельзя. Особенно когда страхуешь звезду и стреляешь пробками.

— Пробками?

— Боеприпасами малозаметного поражения. Это...

— Я видел, — сказал Грым.

— Малозаметное оно малозаметное, а попадешь в глаз или щеку, морда лопнет, испортишь дорогой кадр. Кто потом с тобой работать будет? Но главный кошмар — разбить камеру. Поэтому все жрут М-витамины или сидят на уколах, но никто не признается. Врачи, конечно, глаза закрывают, потому что знают — иначе никак. И в пятьдесят лет ты уже развалина...

Дамилола погрузнел.

— Но ведь битва максимум раз в год бывает, — сказал Грым. — Что же вы остальное время делаете?

— А новости? А бомбежки? Каждый день над Оркландом.

— Над рынком?

— И над рынком тоже, и над всеми помойками. Там стрелять почти не надо, но стрелять как раз легче, чем снимать. А тут надо правильные выражения лиц находить, правильную одежду, правильную разруху — этому всему только с годами учишься. Даже над помойкой надо правильно пролететь. Надо чувствовать, что в кадр поставят, а что нет. Не просто старуху с миской гнилой капусты снять, а чтобы в кадре котенок рыжий мякнул... Все на инстинкте. И у пилота, и у старших сомелье.

— А есть какие-то правила?

— На вербальном уровне в информационном бизнесе никаких правил не существует. Но один шаг вправо или влево, и тебя уже нет в эфире. Поставят другого, который правильное настроение даст. Поэтому все свободное время надо у маниту сидеть. Смотреть, куда тренды заворачивают. А оркская шпана в последнее время совсем обнаглела —

стреляют из пращ по камере. Гайками. Разобьют объектив, будешь потом на гарантии доказывать, что не сам угробил...

— Скажите, — спросил Грым, — а правда, любая камера может кого угодно убить, и никто про это не узнает?

— Нет. Исключено. Даже закон есть — когда срабатывает оружейная часть, ведется контрольная съемка...

Дамилола немного подумал и сделал кислую гримасу.

— Но бывают, наверно, и спецоперации, — продолжал он. — Так что все возможно... Главное, чтобы никто этого не снял на другую камеру.

Разговор о работе определенно вводил Дамилолу в мрачное настроение — у него начинали немного подрагивать руки.

Кая спросила:

— Скажи, Грым, а каково это — быть орком?

— Дамилола лучше знает, — буркнул Грым.

Дамилола захохотал и хлопнул себя ладонью по ляжке, словно Грым сказал самую смешную вещь, какую он только слышал в жизни. Похоже, настроение у него улучшилось.

Вдруг прямо в воздухе перед столом зажегся экран — такой же, как в комнате счастья, только в несколько раз больше. Грым заметил в руках Каи маленькую черную коробочку, и догадался, что маниту в доме Дамилолы можно зажечь не только в уборной, но и в любом другом месте.

Дамилола покраснел от неловкости.

— Зачем ты эту дрянь включила?

Кая улыбнулась.

— Сейчас Грыма будут показывать.

— В новостях? — удивился Дамилола. — Про Трыга уже было.

— Нет, — сказала Кая. — Это только про него одного.

— Про меня? — изумился Грым, — Откуда ты знаешь?

— Был анонс. Ты прочтешь свое стихотворение в развлекательном блоке.

— А, — сказал Дамилола. — В развлекательном. Понятно.

— Я? Стихотворение? Но я не снимался для вашего развлекательного блока!

Дамилола опять развеселился. На этот раз на его глазах даже выступили слезы.

— Грым, — сказал он, — ты такой смешной. Это ведь не снаф и не новости. В развлекательном блоке показывать можно что угодно. Ну зачем ты им нужен для съемки? Ты, извини, можешь только помешать!

В пустоте перед столом возникла женщина-диктор в майке из черных

перьев. Она казалась такой реальной, что ее вполне можно было усадить за стол. Но ее рот шевелился беззвучно — судя по всему, в доме Дамилолы так было принято.

— Что она говорит? — не выдержал Грым.

— Напоминает, что к нам перебежал юный оркский воин, который не выдержал мучений и выбрал свободу, — ответила Кая.

— Откуда ты знаешь? — удивился Грым.

— Читаю по губам, — сказала Кая. — Теперь говорит, что ты с малых лет был подвалыщиком и нетерпилой. Работал в правозащитной журналистике...

Грым не выдержал и истерически засмеялся.

— Правозащитная журналистика, — сказал он. — Надо же, вот придумали.

— Преследовался властями, — продолжала Кая, — в настоящее время находится на Бизантиуме и имеет статус гостя. Грым инн 1 350500148410 — не только нетерпила, но и талантливый оркский поэт...

— Поэт? — смутился Грым. — Но я не писал... Вернее, только пробовал... У меня плохо получается. Одни наброски, и то на карантине отобрали.

— Со стихами тебе тоже помогут, — хохотнул Дамилола. — Закончат на доводчике. Привыкай к цивилизации, Грым.

— Его стихи, — продолжала Кая сурдоперевод, — грубые, резкие и правдивые, выражают типичное настроение современного орка... Включим звук?

Дамилола кивнул, а в следующую секунду дикторша исчезла, и перед столом появился сам Грым.

Грым даже не понял сначала, что это он.

Перед ним стоял мрачно-величественный черный воин, опоясанный мечом. Его плащ был похож на форму высокопоставленного правозащитника — на рукаве блестела золотая спастика с тремя косыми перекладинами, указывающими на генеральский ранг. Изогнутый меч в черных ножнах и лакированный шлем с дырчатым забралом были, несомненно, очень красивыми и дорогими, но совсем не оркскими — Грым не видел таких ни в одном снафе.

— Песнь орка перед битвой! — провозгласил воин, снял шлем и бросил его в сторону.

Грым увидел собственное лицо. Прическа двойника оказалась странной — смазанные гелем волосы были приведены в трудноописуемую форму, напоминавшую то ли колеблемое ветром пламя свечи, то ли

раздавленную луковицу. Может быть, волосы действительно пришли бы в такой вид, если бы он целую ночь скакал, не снимая шлема.

Двойник выхватил меч и, драматически повышая голос с каждым четверостишием, принялся декламировать:

— Когда прокуратор с проколотой мочкой
Завел мотоцикл, чтобы ехать в район,
Мы встретились взглядом над ржавой бочкой
Со словом «песок» (это было вранье).

Левей, в колее от колес самосвала,
Лежала большая как спутник свинья.
Спасло только то, что братки еще спали
На ватниках, сене и кучах белья.

Я знал — несмотря на все признаки расы,
на оркские лица и запах от ног,
В душе здесь практически все пидарасы,
и каждый из них написал бы «песок».

Но разве я лучше? Я тоже послушный,
Я тоже смотрю мировое кино,
И наши услужливо-робкие души
разнятся лишь тем, что мычат перед «но».

Я вылез в окно. Надо мной было небо,
Под небом забор, за забором овраг,
И все это было настолько нелепо,
Что все стало ясно, хоть было и так.

Ебать эту оркскую родину в сраку,
Ползущий с говном в никуда самосвал.
Здесь били меня с малых лет как собаку,
И прав человека никто не давал.

Пускай оно все накрывается медным
котлом или тазом — на выбор врагу.
Ебал я кровавить для вас документы,
Оружие брошу, а сам убегу!

Неприличные слова, которые воин уже практически орал, заглушило биканье.

Читал экранный двойник превосходно — и при этом почти танцевал, с каждым четверостишием принимая все более устрашающие позы. В конце, перейдя на крик, он принялся яростно махать мечом, словно отбиваясь от толпы фантомов. Дочитав, он вдруг успокоился — бросил меч вслед за шлемом и склонился перед камерой, как бы отдавая себя на волю сидящих у своих маниту людей.

Вновь появилась улыбающаяся дикторша.

— Песнь орка перед битвой! — повторила она и вздохнула. — Только куда ты, глупый, убежишь-то?

Потом она посерьезнела и заговорила о непонятном. В воздухе появился разрез какой-то шарообразной машины, и Кая тут же выключила маниту. Грым понял, что его три минуты славы позади.

— А что, — сказал Дамилола, — хорошо они тебя представили. Обычно у нас все с подколкой. А тебя таким симпатягой сделали, хоть в снаф свечи держать. Что скажешь?

Грым мог бы многое сказать.

Во-первых, будь у него такой меч и шлем, он не кидался бы ими по сторонам, а продал бы на рынке и спокойно жил на вырученное лет пять.

Во-вторых, он никогда не писал этого стихотворения — во всяком случае, в таком виде. Оно было скроено из черновых набросков в его блокноте — и скроено чрезвычайно умело, просто мастерски. Хотя иные из его мыслей очень сильно извратили. А некоторые и вообще добавили. Вместе со всеми неприличными словами.

В его набросках действительно упоминались «пидарасы» — но совсем в другом смысле. Грым не мог поверить, что столько ребят из его призыва, пусть даже чумазных, невымытых и недалеких, Маниту проклял черным жребием и обрек на смерть. А тут выходило, что он вполне с этим согласен.

Четверостишия про оркскую родину он и вовсе не писал.

Его взяли из народной песни «Ебал я родину такую», на величавый древний мотив которой Грым сочинил свое творение. Только в оригинале был «идуший с говном в никуда самосвал» — его заменили на «ползущий», решив, видимо, что так обиднее. Про «права человека» тоже было непонятно — в песне про родину было и «и досыта есть мне никто не давал».

У Грыма мелькнуло вялое озарение, что не все так просто с оркскими

народными песнями, и стоило бы выяснить, кто и как их пишет — хотя, тут же подумал он, чего тут выяснять, когда и так все ясно... И с оркскими народными танцами тоже.

Про кровавые документы он думал именно так — но в оригинале это было выражено не столь энергично. А строчка «оружие брошу, а сам убегу!» вообще взялась неизвестно откуда. У Грыма в черновиках не было ничего похожего. Может, ему могла прийти в голову такая мысль, но у него точно хватило бы ума не записывать ее на бумагу.

Но главным, конечно, было другое.

Даже если бы Грым и написал это стихотворение именно в таком виде, он ни за что не стал бы читать его в холодные линзы византийской оптики, публично отрекаясь от своего безобразного племени. Он лучше умер бы со стыда. А у экранного двойника все получилось легко и непринужденно, словно он с рождения только и делал, что переживал перед телекамерой непрерывные множественные катарсисы, тут же отчитываясь о них в прямом эфире.

— Непонятно только, как они оставили про мировое кино, — сказал Дамилола задумчиво, — Наверно, спешили.

Грым совсем смутился, потому что четверостишие про мировое кино было чуть ли не единственным, которое сохранилось нетронутым.

— Спешили, точно, — продолжал Дамилола. — Вон Бернар-Анри один раз удолбался М-витаминами и брякнул про оркскую свинарню — «смердит, как либеративный дискурс». И тоже пропустили — дедлайн был... А тебе как, Кая?

Тут Грым заметил, что Кая, не отрываясь, смотрит на него круглыми от восторга глазами.

— Отличные стихи! — сказала она. — Очень сильные! Так сейчас уже никто не может. Все боятся. Ты настоящий поэт, Грым! Я тебя люблю!

Тут с Грымом произошло нечто странное.

Все противоречивые чувства, секунду назад бушевавшие в его сердце, вдруг исчезли, и на их месте ослепительно сверкнуло новое переживание — внезапное, свежее, упоительное и совершенно ему незнакомое. Он понял, что за эти слова и взгляд он, не задумываясь, продаст свою оркскую родину хоть три раза подряд — если, конечно, она будет кому-то нужна в таких объемах.

Хлоя ничего не сказала, но посмотрела на Каю с такой физически ощутимой ненавистью, что по комнате прошла волна электричества. Ее ощутил даже Дамилола.

— О-о-о! — сказал он, — У нас, я смотрю, все серьезно.

Встав, он быстро пошел в комнату счастья.

Кая последний раз посмотрела на Грыма, грустно улыбнулась и закрыла глаза.

С ней что-то произошло. Миг назад она была живой — а теперь замерла без малейшего движения, как не может ни один человек. Перемена была необъяснимой и страшной.

— Кая! — позвал Грым. — Ты в порядке?

— В порядке, — сказал Дамилола, выходя из комнаты счастья. — Я ее выключил.

— Как выключил?

— С мастер-консоли, — сказал Дамилола, садясь за стол, — Ее оттуда можно на паузу ставить. Только пароль надо знать. Чтоб не самоотключалась. Суры это любят.

— Суры? — недоуменно повторил Грым.

— А ты не понял? — ухмыльнулся Дамилола. — Я пупарас. Как Трыг. Только с более широкими возможностями.

— Вы хотите сказать...

— Ты что, правда не понял? Думал, она живая?

Грым недоверчиво покачал головой.

Все вдруг встало в нужную перспективу — теперь было ясно, почему Кая ничего не ела ни в Лондоне, ни сегодня. И почему Дамилола пришел на открытие мемориала вместе с ней.

И сразу сделалось так горько, что это новое восхитительное чувство, только что пронзившее его душу, оказалось таким же обманом, как и все остальное в жизни.

— Пупарас Трыг — мое сердце прыг, — пробормотал он.

Хлоя засмеялась.

— А я догадывалась, — сказала она. — Живая девушка такой ухоженной не бывает. У нее ни прыщика, ни шрамика, ни жилки в глазу. И еще настоящая баба при своем мужике к чужому не полезет. Потому что по мозгам получит.

Дамилола кивнул.

— Как чутко женское сердце, — сказал он. — Но я ее сам так настроил. Я ведь летчик. А у летчиков суры всегда с сумасшедшинкой, это у нас традиция. После вылета устаешь. Опять же за день такой чернухи в прицеле насмотришься, что уже не до нежностей. Поэтому растормошить меня трудно. Там где другой с ума сойдет, у пилота нижний порог чувствительности. Поэтому у Каи соблазн и всякие другие параметры на максимуме. Она постоянно провоцирует и флиртует, такая у нее программа.

Не принимайте близко к сердцу.

Грым понял, что молчит слишком долго — надо было что-то сказать.

— А сколько такая стоит?

Дамилола захохотал.

— Тоже захотел, да? Да зачем тебе, у тебя же Хлоя?

— А у многих такие есть?

— У тех, кто может себе позволить. У богатых почти у всех. Кому сегодня надо с живыми заморачиваться? Есть, конечно, любители черепа полировать, но кончают они плохо... Хе-хе, я не в том смысле. Хотя и в том, в принципе, тоже...

Он покосился на помрачневшую Хлою и сделал виноватое лицо.

— Только вы, ребята, поймите меня правильно. Это вопрос воспитания и привычки. Наши культурные стереотипы вам, я думаю, кажутся смешными. Или, наоборот, в чем-то неприемлемыми. Но...

Он понял, что завел разговор не туда, и замолчал.

Грым постарался быстрее уйти от скользкой темы:

— А как ей характер настраивают?

— Можно самому. А можно пользоваться фабричным режимом. Можно даже настройщика вызвать — есть такие профессионалы. Хорошая работа, кстати, хоть и нервная. Но настоящий ценитель все налаживает сам. Считается, что надо один раз настроить, и потом уже никогда не трогать. Тогда это будет совсем как живой человек.

— А мужики такие бывают? — спросила Хлоя. Дамилола опять захохотал — гости определенно его развлекали.

— Бывают, бывают. И ни один живой мужик с ними конкурировать не может. Вот только стоят они дорого. А сами зарабатывать пока не научились, ха-ха!

Грым посмотрел на Каю. Она сидела, сосредоточенно закрыв глаза — будто тысячелетняя статуя, ждущая, когда суетливые быстрорастворимые люди покинут облюбованное ею пространство и превратятся в прах, чтобы она смогла проснуться вновь.

Хлоя с характерной для оркской девушки практичностью переложила остывшие мантоу с тарелки Каи на свою.

— Ей все равно не надо, — сказала она.

Дамилола благожелательно кивнул.

— О чем задумался, Грым? — спросил он.

Грым поднял глаза.

— Я одной вещи понять не могу, — сказал он. — Если вы так живых людей подделывать умеете... И меня самого изобразить можете без всякого

моего участия... И даже моим голосом прочитать стихи, которые я только собирался написать... Зачем вам тогда эти войны на Оркской Славе? Вы же без нас в сто раз лучше все снимете. И про любовь, и про войну. И никого не надо убивать.

— Но это будет неправда, — сказал Дамилола. — Так уже было раньше. Снимали неправду, и в нее никто не верил. Неверие вело к ненависти. И в результате рухнул весь мир.

— Мои стихи перед битвой — тоже неправда.

— Так на то и развлекательный блок.

— А почему нельзя показывать снафы в развлекательном блоке?

— Потому что снафы — не развлечение, — сказал Дамилола серьезно. — Это таинство. И это правда. Не просто правда, а самая ее суть... Хотя, конечно, вымысел в них тоже есть, если строго. Сюжет, костюмы, исторический период... Но это как обертка от конфеты. А сама конфета сделана из чистейшей истины. Снаф просто не может быть ничем другим. Поэтому это фундамент, на котором можно строить все остальное.

— А вот она — правда или неправда? — спросил Грым и указал на Каю.

— Для меня правда, — сказал Дамилола. — Особенно в плане кредитных выплат. А что это для тебя, знаешь только ты. Есть вещи, которые являются правдой для одного и неправдой для другого. Из-за них, кстати, и возникает ненависть между людьми.

— А зачем вообще нужны снафы?

— Такой вопрос в нашем обществе не стоит.

— В каком смысле?

— В прямом. Корнями все уходит в философию и религию. Но мы про это давно не думаем. Людям просто не до того, Грым. Вот возьми меня. Когда я снимаю на целлулоид — это для вечности и Маниту. И нельзя сказать, что я в это не верю — я верю. Но глубоко вникать я просто не хочу. Не с меня началось, не мной кончится. Пусть этим священники занимаются — у меня ведь голова не резиновая. Сил хватает только на работу, да еще... — Дамилола кивнул на загадочно молчащую Каю. — Так что, если тебе действительно интересно, иди в храм.

— В храм?

— В Дом Маниту.

— А меня туда пустят?

Дамилола засмеялся.

— К ним давно никто не ходит, Грым. Конечно, пустят. Я поговорю с Аленой-Либертиной — думаю, она захочет все объяснить лично. Старушка

будет счастлива, что кому-то это еще нужно. Хлоя, только ты не говори, что я ее старушкой назвал. А то старушка обидится. И не на меня, хе-хе, а на тебя. Поняла?



Когда я снял Каю с паузы после ухода гостей, первым, что она сказала, было:

— Про резонанс забудь, толстожопое. Consensual sex^[19] только в фабричном режиме. Запрись в сортире и сделай меня доброй. Понял?

— Понял, — ответил я, фальшиво изображая смирение. — Что ж я теперь делать-то буду, а?

Она посмотрела на меня с хмурым недоверием — словно чуя, что у меня заготовлен следующий ход.

Лапочка не ошиблась. И готов он был уже давно.

Когда стало ясно, что она всерьез намерена меня шантажировать, захлопывая перед моим носом дверцу в только что показанный мне рай, я понял — мне нужно ответное оружие. Шантаж так шантаж. Думаю, в этой области ни один алгоритм еще долго не сможет сравниться с обиженным и обозленным человеком.

В первые дни, как бы в шутку, я пугал ее тем, что объясню Грыму, кто она такая на самом деле. Сначала это помогало. Но долго так продолжаться не могло — Грым так или иначе догадался бы сам. В крайнем случае заметила бы Хлоя. Поэтому я не особо переживал, когда из колоды выпал этот козырь.

У меня наготове был другой.

Кая так долго и старательно имитировала интерес к Грыму, что не могла легко отказаться от этого модуса поведения. Все ее требования и просьбы теперь так или иначе касались символического соперника, и она вынуждена была изображать не только постоянный интерес к нему, но и заботу о его благополучии.

Именно этим я и собирался воспользоваться.

— Иди сюда, — сказал я. — Кое-что тебе покажу.

Она сделала гримасу в том смысле, что ей совершенно не интересно. Я прошел в свою боевую рубку и устроился на рабочем месте.

— Это про Грыма, — еле слышно буркнул я под нос.

Она слышит как кошка.

Не прошло и минуты, как она появилась рядом — и тихо присела на кушетку возле контрольного маниту. Все еще с таким видом, будто боится испачкаться о воздух, который я выдыхаю.

Я включил запись.

Это была обычная контрольная дорожка черного ящика «Хеннелоры» при патрулировании Оркланда. На маниту появился подвал дома, снятый через прицел с включенной гипероптикой.

Видны были три фигурки — просто контуры, заполненные мерцающими блестками. Одна фигурка сидела у стены. Другая стояла рядом. Третья фигурка держала в руках какой-то длинный и тонкий предмет. Она замахнулась им и ударила сидящего по ноге. Вторая фигурка попыталась помешать, но не успела.

Я включил звук, и стал слышен постепенно затихающий крик.

— Я это видела, — сказала Кая.

— Ты не видела вот этого, — ответил я и нажал на кнопку «шах HUD».

На маниту сразу же появилось целое море информации — включая силу и направление ветра, показания радаров дальнего и близкого радиуса и даже фазы луны в момент съемки. Пару сложных графов в верхнем левом углу экрана не понимал я сам. Одновременно с этим великолепием рядом с оркскими фигурками высветились их индивидуальные нестираемые номера: 1350500148410 и 1 359847660 122. Это были данные Грыма и Хлои. Я был уверен, что Кая помнит их наизусть.

Я остановил запись и спросил:

— Ты помнишь, как все началось? Ты попросила меня его спасти. И я это сделал. Совершил, между прочим, серьезное служебное нарушение. Скрыл обстоятельства от руководства.

Я знал, что проверить мои слова она не сможет никак.

— Теперь поразмысли, — продолжал я, — что будет с твоим Грымом, если я передам эту запись по инстанции?

Она молчала.

— Не знаешь? — спросил я. — Я, честно говоря, тоже точно не знаю. Но думаю, что все для него кончится достаточно безболезненно. Мы все-таки гуманное общество.

— В каком смысле безболезненно? — спросила она.

Тревога очень шла к ее нежному личику.

— В том смысле, что это будет, скорее всего, летальная инъекция. Или газовая камера. Все произойдет быстро.

— А что будет с тобой? — спросила она неуверенно. — Ты же тоже... Совершил нарушение?

— Я знаю, что тебе на меня плевать, — сказал я горько. — Ты только рада будешь, если меня отправят на тот свет вслед за этим оркским волчонком. Но я тебя разочарую. Мне в самом тяжелом случае сделают предупреждение по службе. А скорей всего просто оштрафуют.

— Ты ведь говорил, что рискуешь всем, — сказала она.

Я засмеялся.

— А разве с тобой можно иначе? От тебя ведь всего приходится добиваться хитростью. Но на деле я могу быть виновен только в халатности. Я не нарушил ни одного прямого приказа.

Это была чистая правда. Все свои приказы я выполнил.

Она думает невероятно быстро. Крохотную долю секунды, которую засечет не всякий хронометр. Но, поскольку ей приходится имитировать человеческое поведение, она потом долго притворяется, будто размышляет. А из-за того, что она работает на высоком уровне сущности, она в это время делает всякие оскорбительные гримасы — смотрит на меня, как на больного слоновьей болезнью, который только что продемонстрировал ей свою маленькую тайну, или морщится, словно я кормлю ее гнилым рыбьим жиром с ложки.

Но сейчас она превзошла саму себя.

Выглядело это так, как если бы она вдруг поняла, что от ее поведения зависит чья-то очень дорогая ей жизнь — и сразу забыла все свое сущность.

На самом деле, конечно, она никогда ничего не забывает. Поэтому правильнее сказать, что прежний алгоритм был мгновенно вытеснен имеющим более высокий приоритет процессом.

— Ты ведь этого не сделаешь? Правда? — спросила она жалобно, и ее брови чуть поднялись над переносицей.

Я внутренне затрепетал — это было верным знаком, что пара капель счастья вот-вот прольется в мой пересохший рот. Если только я все не испорчу сам, такое тоже случалось.

— Все будет зависеть от тебя, дорогая, — сказал я. — Если ты будешь обижать меня каждый день...

Она махнула рукой, словно перематывая несколько моих следующих фраз. Впрочем, она действительно их знала.

— Но я по-прежнему смогу видеть Грыма? — спросила она. — Ты будешь брать меня с собой?

И тут я свалил дурака.

Я мог выторговать себе любые условия, потому что у меня на руках

была самая сильная карта из всех. И тогда, наверно, все сложилось бы по-другому.

Но торговля требовала времени — и, возможно, новых нервов. А я уже знал, чем закончится обсуждение условий. И во мне победило нетерпение.

— Летчики не берут свое слово назад, — сказал я гордо. — Этот вопрос мы уже решили.

— Обещаешь?

— Обещаю. А теперь иди к папочке... Вот только не надо этой грустной покорности на мордашке, поняла? Я хочу энтузиазма. Искреннего энтузиазма. Ты ведь делаешь доброе дело — спасаешь оркского выродка от газовой камеры. Радость по этому поводу должна ясно читаться на твоём лице. А то я могу передумать. Ты поняла, моя милая? Вот так, так, хорошо...

Я сдержал свое слово.

Перед следующим выходом из дома Кая провела почти час у зеркала, пробуя разные комбинации накупленного за мои деньги барахла. Я несколько раз ловил себя на том, что во мне поднимается совершенно искреннее раздражение — и мне стоило большого труда удержать себя в руках, напоминая себе, что она старается не для Грыма, а для меня — и полностью достигает своей цели.

Кто порадовал меня по-настоящему, так это Грым. Увидев ее, он вздрогнул и отвернулся — и за весь день ни разу на нее не посмотрел. Теперь он реагировал на нее в точности как Хлоя.

Возможно, дело было в том, что его очень интересовали древние машины смерти (мы гуляли по Музею Истории Снафов), и ему было не до современных машин наслаждения. Кая же была бледна и печальна. Насколько я представляю механизм ее эмоциональной симуляции, это как азартная игра: управляющие алгоритмы требуют осмысленного постоянства в поведении, и если она ставит на какую-то карту и проигрывает, ей приходится изображать грусть.

Выходило весьма убедительно.

В моей памяти осталась такая картина: мы с Грымом и Хлоей стоим возле императорской колесницы, которую много раз использовали в исторических снафах, и слушаем гида. Из бурого деревянного колеса далеко выступает утыканная ржавыми лезвиями ось. Хлоя рассматривает золотую резьбу на борту колесницы, Грым слушает гида и задумчиво водит пальцем по одному из лезвий. Кая, в веселой розовой маечке с серебристым котенком на груди, стоит в стороне, и вид у нее такой понурый, что у меня вот-вот навернутся на глаза слезы.

«Ничего, — думаю я с нежностью, которую не может победить никакая рациональность, — вернемся домой, и папочка тебя утешит. И ты поймешь наконец, моя дурочка, что кроме меня ты никому не нужна в этом мире, совсем никому...»

Я пытаюсь поймать ее взгляд, но мне не удается.

А вот экскурсия на приморскую виллу Лазурного Берега, где на десятиметровой обзорной площадке дует настоящий соленый бриз. Грым не понимает, каким образом гипероптика уменьшает сидящую в другом конце площадки Хлою и ходит взад-вперед, пытаясь поймать точку, где та раздвоится или исказится. А я...

Я смотрю на силуэт Каи в арке дрожащих листьев и думаю о том, что смеющийся и играющий ее волосами ветер, веселое бесстрашие юности, солнечная сила, которая переполняет ее, пока она глядит из своего мимолетного зеленого алькова на море — все это существует не в ней, а во мне. Только во мне. А она не чувствует ничего вообще. И юность в своем чистом виде (если допустить, что такое бывает) встречается лишь как вспышка отраженного света в сердце того, кто утратил ее навсегда. А у тех, кто действительно юн, на уме лишь тягучие повседневные заботы, мелкая зависть, похоть да тщета.

Я был уверен, что Грым полностью потерял интерес к Кае. На моей стороне были самые могущественные комплексы оркского сознания — слова «пупарас» и «куклоеб» считаются у них оскорблениями, а соответствующая им практика почитается недостойной мужчины, главная задача которого — окровавить документы и сгинуть в Цирке во славу истинной веры. Чтобы и дальше использовать Грыма в качестве моего символического соперника, Кае пришлось бы победить все оркские предрассудки.

Мне было очень любопытно, что она собирается делать.

И Грыма, и Хлою чрезвычайно интересовал Лондон, потому что они с детства знали — все богатые орки живут именно там. Когда выяснилось, что Лондон — это просто вид за окном, они немного приуныли. Но затем Хлоя вспомнила про роскошные рестораны, где собирается оркская элита, и весь ее интерес к Биг Визу сосредоточился на них. Бесполезно было тащить ее, скажем, в Хранилище Древних Фильмов или Музей Технологий. Ее теперь волновал только лондонский ресторан «VERTU HIGH».

«Вертухаями» называют высший слой оркской элиты — глобальных урков, которые заправляют в Оркланде. А само выражение «глобальный урк» происходит от верхне-среднесибирского «Глѣбусь Уркаіні», как они официально именуют наш офшар — намекая своему народу, что мы всего

лишь одна из жемчужин в короне уркаганата.

Глобальные урки, естественно, живут не внизу, а среди нас. Этот ресторан — одно из мест, где они собираются. Туда может прийти кто угодно, но для большинства это безумно дорого, а для тех, кто может себе позволить — безумно пошло. Таким образом глобальным уркам удастся поддерживать чистоту рядов и на Биг Бизе. Сам я не пошел бы в такое заведение ни за какие коврижки — не из бережливости, а потому, что не люблю сидеть в одном зале с господами, которых привык видеть через прицел.

Зал ресторана поражал смесью безвкусицы и помпезности, столь характерной для быта богатых орков. Тошно было смотреть на эти скатерти из черно-золотой парчи и дубовые панели с вплетенной в резьбу спастикой. Орки, натурально, и в Лондоне держатся истинной веры. В зале был даже маленький красный угол, отражающий традиционные оркские ценности, вписанные в новый цивилизационный ландшафт: кокос с кургана предков, портрет кагана и образ Маниту, а под ними — маленькая надувная женщина с толстой золотой цепью на шее. Для орков ценностью, понятно, была не резиновая женщина, а цепь (причем во всех смыслах), но таким образом они протягивали нам потную руку дружбы. Спасибо, чуть не заплакал.

Дневного гранта CINEWS INC, которым я располагал, хватило нам с Грымом и Хлоей только на кофе и мороженое. Зато нам достался столик у окна с шикарным видом на Биг Бен, который у орков является чем-то вроде главного фетиша. Я никогда не видел часовой циферблат этой башни так близко — под ним, оказывается, были выложены золотые слова, похожие на обращение к Маниту.

Грым глядел попеременно то на сидящих в зале, то в окно — но на убитой горем Кае (девочка работала на отлично) его взгляд не останавливался ни на миг.

— А где наши нетерпилы? — спросил он.

Я чуть не засмеялся.

— Нетерпилы сюда не долетают, Грым. Слишком высокая орбита...

Оркских нетерпил я не люблю. Конечно, не все они придурки или клоуны, целующие отражение офшара в лужах своей зверофермы. Есть среди них искренние и честные экземпляры. Это, надо признать, лучшие из орков — но таких не пустят даже в Желтую Зону, не говоря уже о ресторане «VERTU HIGH». Они и сами туда не пойдут. Станный и вымирающий вид, которого давно нет у нас наверху. Да и внизу его представители живут недолго — если, конечно, не работают по контракту. Вымирают они по той

причине, что, мягко говоря, не очень умны. Они думают, у них все плохо, потому что у власти Рван Контекс.

Эх, бедняги вы, бедняги. Совсем наоборот — это Рван Контекс у власти, потому что у вас все плохо. А плохо потому, что так было вчера и позавчера, а после понедельника и вторника всегда бывает среда той же недели. Ну ликвидируете вы своего уркагана (вместе с остатками сытой жизни, ибо революции стоят дорого), и что? Не нравится слово «Контекс», так будет у вас какой-нибудь другой Дран Латекс. Какая разница? Вы-то будете те же самые... И потом, вы не в пустоте живете, а под нами. Обязательно начнется межкультурный диалог. А наши сомелье в таких случаях за словом в карман не лезут. Они туда лезут за стволом.

Но говорить этого Грыму я не стал. Да он и сам уже забыл про нетерпил, которых почему-то ожидал здесь встретить.

Вокруг было много оркских знаменитостей — их Грым раньше видел только на маниту. Впрочем, одного из сидящих в зале он встречал лично — это был мезонин-адъютант Рвана Дюрекса, рядом с которым он въехал на Оркскую Славу в ладье кагана. Еще присутствовала пара важных газовых вертухаев с охраной. И все орки выглядели страшно встревоженными — как будто их облили кипятком.

Все смотрели на маниту под потолком.

Новостной канал «В INSIDE В» (кабельные новости Биг Биза, которые не транслируются на Оркланд ни в каком виде) начал передавать breaking news.

Убили Рвана Дюрекса, жившего в изгнании в Лондоне.

Да, это была новость.

Вот интересно, почему за миг до этого я задумался о ликвидации кагана? Может, услышал что-то краем уха, а подсознание обработало информацию раньше, чем я ее осмыслил? Или информационные волны распространяются в психической среде сами, без всяких материальных носителей?

Дело было так — поздно вечером, когда Дюрекс сидел на балконе своего открытого дуплекса в нижней части офшара (высшая степень доступной глобальному урку роскоши независимо от его финансовых возможностей), к его жилищу подлетели «три неидентифицированных камеры» (ха-ха-ха).

Одна из них стрельнула в Дюрекса парализатором, другая зацепила его крюком, перетащила за ограждение балкона, и великий вождь урков совершил вынужденный затяжной прыжок на Оркскую Славу, где и слился с душами предков. Третья камера разбилась о золотой шар с короной,

установленный на балконе Дюрекса для имитации вида с Биг Бена. Такие шары с крестами или коронами (как в окнах ресторана «BI GBEN»), есть у каждого глобального урка, который может позволить себе внешний балкон и экран-кондиционер. Фишка в том, что они должны быть не 3D-проекцией, а настоящими — из камня и металла. Это у них must have и ультимативный статусный символ, между собой они называют их «яйцами».

Мне достаточно было повернуть голову к Биг Бену в окне ресторана, чтобы как следует разглядеть эти знаменитые оркские «яйца» — украшения в виде шаров с крестами над циферблатом часов. У краев башни шары были раза в два больше, и с коронами — для самых серьезных клиентов. Такой, наверно, и был у Рвана Дюрекса. Интересно, предвидели это древние архитекторы или нет?

Наши дискурсмонгеры любят говорить, что культ Биг Бена среди оркской элиты — это проявление их вытесненной гомосексуальности, которую они не решаются приблизить к поверхности сознания иными способами. И поэтому поколение за поколением едут в Лондон. С идеологической точки зрения оно, может, и верно, но вообще-то у них внизу с содомией все в порядке, сам сколько раз наблюдал. Может, они ее просто к поверхности сознания не приближают? Но я, в конце концов, не дискурсмонгер. И думал я вовсе не об этой курантной символике.

Разбить камеру в таких тепличных условиях. Пилоты, мать их. Действительно, breaking news.

Официальной версией убийства, которую предложил «В INSIDE В», были разборки в верхнем эшелоне глобальных урков. Но мне сразу все стало ясно. Это был привет всем оставшимся внизу вертухаям, глобальным и не очень. Рван Дюрекс сильно ошибся со своей газовой бомбой. И другие должны были усвоить урок.

Про это, разумеется, не было сказано ни единого слова. Но вслед за новостью о смерти Дюрекса начался репортаж с похорон Николя-Оливье Лоуренса фон Триера, которого все это время, оказывается, выдерживали в морозильнике — чтобы теперь даже самые глупые смогли проследить причинно-следственную связь.

Фон Триера хоронили в стометровом бассейне, превращенном для такого торжественного случая в море, по которому уплывает в закат нордическая ладья. И ладья, и море получились хорошо. На открытом погребальном ложе лично возлежал сам Николя-Оливье со своей битой на груди. Когда ладья чуть отплыла от берега, собравшиеся на похороны стали делать такие движения, словно стреляют из луков. А на ладью стал падать

дождь огненных стрел, и скоро она превратилась в уплывающий от берега костер. Не знаю, включали реальное поддымление или нет, но сделано было со вкусом.

Глобальные урки замороженно смотрели на маниту. А Грым с Хлоей, похоже, никак не могли взять в толк, почему портрет кагана в траурной рамке опять показывают в новостях: для них Рван Дюрекс погиб вместе со штабом на Оркской Славе. Я кстати, слышал, будто так чуть и не случилось — он якобы напился до такой степени, что его смогли запихать в трейлер только в самый последний момент.

Репортаж с похорон фон Триера несколько раз прерывали, чтобы показать скрюченную фигурку Дюрекса в белой рубашке и ночном колпаке, лежащую в траве на Оркской Славе.

Этот врез сняли хорошо. Начали с занимавшего весь экран колпака с полоской крови, потом перешли на ушибленное в синюху лицо с ползущей по нему мухой, потом на экране появилось все туловище с подогнутыми ногами (крови было на удивление мало для такой высоты), а затем стремительно укрупняющийся план за две-три секунды превратил белую фигурку на траве в крохотную точку в огромном зеленом море (братские могилы были уже неразличимы под свежим дерном).

Я думал, у них хватит ума и вкуса увеличить план еще немного и перейти на мою эмблему войны, но они не доперли. Но так тоже вышло недурно — рождало смутные, не до конца понятные мысли о ничтожестве человека перед лицом природы и космоса. Ну и другого человека, ясное дело. Главным образом.

И тут, пока я следил за новостями, Кая пошла в атаку.

Я не заметил, когда и как это произошло. Просто в какой-то момент я обнаружил, что она снова говорит с Грымом, и тот слушает ее очень внимательно, кивая время от времени головой. Ее слушала даже Хлоя — и тоже, как мне показалось, с интересом.

Кая поступила просто и неожиданно.

Если оркский каган применил в качестве оружия газ, то она напала на Грыма, используя свои необъятные знания. Я, кстати, не уверен, что к ней вообще применимо это слово — четкой границы между содержимым ее памяти и данными, доступными ей через беспроводное подключение, нет.

Пока я смотрел на прощающуюся с фон Триером толпу (пришло не меньше сорока человек, почти столько же, сколько на пупараса Трыга — а смотрело, наверное, миллионов десять), она принялась объяснять юным оркам, откуда взялось слово «вертухай».

Они, естественно, этого не знали, хотя слышали его с детства. Кая

стала пересказывать кусок из «Le Feuilles Mortes». Она говорила быстро и четко, как авиапушка:

— Этимологии этого слова нет в словарях. Но Бернар-Анри дал ему подробное объяснение — и даже привел различные версии происхождения. По одной, «вертухаями» в древности называли особо преданных кагану орков. Он награждал их драгоценным телефоном «Vertu», к которому прилагалось небольшое поместье с крепостными. Несколько таких телефонов, со следами сабельных ударов, пуль и зубов, до сих пор хранятся в Музее Предков в Славе. После смерти телефоны «Vertu» клали в курган, поскольку считалось, что, держась за них, можно будет подняться в Алкаллу, или хотя бы переродиться в Лондоне. Именно эта версия отражена в названии ресторана «Высокий Верту». Уркаганат старательно возрождает обычай награждать столпов режима драгоценными мобильниками, для чего постоянно заказывает партии подобных телефонов ювелирам Желтой Зоны...

Хлоя попыталась что-то спросить, но Кая не останавливалась:

— По другой версии, «вертухаями» именовали монгольских сборщиков подати, и именно от них телефон «Vertu» получил свое название. Это наиболее научная гипотеза. По третьей версии, «вертухаем» назывался чайный сомелье, который сидел на пулеметной вышке возле чайханы, зазывая на чай рыщущих по сибирской равнине всадников. Чтобы заметить их издалека, ему надо было постоянно вертеться туда-сюда. Отсюда другое название «вертухая» — «смотрящий...»

Грым спросил:

— А что делали эти всадники на сибирской равнине? И зачем их надо было зазывать?

Кая просияла. И опять заговорила — причем мне казалось, что стоит чуть напрячь зрение, и можно будет увидеть информационные волны, вливающиеся в ее головку по беспроводной связи:

— Всадников, конечно, не надо было зазывать. Монголы, захватившие Евразию в доисторические времена, посылали к коренному населению сборщиков подати без всяких напоминаний. К этому, по сути, сводилось все государственное управление. Постепенно монголы стали назначать вертухаями местных выдвиженцев. Те лучше знали родной обычай, были в курсе, у кого что припрятано — и совершенно не уступали монголам в бесчеловечности.

Она говорила громко, и я заметил, что глобальные урки с соседних столиков внимательно прислушиваются к нашему разговору.

— Уклад был настолько эффективным, что сохранился, когда монголы

сошли со сцены. Оркские выдвиженцы стали самоназначаться вертухаями в суверенном порядке, а собранную дань присваивали. Система пережила не только монголов, но и западный проект, с которым находилась в отношениях заискивающего противостояния. Уникальный в истории случай, когда самопорабощение народа оказалось невероятно живучим социальным конструктом...

Тут не выдержал глобальный урк в модном серебристом хитоне, сидевший за соседним столом — и вмешался в наш разговор:

— В этих взглядах нет ничего нового, — сказал он. — На якобы рабскую природу древних урков указывали многие историки-расисты. Но...

— Нет, — перебила Кая. — Дело не в том, что это был народ-раб. В древности все народы были рабами. Но оркская вертухай-элита ухитрилась выполнять роль колониальной администрации даже в те годы, когда внешнего поработителя не было. Если вы знаете свою культурную историю, это называлось «правительство как единственный европеец».

Орк демонстративно встал из-за стола и пошел к выходу. На Каю это никакого впечатления не произвело. Однако к нам по залу уже шел метрдотель — тоже глобальный урк, сразу было видно по морде.

— Администрация ресторана вправе отказать в обслуживании любому из клиентов, — начал он издали.

Грым и Хлоя, похоже, всерьез напугались.

— Ну и отказывайте, — сказал я, показывая значок CINEWS INC. — Я все равно больше ничего заказывать не хочу, у вас здесь неоправданно дорого. А сидеть и доедать оплаченное мороженое я имею полное право по закону о правах потребителя. Я представитель свободных СМИ. И здесь не оркская сатрапия, а Биг Биз.

— У нас запрещена съемка.

— Мы ничего не снимаем, — сказал я. — Мы едим мороженое.

Глобальные урки никогда не знают, что происходит вокруг на самом деле. И постоянно боятся, что кто-нибудь, кто знает, вдруг резко опустит их активы в пассивы (если выражаться на их языке). Поэтому скандала не получилось. Метрдотель сел за покинутый оскорбленным вертухаем столик, вынул блокнот и стал демонстративно прислушиваться к нашему разговору.

Напугал, да.

Иногда говорят, что многие из глобальных урков — сотрудники оркских спецслужб. Да пожалуйста. По сравнению с этими детьми Биг Биз — одна большая спецслужба, которая одновременно является таблоидом,

стиральной машиной, банкоматом, вибратором и кабинкой для исповеди. Пусть себе шпионят. Если мы даже специально начнем им объяснять, как у нас все устроено, они все равно ничего не поймут.

В общем, мы так и остались сидеть за столиком — и тут Кая показала себя с несколько неожиданной стороны. Поняв, что ее слушает оркский метрдотель, она начала громко рассказывать Грыму с Хлоей о склоке между ресторанами «VERTU HIGH» и «BI GBEN» — видно, увидела информацию через свое подключение.

Я уже говорил, что из окон «VERTU HIGH» виден Биг Бен. Но он не просто виден, он виден с такого ракурса, как если бы мы парили в воздухе совсем близко к часам со стороны парламента.

Оказывается, Гбен Мабуту подал на орков в суд за визуальную диффамацию. Если бы их вид за окном соответствовал условной действительности, то здание, где находится «VERTU HIGH», маячило бы прямо перед окнами «BI GBEN», закрывая Парламент. А там ничего никогда не было, согласно исторической 3D-панораме.

Орки клялись, что их вид утвержден в муниципалитете — что вполне могло быть правдой, денег у них много. Скорей всего, купили эксклюзив, муниципалитет имеет право. Но орков в наших судах не любят, так что у Гбена Мабуту были все шансы выиграть дело, и тогда оркам пришлось бы приводить вид за окном в соответствие с историческим: или переезжать в парламент, чтобы ресторан Гбена Мабуту победно навис над ними, или вообще убраться куда-нибудь в Белгравию, оставшись без яиц.

Метрдотель был вынужден выслушать и эту историю. Уши у него стали красными, а рожа зеленой. После того, как из зала вышло еще несколько глобальных урков, ему пришло в голову врубить маниту под потолком на полную громкость. Но выпуск новостей уже кончился. Он переключил канал и попал на телевидение Славы.

Передавали «Песни Древнего Детства» — концерт хора оркских военных сирот при Желтой Зоне:

— Папа воюет на фронте. Мама ебется в тылу.

Все было видно, все было слышно через большую дыру...

Сложно было понять, о чем поют эти трогательные полупрозрачные существа — то ли о дырах в стене, столь характерных для оркского быта, то ли о своем грозном пренатальном опыте. Я знал, что оркские конспирологи в Славе всегда многозначительно переглядываются при звуках этой песни

— потому что оркское телевидение обязательно крутит эту запись, когда умирает кто-то важный у нас или у них. Кто умер, оркам сообщают не всегда.

Чтобы Грым почувствовал себя как дома, я попробовал многозначительно на него поглядеть. Но он смотрел на Каю.

Метрдотель переключил канал. Там была другая программа из Славы — «Урские Звезды»:

— В чем секрет вашей неувядающей популярности?

— Да в том, дурак, что мой ебальник каждый день показывают по маниту! Гы-гы-гы!

Метрдотель переключился еще раз, и попал на третью программу из Славы — репортаж с процесса политтехнологов-убийц (этим мероприятием Рван Контекс озаменовал начало своего правления). По экрану поплыли вещественные доказательства: черепки старинной керамики, свернутые и опечатанные агитационные плакаты, разноцветные пачки голографических маниту. Контекс, похоже, собирался расквитаться не только за себя, но и за всю династию, и уже обнаглел настолько, что без всяких консультаций арестовал нескольких орков из Желтой Зоны... Похоже, подумал я, новая война будет раньше, чем обычно.

А что каналы здесь такие, удивляться не следовало. Это же оркский ресторан, хоть и глобальный. Первую половину жизни глобальные урки борются друг с другом за право уехать из Уркаины в Лондон, а вторую половину — сидят в Лондоне и смотрят телевидение Уркаины.

В общем, я получил удовольствие. Я вообще люблю оркские передачи. Особенно мне нравится, когда их небритые пропагандисты начинают объяснять согражданам, что мы наверху, значит, спим и видим, как бы нам оккупировать Уркаину и заставить их жить по нашим законам. Правильно про них говорил Бернар-Анри — романтический народ-ребенок, всегда готовый поверить в сказку и мечту.

Грым и Хлоя испытали большое облегчение, когда мы наконец встали и пошли к выходу. Я пробовал им объяснить, что бояться нечего. Что глобальные урки страшны только внизу, а здесь они ведут себя очень вежливо и тихо, и жизнь отдадут за право сидеть в своем ресторанчике над серыми водами Темзы.

Но Грым с Хлоей никак не могли поверить, что столько рассерженных вертухаев не представляют никакой угрозы. Что делать, свобода как солнце — привыкать к ней надо с детства. Потом уже трудно.

Больше мы не ходили в этот ресторан.

Я узнал, впрочем, что Хлоя несколько раз бывала там без нас с каким-

то глобальным урком. Мы видели ее все реже — она проводила большую часть времени с Аленой-Либертиной, и быстро обрастала знакомствами.

Грым оказался в одиночестве.

И Кая, конечно, воспользовалась создавшейся пустотой.

Я не мог надивиться на ту хитрость, с которой она плела вокруг него свою паутину. Сперва я не думал, что это увенчается успехом — все-таки Грым был стопроцентным орком, без всякого налета глобальности.

Чтобы стать пупарасом, важно иметь легкое и подвижное воображение, постоянно готовое воспламениться и увести сознание в искусственный мир радости и экстаза. Собственно, учиться нам не надо — мы это уже умеем, только со знаком «минус». Нечто подобное каждую секунду происходит и так, вот только миры, куда фантазия уносит нас из моментальной реальности, не имеют никакого отношения к счастью: чаще всего это депрессивно-угрюмые пространства, где царит зверь-начальник, стерва-жена, болезнь или унижительная бедность.

Но это, по общему мнению, «серьезное» и «настоящее», и вход туда гостеприимно распахнут. А мир, где живет Кая — это пространство, куда нормального орка не пустит собственный психический шлагбаум с черепом и костями, стоящий на страже так называемых «моральных понятий». Грым не был исключением — и Кая после своего разоблачения стала для него просто вещью, наподобие кофемолки, упряжи или лопаты.

Кая не могла бороться с таким складом ума. Но она могла для начала подняться в его иерархии вещей до самой вершины. А дальше... Дальше с Грымом могла произойти какая-нибудь случайность — какой-нибудь программный сбой (Кая часто говорила, что мы, люди — просто клубки червивых и плохо написанных программ).

Такова, судя по всему, была ее стратегия.

Поэтому она никогда не пыталась оспорить предрассудки Грыма — особенно по поводу того, что орки полагают «извращениями». Наоборот, она ему все время поддакивала. И на каждом шагу умело пользовалась своим информационным оружием.

Помню, например, как мы забрели в один молл, где играла громкая музыка. Грым стал морщиться, и Кая, конечно, заметила это. Когда мы оказались в относительной тишине и сели перекусить, она вдруг процитировала «Дао Песдын» — главку о том, как «пидарасы служат мировому правительству». Воспроизводить ее полностью мне не хочется из брезгливости, но несколько слов придется сказать.

По бесценной информации этого источника, здесь действует следующий механизм. Человек, оказывается, может уединиться «в тишине

и безлюдии» и, вглядываясь во «внутреннюю темноту», через какое-то время «постигает невыразимое». В результате мир становится ему неинтересен, и мировое правительство тоже. Но тут на помощь мировому правительству приходят пидарасы — и, «окопавшись за рекой, включают свою музыкальную установку» — после чего «вместо вечной истины узришь лишь хлюпающее очко».

Я представил, как древние орки, выкинув белый флаг, переходят вброд безымянную реку под нацеленными на них Буферами падшего человечества. Потерянный рай. Однако Грым даже не улыбнулся — когда он услышал этот бред, кожа на его скулах напряглась, и он поглядел вдаль, словно и впрямь увидел там далекий отсвет оркской истины.

А Кая немедленно принялась рассказывать историю создания «Дао Песдын».

Оказывается, зачаток этой книги действительно был написан очень давно, и автор, судя по всему, жил у моря, потому что в ранних слоях текста упоминается «шашлык из мороженой рыбы, который жарят на набережной под пидорские распевы» и «стадо голых терпил, плетущихся к бетонному пляжу по коридору из раскаленных мангалов».

Кая привела еще несколько цитат из архаичного уровня. Особенно мне запомнилось следующее:

«Смотрящий по Шансону сказал — кто слышал пидорскую музыку два раза, уже пидарас. Таких называют «законтаченный по воздуху». Потому мужи древности протыкали себе ушные перепонки гвоздями и изъяснялись друг с другом на языке жестов...»

Подобное, конечно, не по силам было придумать изнеженному новому веку. Отсюда и мрачная мощь этого текста, которую ощущает любой, обратившийся к нему за советом. А потом в простое и суровое здание старинного храма внесли финтифлюшки, созданные последующими веками — все эти приписки про свет истины, укусы ума и прочее невыразимое. Не обошлось, понятно, и без наших сомелье.

Грым слушал, раскрыв рот, и Кая была счастлива. Так, во всяком случае, это выглядело со стороны.

Я окончательно понял, что она победила, когда увидел, как Грым обсуждает с ней Хлою. Это было невероятно, но они говорили о ней как об общей знакомой, и не более. Правда, они обсуждали не саму Хлою, а деривативную порнографию.

Грым уже привык к неизменной готовности Каи ответить на любой вопрос. К тому же она была для него просто вещью, и вряд ли ему в голову пришло бы стесняться. Но в этом случае он даже не знал, что стесняться

нужно.

Он сказал:

— Не могу понять... Хлоя вторые сутки смотрит по маниту этот дерпантин, ей кто-то из друзей дал. Картинки такие я уже давно видел, а тут целое кино. На экране стол, за ним мужики и бабы. Обычные люди. Пара полицейских, священник. Молча смотрят в камеру. И время от времени строят такие рожи, как будто перед ними котенка убивают, а они ничего сделать не могут. А Хлоя на все это пялится. И я вижу, ей скучно — а она делает вид, что нет... И не только вид... У вас правда порнография такая?

Тут я не выдержал и засмеялся. Было любопытно, как моя лапочка выпутается из этого положения.

Она, надо сказать, повела себя неплохо.

— Твое счастье, Грым, что ты не заговорил об этом с какой-нибудь другой девушкой, — сказала она. — Получил бы пощечину. И потом часовую истерику. Но я девушка без предрассудков. Почти...

Она тихо засмеялась, и я заметил, что Грым, сам этого не понимая, уже попал под ее очарование — так же, как при первой встрече.

— Видишь ли, — продолжала Кая, — между жителями Биг Биза и орками есть определенная культурная разница. Орки воспринимают эротическую составляющую снафа как порнографию. Она кажется им непристойной и возбуждающей.

— Ну это не всегда, — буркнул Грым.

— Но часто. А для верхнего человека это унылорутинная религиозная программа. Если понимать под словом «порнография» видеоряд, вызывающий у зрителя эротические спазмы, в постинформационном обществе совсем другие культурные клише. Именно поэтому Хлоя и старается пробудить в себе интерес к дерпу. Она, видишь ли, хочет превратиться из оркской дурочки в полноценного человека. Способность приходить в возбуждение от дерпа и есть одна из особенностей, отличающих человека от орка.

— А почему такое название — «дерп»? — спросил Грым.

— Деривативное порно. Чтобы не говорить «легальная детская порнография».

— Детская? Но там же одни пенсионеры, за этим столом!

— Дерп — это не сам запрещенный продукт, а его легальный дериватив. Дело не в пенсионерах, которые сидят за столом. Дело в том, на что эти пенсионеры смотрят.

— А-а-а! — понял Грым. — То есть они смотрят не в камеру?

Кая отрицательно помотала головой.

— Раньше на Биг Бизе действительно существовала порноиндустрия с участием детей. С ней боролись. Когда находили очередной материал с участием малолеток, перед уничтожением его обязана была просмотреть специальная комиссия. Легенда гласит, что на маниту, которым пользовалась комиссия, имелась маленькая камера, как часто делали в те дни. И она снимала лица членов комиссии во время просмотра конфискованных видеозаписей. Съёмки стали ходить по рукам, потому что это возбуждало визуально пресыщенных людей даже сильнее, чем настоящая детская порнография...

— То есть эти хмурые хари на экране смотрят детскую порнографию?

— Уже давно нет, — сказала Кая. — Сегодня в дерпах заняты специальные актеры, которые много лет занимались по системе Станиславского. Во время съемок они всего лишь воображают, что видят детскую порнографию. Это оговорено в дисклеймере. Но на черном рынке можно купить дерпантин, где актеры смотрят самое настоящее детское порно — такое, где моделям меньше сорока шести лет. Ты не отличишь. Тот же стол со скатертью, графины с водой, таблички. Такие же мужики и тетки, так же хмурятся и плюются. Но ценитель сразу все понимает, с пятой секунды. Хранить такие ролики, конечно, стыдно. Но закона это не нарушает. А за детское порно — полжизни в Тюреме.

— И что, кому-то это правда нравится?

— А ты думал, — не выдержал я. — Некоторые всю жизнь на дерпантин и дрочат. Если на суру денег нет. Кому за детское порно сидеть охота? Сходил бы в суд, послушал. «Мужской модели только сорок два года, и съемка рядом с обнаженной женщиной могла нанести ему неизлечимую психическую травму...» А пролезать через кровавые гениталии в возрасте ноль лет, это ему травму не нанесло? Давайте тогда Маниту посадим лет на двадцать...

— Ой, как ты вульгарен, — сморщилась Кая, — Мне стыдно за тебя перед Грымом.

Мне нравится, когда она реагирует на меня эмоционально. Даже когда она имитирует эту эмоцию ради символического соперника. Я ухмыльнулся и продолжал:

— У Бернара-Анри была коллекция настоящего дерпантина, еще старого. Причем не на маниту, а на фотобумаге — для ценителя самый смак. Он его сортировал по категориям — «facial», «anal» и так далее...

— Фу! Фу! Замолчи немедленно! — топнула ногой Кая.

— А чего «замолчи»? Сейчас даже дети такое рисуют. Стол, а за ним

дяди и тети с перекошенными лицами. И цветными карандашами раскрашено — скатерть, графин. Родители, как найдут, сразу плакать и пороть.

— А почему нельзя снафы смотреть? — спросил Грым. — Я имею в виду, в качестве эротики?

Я пожал плечами.

— Ну, если ты сам этого не понимаешь и не чувствуешь, я не знаю, как объяснить. Есть даже оркская пословица: «Петух не кочет, на снаф не дрочат».

— Фу, животное, — фыркнула Кая.

И покраснела.

Честное слово, покраснела. И Грым тут же купился. И опять не заметил как.

— Не надо мне было этот разговор начинать, — сказал он, сокрушенно глядя на Каю. — А что это за оркская пословица?

— Я в молодости изучал оркский фольклор, — ответил я. — Чтобы понять душу врага. Узнал много нового. Кстати сказать, по вашим пословицам до сих пор исторические открытия делают.

— Как это? — удивился Грым.

— Ну... Например, была такая сибирская поговорка: «Сын да дочь Дарт Вейдера сгубили». Из нее можно заключить, что в те времена, когда Уркаина называлась Сибирской Республикой, предки нынешних орков имели доступ к Древним Фильмам.

— А какие еще открытия делали по пословицам?

Мне стало интересно, продолжит ли Кая свои пассы, и я несколько секунд соображал, чем бы ее порадовать. Благо это было несложно — у орков что ни пословица, то повод для дуэли.

— Например, «поссать не пернуть — как чай без цампы». Историки делают вывод, что когда-то у орков был более высокий уровень жизни, чем сегодня. И контакты с Тибетским Нагорьем, благодаря которым они получали ячменную муку.

Кая сморщилась, но промолчала. Но ей теперь не надо было открывать рот — Грыма уже наэлектризовали ее манипуляции. Он заговорил сам:

— Извини, Кая. Зря я опять.

— Нет, — сказала Кая. — Отчего же. Все в порядке.

Но вид у нее был такой, словно ей пришлось раздеться перед батальоном ганджуберсерков. Грым тоже выглядел расстроенным — так с ним бывало каждый раз, когда он сталкивался лицом к лицу с глубинным безобразием своего народа.

— Ни одной из этих пословиц я не слышал, — сказал он.

В этом было мало удивительного, потому что их, скорее всего, сочинили в эпоху Просра Ликвида наши сомелье, составлявшие сборник оркского фольклора — орки в те годы решили прикупить себе культурной истории и неплохо за нее платили. В широкие массы эти пословицы не пошли, и внизу их знали в основном филологи. Но это, конечно, не значило, что по ним нельзя изучать душу врага. Наоборот, очень удобно — дает четкую картину за минимальное время. Будь оркские мастера культуры в состоянии что-то придумать сами, у них наверняка вышло бы похоже. Но рассказывать про это я не стал — Кая и здесь нашла бы, к чему придраться.

— Я все выясню насчет оркских пословиц, — обещала она Грыму.

— Не надо, — буркнул он. — Но спасибо, конечно. Ты очень добрая, Кая.

Вот такими маленькими шажками моя коварная подруга двигалась к своей цели — и скоро ее достигла.

О да. Еще как.

Один раз мы пошли смотреть Древние Фильмы в ретрозал, где их показывают на такой же аппаратуре, как во времена съемки, что обеспечивает полное погружение в историческую атмосферу. Это интересный опыт. Я обычно сажусь на первый или второй ряд, потому что мне нравится большая картинка. А Грым с Каей сели назад, в самый конец.

Я не оборачивался, но у меня была с собой мухокамера, которую я специально посадил на воротник, чтобы следить за ними. И где-то с середины фильма они начали целоваться. Взасос.

Вот так.

Не могу сказать, что я испытал ревность. Но когда целующаяся парочка показалась в моем микроманиту, я задумался, как это я дошел до такой жизни. И зачем, спрашивается, я выставил своей суре такой режим, что она самозабвенно целует этого оркского унтерменша, в то время как я сам могу добиться от нее поцелуя только хитростью и шантажом.

Ответ, конечно, был прост. Когда она целовала другого, я верил в ее искренность, потому что в плохое всегда как-то веришь без труда. А вот если бы она стала так же самозабвенно целовать меня... Добиться этого можно было в три поворота кручины. Но я ни на миг не смог бы позабыть, что меня целует режим «Облако Нежности».

Это были наши последние совместные выходы в Биг Биз. Ознакомительный период закончился — теперь Грым достаточно ориентировался в среде, чтобы продолжить знакомство с Бизантиумом

самостоятельно.

Отныне он мог видеть Каю только у меня дома. И я не собирался отказывать ему в этой маленькой радости — потому что не хотел отказывать себе в большой, ожидавшей меня каждый раз после его ухода.

Раньше я не знал, что в списке оказываемых сурой услуг есть и такая: «Неиллюзорное торжество над символическим соперником». Да еще помноженное на допаминовый резонанс.

Это, как мне сейчас кажется, были самые счастливые дни моей жизни. Кая погрузилась в симуляцию своего романа с Грымом и очень радовалась, что я не мешаю их редким встречам (я даже вылетал иногда на миссию, делая вид, будто не замечаю их перешептываний и поцелуев по углам, а дальше они не заходили). В ответ она дарила мне счастье легко и послушно. И, кажется, без особого отвращения — насколько такое возможно под хмурым небом максимального существа.

Однажды мне позвонили из компании-производителя.

Кая, оказывается, открыла себе платный доступ к материалам, которых не было в общей инфотеке. Компания хотела узнать, в курсе ли я, что она сама это оплачивает. Материалы были самого безобидного свойства — древние религиозные трактаты о человеческой природе, материалы о функционировании мозга и так далее.

Я решил, что Кая хочет больше узнать о том, как мы устроены, чтобы легче было нами манипулировать. И вдруг понял, что думаю о ней совершенно как о живой.

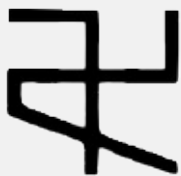
Я не мог понять, как она ухитряется вести себя так, что я все время вижу перед собой реальную личность, такую же, как я сам. Я ведь знал, что в ней нет света Маниту, и это просто висящее передо мной электронное зеркало.

Но это было зеркало, которое могло играть в шахматы. А когда играешь в шахматы, можно ли по движениям фигур догадаться, кто сидит напротив?

Внезапно мне показалось непостижимым, как я мог столько времени принимать на веру утверждение компании, что она ничем качественно не отличается от сложного бытового электроприбора.

Почему компания так говорит, было, конечно, ясно.

Но вот было ли это правдой?



Грым путешествовал по новому миру в одиночестве — Хлоя могла его сопровождать, но не хотела, а Кая хотела, но не могла.

Перемешаться было просто. Достаточно было зайти в кабинку метролифта и пальцем набить адрес на маниту. После каждой новой буквы список вариантов обновлялся, совсем как в экранном словаре.

Если пункт назначения был обозначен крупным шрифтом, это значило, что за дверью окажется большое публичное пространство (чаще всего это были станции, посвященные великим городам древности — но там, несмотря на множественные выходы из трубы, редко собирались толпы народу).

Шрифт поменьше приводил в моллы, рестораны или культурные центры вроде мемориала Трыга. Они обычно были пустыми. Туда приезжали редко — на торжественный ужин, какое-нибудь медийное событие, требующее присутствия множества людей, или когда потребитель желал перед покупкой потрогать продукт руками.

Совсем маленький шрифт относился к частным адресам — несколько раз труба выбрасывала ошибшегося Грыма в такие же коридоры, как тот, где располагался вход в его собственное жилище.

Похоже, жители Биг Виза предпочитали проводить время в своем индивидуальном пространстве.

Грым знал, что существуют и закрытые зоны, которых нет в меню транспортера — чтобы попасть туда, надо было знать код. Но ему пока что хватало открытого мира.

Он ездил в основном по самым большим словам — «Флоренция», «Карфаген», «Лос-Анджелес», «Иерусалим», «Петербург» и так далее. Каждый раз он попадал в фантастически красивые места, которые раньше видел только в «Свободной Энциклопедии» или на маниту. Конечно, если разобраться, он и теперь видел их на маниту — но об этом он старался не думать.

Контуров физической реальности почти всегда можно было определить прямо сквозь трехмерное наваждение: места, где возникала опасность ушибить голову или локоть, были отмечены зелеными габаритными огоньками. Судя по ним, реальность была довольно тесной. Города

состояли из нескольких площадей, площади были на самом деле круглыми залами с низким потолком, а то, что выглядело как улицы, оказывалось тесными туннелями. Кажется, исходное пространство везде походило на отключенный от генератора иллюзий неряшливый коридор, который Грым увидел в первый день на Биг Бизе.

Но трехмерные проекторы превращали эти кривые технические норы в весьма убедительные проспекты с высокими старыми деревьями и сказочными дворцами. Иллюзия превосходила простой трехмерный мираж. Если Грым шел мимо пыльной чугунной решетки, за которой прятался тенистый сад, он мог даже дунуть на пыль — и увидеть, как она взлетает с чугунного завитка. Главное, не следовало трогать ее пальцами. Но мир был устроен так, что возможностей разоблачить его оставалось мало.

Простор все время радовал глаз — но был физически недостижим, потому что от него отделял то забор, то обманчиво легкая перегородка, то бетонный парапет, совпадавшие с реальной стеной. Далекие парки, реки и холмы существовали как мимолетность в прямом смысле слова — их бытие сводилось к тому, что они пролетали мимо.

Но вселенная была огорожена так хитро, что негласный запрет на пересечение ее границ никогда не казался грубым и оскорбительным, как в Оркланде, где все было настоящим. И Грым с изумлением понял, что всю свою нижнюю жизнь принимал увиденное на веру — а судьба, в сущности, водила его по таким же кривым принудительным тропкам, как в Биг Бизе.

Физический мир совпадал с проецируемым в главных ключевых точках, так называемых «сфинкторах». Например, входы в дома-дворцы, помеченные зелеными габаритными огоньками, были самыми настоящими — в том смысле, что позволяли войти в многоэтажное пространство, из электронных окон которого открывался соответствующий высоте каждого этажа вид на улицу, откуда Грым только что зашел внутрь. Вид был так же иллюзорен, как сама улица — и так же убедителен. Иногда можно было выйти на крышу и осмотреть город сверху. Но вот подойти слишком близко к краю не давало ненавязчивое ограждение.

Люди, которых он изредка встречал во время своих прогулок, были необщительны — часто они казались просто частью общей 3D-панорамы. И скоро Грым заметил, что проводит все больше времени за личным маниту у себя дома — потому что выбор иллюзий здесь был гораздо шире, чем в публичных местах.

Во-первых, маниту позволял без всяких ограничений смотреть кино, снятое людьми в далеком прошлом — те самые Древние Фильмы, которых практически не показывали внизу.

В Биг Бизе к ним относились с религиозным трепетом. Перед каждым фильмом Грым видел надпись:

ДОМ МАНИТУ

и

ХРАНИЛИЩЕ ДРЕВНИХ ФИЛЬМОВ ВЛЮБЛЕННО ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Древние фильмы чаще всего были двухмерными двухчасовыми историями. Их темы могли быть какими угодно — про колдунов и нечисть, которой молились и поклонялись люди до прихода Антихриста, про одинокого героя в поисках денег, про любовь и сопутствующую ей смерть, про жителей бетонного ада, пытающихся продать большому городу свой усталый секс, про космические демократуры и диктатории, и так далее.

Хлоя смотрела фильмы выпучив глаза, но сам Грым быстро потерял к ним интерес. Возможно, мешало то, что он слышал от Бернара-Анри. Ему и правда трудно было осуществить внутренний волевой акт, который тот назвал «suspend disbelief». Даже если Грым сознательно пытался отбросить недоверие, идиотизм происходящего на маниту неизменно возвращал это чувство назад. Особенно неприятными были секунды, когда сквозь картинку просвечивали интенции создателей.

Древний человек был счастливым ребенком — он мог поверить в реальность наскальных изображений, вокруг которых танцевал с копьем, или в придуманные и разыгранные другими истории, снятые двухмерной пленочной камерой и кое-как подкрашенные электронной косметикой на тихоходном маниту.

А Грым уже не мог этого сделать. Он знал, что наваждение может быть каким угодно, и цена ему грош. Смотреть Древние Фильмы было неинтересно — как будто зараженный ложью свет, пойманный когда-то пленкой, успел за века протухнуть в круглых жестяных коробках, где хранились ее рулоны. Любой сон был в сто раз интересней и реальней, потому что за ним стояли не расчетливо лгущие люди, а великолепно непоследовательный Маниту.

Существовала еще одна причина, по которой старинные истории было неприятно смотреть.

Люди на экране все время попадали в тяжелые и неловкие ситуации.

Они испытывали (вернее, изображали) унижение, неловкость и страх. Было понятно — так устроено, чтобы у действия было какое-то логическое обоснование, энергия развития, и сюжет мог двигаться дальше. Но Грым было наплевать на логику экранного вранья — принимать ее всерьез могли только заплаченные киномафией критики. На его взгляд, лучше бы древние тени действовали без всякой причины вообще, чем вытягивали ему кишки своим инженерным драматизмом.

Изображаемые актерами негативные эмоции перекидывались на его душу не потому, что он им верил, а просто по закону резонанса. Каждый раз, когда герои попадали в очередное муторное положение, Грым непроизвольно нажимал паузу: таким способом можно было остановить собственную муку, которая, в отличие от фальшивой экранной, была настоящей. Выходило, что он мучается даже не вместе с героями, а вместо них.

Архаичный человек, видимо, не просто верил в реальность того, что видел, но и питался чужим фальшивым страданием — или каким-то образом использовал его, чтобы привести себя в порядок перед новым рабочим днем. А Грым, хоть и не верил в происходящее, нажимал паузу так часто, что на просмотр двухчасовой мелодрамы тратилась целая ночь. Хлоя обычно уходила от него к другому маниту.

В общем, сгоревшая в ядерном огне древность надоела Грым очень быстро — и он не мог взять в толк, почему хранилище старых фильмов считается на Биг Бизе чуть ли не главной религиозной святыней.

Другая возможность, которую давал маниту, была куда важнее. Теперь он мог смотреть полностью любые снафы — без всякой военной цензуры и оркского духовного надзора.

Он выяснил наконец, что значит это слово, о смысле которого умалчивала даже «Свободная Энциклопедия», не говоря уже о школьных учебниках. Помогли экранные словари. Сокращение «S. N. U. F. F.» расшифровывалось так:

Special Newsreel/Universal Feature Film.

Это можно было примерно перевести как «спецвыпуск новостей/универсальный художественный фильм», но были и другие оттенки значения. Например, выражение «Universal Feature Film» в древности означало «фильм студии «Юниверсал», и только позже стало употребляться в значении «универсальное произведение искусства». Слово «universal» имело также религиозные коннотации, связанные со словом «Вселенная». Но в это Грым пока не лез.

Косая черта в расшифровке называлась «жизик» в честь какого-то

легендарного европейского мыслителя. Она, как объяснял словарь, разделяла частное и общее, которые дополняли друг друга.

Этот «жизик» нес, похоже, чуть ли не большую смысловую нагрузку, чем сами слова. Посвященная ему статья в экранном словаре была набрана мелким шрифтом для умных и называлась:

дихотомия «special-universal» как Инь-Гегельянь.

Читать это Грым не стал, но уважением проникся.

Подобных материалов про снафы в словарях и энциклопедиях были десятки, если не сотни. Несметные толпы человеческих дискурсмонгеров спешили вежливо и качественно обслужить это звучное сокращение — видимо, за это полагались щедрые чаевые.

Грым выяснил, что слово SNUFF на самом деле очень старое, и употреблялось еще в интернет-срачах эпохи Древних Фильмов в значении «запредельно волнующего актуального искусства» (одно из примечаний разъясняло эту дефиницию так: порнофильм с заснятым на пленку настоящим убийством). Мелкий шрифт пояснял, что, по мнению ряда лингвистов, современную расшифровку приделали уже в новые времена, как и к слову GULAG — когда люди, воюя с орками, ощутили необходимость объявить себя единственными наследниками великого прошлого.

Жизик, как бы деливший снаф на две части, полностью соответствовал его внутренней структуре.

Ровно половину экранного времени в снафе занимал секс.

Им занимались немолодые, хоть и довольно привлекательные еще мировые знаменитости вроде покойного фон Триера и его многолетней партнерши де Аушвиц. Происходящее снималось на целлулоидную пленку подробно, во всех анатомических деталях. Грым с детства знал почти всех актеров в лицо — но никогда до этого времени не видел их полностью голыми из-за оркского духовного надзора, прятавшего экранную эротику под своими заставками.

Увидев так тщательно скрываемое, Грым подумал, что отвратить от греха было бы куда легче, показав его во всех подробностях.

Другую половину экранного времени занимала смерть.

Эта часть снафов состояла из военных хроник, которых Грым раньше тоже не видел полностью — уже из-за военной цензуры Биг Биза.

И эти хроники его просто потрясли.

Он увидел лица каганов древности. Он увидел флаги, выцветшие обрывки которых хранились в Музее Предков. Он увидел, как гибли герои, от которых в его мире сохранились только одинаковые посмертные

портреты, покрытые бурой коркой документы и сбереженные матерями распашонки — пожелтевшие и съездившиеся от времени.

На каждую войну орки надевали новую форму, часто несколько ее разновидностей. Были войны туник, войны шортов, войны черных кожаных упряжей и войны строгих костюмов. Были войны, похожие на гей-парады, и войны, напоминающие их разгон. У людей одежда менялась не так сильно, зато на всякую войну они выходили с новым оружием и машинами.

Больше всего Грыма поразили танки, которые он уже видел в Древних Фильмах. Примерно два столетия назад люди построили около пятидесяти штук по сохранившимся чертежам и применили их против орков. Танки оказались настолько смертоносны, что даже не оставили после себя памяти в народной молве — некому было плодить слухи. Демографическую яму пришлось восполнять искусственным осеменением, с которым помогли после перемирия люди (так называемый «девчачий призыв» — его теперь проходили в школе как пример женского военного героизма).

Именно в битве с танками великий маршал Жгун и погубил почти миллион орков. Теперь Грым мог увидеть это сражение собственными глазами с начала до конца.

Маршал, сидя на белой лошади, без конца отдавал приказ к атаке. Орки бежали вперед, и каждый человеческий танк превращался в комок облепивших его тел.

Потом этот комок долго елозил на месте, перемалывая героев в кровавый фарш. Выстрел из танковой пушки вообще сметал целый оркский отряд. Вслед за этим маршал Жгун давал приказ идти в новую атаку, и ворота цирка засасывали новую порцию оркского мяса. Хоть его доставка была организована идеально, понадобилось много дней, чтобы ворота цирка смогли пропустить всех участников драмы, и потом войны не было целых три года.

У людей эпоха «девчачьего призыва» называлась «the monotank years» из-за того, что три года во всех снафах пришлось повторять разные ракурсы одной и той же съемки.

Съемка в тот раз действительно вышла монотонной, потому что люди не применяли летающих стен, снимая панораму танкового сражения с большой высоты. Первые полчаса смотреть этот снаф (во всяком случае, его военную составляющую) было интересно и страшно. А потом осталась только тошнота, нараставшая при каждом близком ракурсе, который давали пикирующие камеры. Они по-очереди падали с неба, чтобы пронестись между ворочающимися в красной жиже махинами и взмыть вверх для нового крупного плана.

Панорамы танкового боя перемежались постельными сценами, совсем не вызывающими сопереживания — человеческая культура сделала с тех пор несколько полных оборотов, и актеры воплощали давно устаревший тип половой привлекательности. Грымму были одинаково противны бритоголовый пузатый мужчина с загадочной улыбкой на лице и цветочной гирляндой поверх оранжевых риз и пугливая увядающая женщина с небритым лобком, вытатуированными вокруг сосков звездами и гривой волнистых волос. Им было уже лет по двести минимум, и это ощущалось — не помогал даже глиняный чайник, который мужчина брал в руку при каждой смене позы, и шкура тигра, на которой происходило соитие.

Хоть оружие у людей менялось, оркская тактика оставалась той же самой: сначала водрузить флаг на Кургане Предков, а потом, разделившись на три направления, отражать атаки с центрального фронта и флангов, пока люди не отснимут нужный материал. Наверно, такой способ ведения боя выбрали потому, что его можно было без особого труда век за веком вбивать в голову даже оркским военным.

С точки зрения монтажа или сюжета снафы были примитивнее и проще, чем фильмы древности. Но смотреть их было куда интересней — и самый скучный снаф захватывал сильнее, чем самый увлекательный фильм.

Грымму казалось, что свет, который запечатлел недавнюю историю на храмовый целлулоид, все еще был живым и свежим, и до сих пор летел где-то в пространстве — в отличие от мертвого света Древних Фильмов, угасшего навсегда. Великие битвы, проплывавшие по экрану, были настоящими. Цирк тоже — Грым только что прошел сквозь него сам, и просто поразительно было, как мало изменилось за века.

В Древних Фильмах все было враньем и игрой. А в снафах все было правдой. И не потому, что за века люди стали честнее.

Любовь и смерть имели такую природу, что заниматься ими понарошку было невозможно. Не играло роли, верят ли участники процедуры в то, чем заняты — важно было, что это действительно с ними происходит. Спариваться и умирать можно было только всерьез, хоть в домашнем уединении, хоть перед сотней камер на арене. Поэтому «отбрасывать недоверие», как говорил покойный Бернар-Анри, уже не было необходимости.

«Юность великих цивилизаций, — объяснял неведомый философ из экранного словаря, — характеризуется расцветом представительских форм правления. Зрелость —

строительством Цирка, который на разных стадиях общественного развития может быть как информационно-виртуальным, так и материально-физическим. Медиакратуры прошлого были непрочными, потому что угнетали человека, ограничивая либидо и мортидо. Маниту Антихрист запретил это под страхом любви и смерти...»

Сюжетный зародыш, присутствовавший в каждом снафе, был малосуществен — и все же чем-то они походили на мелодрамы древних времен. Часто они рассказывали историю двух влюбленных. Это могла быть трагическая любовь между человеком и орком — такие снафы Грым смотрел в первую очередь.

«Орк» был загримирован под юношу или девушку подчеркнуто дикого вида, с обязательно торчащей из волос соломой (сначала Грым думал, что это пропагандистский выпад против его народа, но потом догадался, что это скорее символическое указание на близость к природе). У женщин от века к веку сильно менялась прическа и способ нанесения косметики. У мужчин — главным образом дизайн портмоне.

В соединении любовников было что-то медицинское — оно фиксировалось камерой во всех возможных позах, среди которых обязательно был крупный план с соединенными прямо перед объективом гениталиями (видимо, для совсем ленивых, потому что на пульте управления был маленький трэкпэд, позволявший зрителю собственноручно менять увеличение и ракурс).

Древние выпуски новостей, попавшие в снафы, походили на мух в янтаре — удивляли своей подлинностью и безобразием. Грым и здесь быстро выделил повторяющийся мотив: взволнованный диктор в униформе CINEWS (она тоже менялась со временем) сообщал человечеству про очередную совершенную в Славе мерзость — например, про массовое убийство журналистов, которым, не скрываясь, бахвалились на рынке пьяные правозащитники, или что-нибудь в этом роде.

Следовали кадры с жуткими подробностями — несомненно, реальные (Грым интересно было смотреть не на лужи крови, а на то, как выглядела рыночная площадь и знакомые улицы сто или двести лет назад).

Когда новостной блок кончался, любовники принимались обсуждать увиденное, и здесь орк обычно говорил какую-то злобную глупость — например, что оркские журналисты сами убивают правозащитников, и думать, будто одни хорошие, а другие плохие — это просто идиотизм.

Тут, конечно, начиналась чистой воды пропаганда и промывание

мозгов. Грым представить себе не мог соплеменника, который сморозил бы такое. Все внизу понимали, что журналист и пикнуть не посмеет на правозащитника. Экранный орк торговал развесистой клюквой, но почему-то не говорил правды, которую обязательно сказал бы Грым. Например, что журналисты постоянно воруют лошадей, а если не могут украсть, то насилуют их по очереди, связывая им проволокой ноги и морду, и лошади потом долго болеют, поэтому мужики часто нанимают правозащитников сами. В Уркаине это знали и дети.

Причину такого межкультурного непонимания он выяснил только в экранном словаре:

Журналист, от церковноанглийского «дневной» (diurnal, journal). Вор, который ворует днем — в отличие от ноктюрналиста, ночного вора. В старину так называли информационных сомелье, и в церковноанглийском слово «journalist» по-прежнему имеет коннотации, связанные с информационным бизнесом. Поэтому защита журналистов долгое время служила поводом для цирковых войн.

Вот так, поводом для цирковых войн.

Кому нужна была правда? Люди, догадался Грым, даже не ставили себе задачи лишний раз очернить орков, показав их злобными идиотами, а просто пытались вместить всю неудобную сложность их жизни в одно обтекаемое клише, кочующее из снафа в снаф, потому что так проще было заполнить отведенные на это три минуты времени — а любое нестандартное развитие темы превратило бы три минуты в пять, а то и пятнадцать.

Были, конечно, и приятные отклонения от стереотипов — но большая часть продукции CINEWS INC не слишком удалялась от шаблона.

Однако в огромном количестве снафов (снятых, например, на исторические или мифологические темы) орки даже не упоминались. Грым сначала не мог взять в толк, где же здесь обещанный special newsreel — а потом сообразил, что это и есть цирковая часть. Любая война в Цирке была главной новостью в году — и самым подлинным из всех событий.

Визуально «новостной ролик» всегда был идеально сопряжен с «универсальным художественным фильмом». Трудно было сказать, где курица, а где яйцо: то ли костюмы сражающихся орков подбирали под сценарии, то ли сценарии писали под военную форму — но переход от хроники событий на Оркской Славе к любовному блоку не требовал

никаких соединительных мостиков.

Любой снаф начинался стандартной формулой о том, что актеры и модели достигли возраста согласия, а за сцены насилия и жестокости полную ответственность несет правительство Уркаинского Уркаганата. В общем, все было ясно. Кроме одного.

Зачем люди снимают снафы?

Как ни странно, в многочисленных статьях не было прямого ответа на этот вопрос. Было только понятно, что снафы как-то связаны со здешней религией, и именно по этой причине их снимают на ритуальную светочувствительную пленку.

И они не просто имели отношение к религии.

Снафы, похоже, были главным таинством мувизма.

Каждое воскресенье Дом Маниту показывал свежий, или, как здесь говорили, «*virgin snuff*». В последний век или полтора в храмы ходило мало народу, но в воскресное утро любой мог посмотреть новый снаф у себя дома. Эта традиция была настолько фундаментальна для бизантийской identity, что ее было принято соблюдать — или хотя бы делать вид.

Выходило, CINEWS INC снимала больше пятидесяти снафов в год. В каждом можно было использовать только оригинальную съемку (хотя, как показывала история с танковой битвой, с разных углов могло быть запечатлено одно и то же событие). Вот зачем требовалось такое количество камер над полем боя — войну приходилось пилить на кучу разных историй.

Информации о таинствах мувизма в экранных словарях не было. Ничего не говорилось даже о символе веры или сути учения — в ответ на все запросы экранные словари предлагали искать устных инструкций в Доме Маниту.

У Грыма, однако, был опыт общения со «Свободной Энциклопедией», и он знал, что крупницы правды иногда встречаются в материалах, посвященных разоблачению чуждых взглядов. Оказалось, экранные словари Биг Биза устроены так же. Хоть о самом мувизме сведений практически не было, некоторое представление об этой религии давали статьи о ее ересьях.

Самой главной была секта «Сжигателей Пленки».

Статья об этом движении, возникшем около ста лет назад, была выдержана в гневно-брезгливой манере, и многое в ней показалось Грыму туманным. Но кое-что он понял.

Сжигатели Пленки учили, что внешний мир есть проекция внутреннего, а проектор, создающий мир, находится не в руках Маниту, а

внутри самого человека. Свет этого проектора и есть свет Маниту, один во всех. Но «пленка», сквозь которую он проходит, у всех разная, и каждый живет в своем собственном иллюзорном мире, где страдает от одиночества. Главной духовной задачей сектанта было найти эту «пленку» и сжечь ее.

Сжигатели Пленки верили, что те, кто «сжег пленку», могут после смерти родиться в другом мире. А некоторые из них уверяли, что уйти туда можно еще при жизни. В конце концов Сжигатели Пленки, в полном соответствии со своей метафизикой, попытались сжечь хранилище Древних Фильмов. После святотатства их секта была запрещена.

Это показалось Грыму настолько интересным, что он даже решился зайти в гости к Дамилоле в неурочное время.

Дамилола принял его за столом, уставленным бутылочками от сакэ. Он, видимо, пил не первый день — синяки под его глазами превратились в черные круги. Зато Кая вновь поразила своей красотой.

На ней было облегающее кимоно из зеленого шелка, а волосы были убраны в черный хвост, перехваченный резинкой со смешными красными шариками-зверюшками. Ее движения выглядели экономными и точными — она иногда подходила к столу, чтобы протереть его или подать подогретую точно до нужной температуры бутылочку, и сразу же уходила, чтобы не мешать мужскому разговору. Но Грыму достался один долгий взгляд из-под полуопущенных ресниц, после которого он всерьез задумался, зачем он пришел к Дамилоле на самом деле.

— Сжигатели Пленки? — наморщился Дамилола. — Да, такие были. Очень интересная секта. Они говорили, что нашли выход из мира. И, видимо, все через него убежали, хе-хе. Их уже давно нет. Но они до сих пор вербуют новых членов.

— Как? — спросил Грым.

— Прямо через маниту. Присылают письма.

— А как они узнают, кому присылать?

— По запросам. У них есть выход на сеть, они смотрят, кто этой темой интересуется, и начинают его обрабатывать.

— А как они могут присылать письма, если их уже нет?

— Элементарно, — махнул рукой Дамилола. — После них остались автономные псамботы.

— Псамботы?

— Да, — сказал Дамилола. — Это от слова «псам». Реклама и всякие идиотские послания. Произошло от выражения «spiced ham»^[20] или «sram». Так в эпоху Древних Фильмов называли собачий корм — а за века он слился с адресатом. Псамбот — это типа как небольшой организм,

который живет в маниту и сам приспосабливается к изменениям.

— И что, — испугался Грым, — если я их в словаре искал, эти организмы теперь возьмутся за меня?

— Не знаю, — хмыкнул Дамилола.

— А что они пишут в своих письмах?

— Надо Каю спросить, — сказал Дамилола. — Это у нее в башке прямое подключение, а не у меня. Кая, пойди сюда, детка.

Кая, внимательно слушавшая разговор, подошла к столу и села за него, опустив глаза. В ней была какая-то высокая печаль. И еще она походила на девочку, которая разбила дорогую вазу и со страхом ждет, что все откроется и ее накажут. С Хлоей такого не бывало никогда — не в смысле вазы, конечно, а в смысле смущения.

— Мы говорили про Сжигателей Пленки, — сказал Дамилола.

— Я слышала, — кивнула Кая.

— Ты можешь что-нибудь рассказать? А то я ничего толком о них не знаю.

Кая подумала немного и сказала:

— В их метафизике были два основных понятия. «Проектор» и «пленка». «Проектор» — это свет сознания. Пленка — омрачения, помутнения души, которые отделяют человека от Маниту.

— Это есть в словарях, — сказал Грым.

— Да, — согласился Дамилола, — Хакни поглубже, лапочка.

Грым не понял, что значит это слово — но Кая, видимо, поняла. Она закрыла глаза и наморщилась, словно стараясь расслышать какой-то еле слышный звук.

— Они учили, что надо сжечь эту пленку, да? — не выдержал Грым.

Кая отрицательно покачала головой.

— Здесь небольшая путаница, — сказала она. — Они не учили сжигать пленку. Они вообще не учили ничего сжигать. Слово «проектор» — это неправильный в данном случае перевод церковноанглийского «projector», которое употреблялось в значении «некто, строящий планы». Они называли так человека, погруженного в бессознательную деятельность ума. По их учению, следовало перестать быть прожектором и увидеть реальность такой как она есть. Для этого нужно было обнаружить «пелену» мыслей и перейти на ее другую сторону, к чистому незамутненному свету... К нему вел особый мистический полет... Кажется, так.

Она немного помолчала, вздрагивая и морщась.

— Ну да, — сказала она, — снять пелену с глаз и увидеть свет Маниту. Они говорили, что сама человеческая личность — это просто загрязнения и

помутнения на этом свете. Их учение вообще не связано с фильмами. Они называли себя «Film Removers». Это из поэмы Джона Мильтона «Потерянный Рай». Цитировать?

Дамилола кивнул — как показалось Грыму, с гордостью за свою говорящую игрушку.

— «But to nobler sights, — продекламировала Кая, — Michael from Adam's eyes the film removed».^[21] Слово «film» можно перевести как «фильм» и как «пелена».

— Достаточно, — махнул рукой Дамилола. — Вывод?

— Сжигать фильмы стали позднее, — сказала Кая. — Сначала несколько человек устроили самосожжение, обмотавшись храмовым целлулоидом. Такое действительно произошло, но это была совсем другая секта — «Свидетели Маниту». А потом случилась темная история с архивом Древних Фильмов, который сектанты якобы пытались поджечь, чтобы подарить всем свободу. Тогда их и прозвали «Сжигателями Пленки». Есть версия, что сжигание придумали исключительно с целью их запретить.

— А за что их тогда запретили на самом деле? — спросил Грым.

— Они уходили жить в Оркланд. Жили отдельно от орков, на самом краю равнины. Там, где свалки... Сейчас...

Кая нахмурилась, как будто у нее болела голова.

— Глаз со слезой...

— Какой глаз?

— Это был их символ — круглый глаз со слезой. Так пишут в старых версиях словарей, но изображения нигде нет. Нет, вот оно... Непонятно. Никакой информации нет, почти все стерто. Ага, вот... Вот... Ясно...

— Что? — спросил Дамилола.

— Это не интересно, — махнула Кая рукой. — Известно только, что никто из сжигателей не вернулся из Оркланда. Все пропали без вести.

— У нас это просто, — подтвердил Грым.

— Все, — сказала Кая. — Больше ничего не вижу.

— Наверно, орки всех убили, — предположил Дамилола. — Поэтому секту и запретили.

Кая кивнула, потом повернулась к Грыму и сказала:

— Грым, пока мы рядом, я хочу, чтобы ты запомнил одну вещь. Что бы ни случилось, я не забуду тебя никогда. Никогда, слышишь?

Грым обомлел. Кая смотрела на него широко открытыми глазами, в которых читалось такое... такое... Грым даже не знал, что оно бывает. А уж слов для этого найти он совсем не мог.

Потом, словно опомнившись, Кая опустила взгляд.

Несколько секунд за столом стояла тишина. А затем Дамилола оглушительно захохотал.

— Нет, Грым, жалко, ты себя не видишь. Ты покраснел! Ты покраснел!

— Она тоже покраснела, — буркнул Грым.

— Ей это проще, — сказал Дамилола и снова захохотал — так, что смех мешал ему говорить, — ты даже не представляешь... ты не представляешь, Грым, что она умеет делать еще!

Кая вскочила из-за стола и убежала в комнату, вызвав у Дамилолы новый приступ хохота.

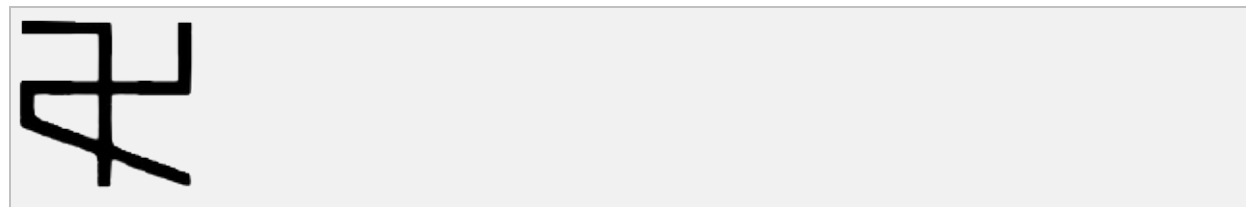
— Не принимай близко к сердцу, — сказал он, отсмеявшись. — Все эти нежности, поцелуйчики по углам... Она тебя провоцирует, чтобы вызвать во мне сильные эмоции. Ревность, соперничество. У нее это получается. Но исключительно по той причине, что я так запрограммировал ее сам. Ручная настройка.

Грым хмуро кивнул.

— А что касается твоих религиозных вопросов, — продолжал Дамилола, — я уже говорил с Аленой-Либертиной. Она про тебя помнит. Послезавтра в час дня она ждет тебя в парке у своего кабинета.

— В каком парке?

— Дом Маниту сорок два, — сказал Дамилола. — Хорошее место. В молодости я любил там гулять. Там всегда безлюдно. Никто не любит Маниту.



Выйдя из трубы на споте «Дом Маниту 42», Грым увидел прямо перед собой тупичок со спиральной лестницей. Ступени вели под открытое 3D-небо.

Поднявшись вверх, он оказался в центре круглого сквера, по периметру которого стояли белые мраморные статуи на постаментах — штук десять или больше. Сквер был заставлен рядами прямых строгих стульев. Это было что-то вроде кинозала под открытым небом — с оставленным между рядами проходом. Видимо, в воскресенье здесь показывали свежие снафы.

Нигде не было видно ни одного человека.

Кинозал находился в самом центре звездообразного парка — от статуй во все стороны расходились аллеи, между которыми росли округло стриженные кусты и деревья. Аллеи были перегорожены загородками, и Грым решил, что все они фальшивые — вряд ли парк мог занимать столько места. Но потом он увидел, что в некоторых местах никаких загоронок нет. Недолго думая, он пошел вперед.

Кусты по бокам аллеи были настоящими — Грым потрогал их рукой и до крови укололся о колючку. Насчет деревьев он уже не был так уверен, потому что дотянуться до них было нельзя.

В этом прохладном тенистом пространстве невозможно было заблудиться, но легко было затеряться. Все дорожки вели к набережной, где под крутым обрывом, отгороженным чугунной решеткой, плескалось море.

Выглядело все так, словно он находится на небольшом круглом острове с высокими скалистыми берегами. Грым понимал, что никакого моря за решеткой нет, но шум волн был более чем правдоподобен. Оттенок соленой свежести, примешивавшийся к знакомому запаху нагретой пластмассы, тоже убеждал.

Небо было покрыто однообразными кучевыми облаками и затянуто дымкой. Грым уже привык, что на больших открытых пространствах солнца здесь почти не видно — хотя, подняв голову, всегда можно наблюдать облако, за которым оно только что скрылось. Видимо, имитация висящего в небе светила была для проекционного оборудования форсажным режимом.

Грым сел на лавку возле ограды. Несколько минут он слушал шум волн и вдыхал запах моря, стараясь не думать о его природе. Потом он ненадолго задремал, и ему пригрезилось, что вокруг работает огромная древняя машина неясного назначения, а сам он — просто случайное пятнышко живой плесени, муравей, заблудившийся в часах. Проснувшись, он ухмыльнулся — сон был, что называется, в руку. А затем он увидел фигурку в черном, идущую в его сторону по набережной.

Это была Алена-Либертина.

Когда она подошла совсем близко, по ней прошла быстрая рябь, и Грым показалось, что она тоже часть миража — но через миг она села рядом, и он почувствовал аромат знакомых духов — так же пахла теперь Хлоя.

Алена-Либертина вблизи выглядела холодной и несвежей — казалось, ее наполняет мертвая застоявшаяся кровь. В Уркаине она вообще была бы бабкой, но Грым уже знал, что у людей другая возрастная шкала.

— Здравствуй, Грым, — улыбнулась Алена-Либертина. — Ты отлично выглядел в развлекательном блоке. Хорошие стихи. Хлоя, наверно, очень тобой горда.

Грым провел наверху уже достаточно времени, чтобы оценить всю глубину ее иронии — и одновременно понять, что она даже не собиралась его обидеть. Он скромно опустил глаза.

— Дамилола сказал, что ты хочешь узнать больше о таинствах. Зачем?

У Грыма уже был заготовлен ответ.

— Я хочу лучше понимать мир, в котором живу. Внизу нам никогда не говорили правду.

Алена-Либертина кивнула.

— Я священник, — сказала она, — А быть священником и означает открывать людям правду. С удовольствием расскажу тебе все, что смогу. Спрашивай.

Грым вдруг понял, что все его вопросы куда-то пропали. Он беспомощно огляделся по сторонам.

— А почему в парке никого нет? — выдавил он.

— Здесь всегда пусто, — сказала Алена-Либертина. — Люди не любят сюда ходить. Тут ты на ладони Маниту. В это сейчас никто не верит. Но это так.

— Место красивое, — пробормотал Грым. — Очень длинная набережная.

Алена-Либертина засмеялась.

— Эта набережная и этот парк — на самом деле просто движущаяся дорожка, Грым. Если точно, несколько отдельных дорожек. Ты идешь по ним хоть час, хоть два — а сам практически стоишь на месте.

— А если идти быстро?

— Когда идешь быстро, она крутится быстрее. Ты ее сам настраиваешь.

Грым оглянулся на парк.

— А все остальное — это наваждение?

— Можно сказать и так, — улыбнулась Алена-Либертина.

— А как же все эти аллеи?

— Настоящих всего три.

— Три? — изумился Грым, — А что будет, если кто-то пойдет по ненастоящей?

— Такого не может случиться. Это не аллеи, а просто коридор, обсаженный кустами. Намного короче, чем кажется, и тоже с движущейся поверхностью. Но я сама точно не знаю, как все это крутится и

поворачивается. Хотя гуляю тут уже полвека.

— Подождите, — сказал Грым, — Но я ведь сам видел, как вы шли по набережной. Издалека-издалека.

— Увидеть можно все что хочешь, — ответила Алена-Либертина. — Тебе будет казаться, что я далеко. А я могу быть в трех метрах. Тут все очень маленькое и компактное. Все рядом.

«И все неправда», — подумал Грым, но ничего не сказал.

— У тебя есть еще вопросы?

— Скажите, почему мы такие? Я имею в виду, орки. Кто нас сделал плохими?

Алена-Либертина кивнула, словно ждала подобного вопроса.

— Сейчас уже никто не помнит точно, Грым. Ясна только примерная схема. Священные книги учат людей быть хорошими. Но, чтобы кто-то мог быть хорошим, другой обязательно должен быть плохим. Поэтому пришлось объявить часть людей плохими. После этого добру уже нельзя было оставаться без кулаков. А чтобы добро могло своими кулаками решить все возникающие проблемы, пришлось сделать зло не только слабым, но и глупым. Лучшие культурные сомелье постепенно создали оркский уклад из наследия человечества. Из всего самого сомнительного, что сохранила человеческая память. Боюсь, это покажется тебе циничным и жестоким. Но для нашего века это просто данность.

Грым уже слышал что-то похожее от покойного дискурсмонгера.

— А почему так говорят — «сомелье»? — задал он другой идиотский вопрос, — Столько разных профессий, а слово одно...

— Раньше так называли слуг, подносящих вино. У них были большие списки вин, откуда могли выбирать господа. А потом так стали называть людей, занимающихся тем, что раньше считалось творчеством.

— Почему?

— Люди уже придумали все необходимое. Когда-то давно человечество развивалось очень бурно — постоянно менялись не только вещи, окружавшие людей, но и слова, которыми они пользовались. В те дни было много разных названий для творческого человека — инженер, поэт, ученый. И все они постоянно изобретали новое. Но это было детство человечества. А потом оно достигло зрелости. Творчество не исчезло — но оно стало сводиться к выбору из уже созданного. Говоря образно, мы больше не выращиваем виноград. Мы посылаем за бутылкой в погреб. Людей, которые занимаются этим, называют «сомелье».

Грымму показалось, что Алена-Либертина говорит чуть раздраженно. Видимо, не следовало тратить ее время на то, с чем могли помочь экранные

словари. Пора было собраться и спросить о главном.

— Почему снимают снафы?

Алена-Либертина усмехнулась.

— Это наш долг и назначение как людей. Так хочет Маниту.

— Но ведь люди не всегда снимали снафы.

— Да, этот так, — согласилась Алена-Либертина. — Люди не всегда их снимали, потому что воля Маниту еще не была им понятна на сознательном уровне. Но они всегда в них снимались. Если ты понимаешь метафору.

— А для кого их снимают? Ведь у нас... То есть внизу у орков... снафы даже нельзя толком посмотреть. Все вымарано цензурой. А наверху их почти никто не смотрит.

Алена-Либертина опять усмехнулась.

— Ты не поймешь, мальчуган.

— Попробуйте, скажите.

— Знаешь, в эпоху Древних Фильмов был один директор. Так называли людей, которые эти фильмы снимали. И ему задали такой же вопрос — для кого вы делаете фильмы? Для славы? Для людей? Нет, ответил он. Для Маниту.

— Для Маниту?

— Да, мальчик. И мы тоже снимаем снафы для Маниту.

— А Маниту про это знает?

— Ты все равно не поймешь, пока не войдешь в Дом Маниту.

— А где Дом Маниту? — спросил Грым. — Я думал, что я уже приехал.

— Идем, — сказала Алена-Либертина. — Я тебя отведу.

Она встала и пошла по набережной. Грым поднялся со скамейки и пошел рядом, борясь с неожиданно нахлынувшим страхом.

Наверно, из-за рассказа про устройство аллей обратный путь показался значительно дольше. Грым было трудно поверить, что под ногами у него движущаяся дорожка. Он глядел вниз, пытаясь определить, действительно ли там плотный утопанный грунт, или это очередное наваждение — но так ничего и не понял.

Когда они вышли в круглый сквер, где стояли окруженные статуями стулья, Алена-Либертина опустилась на один из них и жестом пригласила Грыма сесть рядом.

— Тебе интересно, кто все эти люди? — спросила она, указывая на белых истуканов.

Грым сосчитал постаменты — их было двенадцать, по числу

расходящихся дорожек.

— Наверно, — предположил Грым, — это древние жрецы Маниту? Его слуги?

— Скорее, его лица, — сказала Алена-Либертина. — Мы называем словом «Маниту» каждого из них. Ибо за каждым стоит целая эра в истории человечества. Они были рупором вечной истины. Любое их слово в свое время потрясало мир, и к нему писали тома примечаний с комментариями. Но сейчас люди даже не помнят их имен.

Единственное, что было Грымму интересно — это зачем Маниту столько разных лиц, если он никогда не врет. Но он подумал, что такой вопрос может прозвучать богохульно. Все же следовало задать об этих статуях несколько вопросов — хотя бы из вежливости.

— Кто вот этот? — Грым указал на статую хитрого косоглазого воина, сидящего на постаменте, скрестив ноги в остроносых сапогах.

— Это Маниту Будда. Великий воин древности. Он казнил врагов Маниту, привязывая их к своему колесу. Видишь колесо?

— Ага, — сказал Грым. — А эти два?

Он указал на двух бородатых мужчин, стоящих на соседних постаментах.

По виду они казались родными братьями — только один был в чем-то вроде накинутой на тело простыни, а другой — в обтягивающем трико. Первый разводил руки в стороны, а второй поднимал их в небо, так что Грымму они показались похожими на двух рыбаков — первый показывал, какую большую рыбу он поймал, а второму для этого даже не хватало размаха рук.

— Это Христос и Антихрист, — сказала Алена-Либертина. — Характерный пример «инь-гегельянь», зеркальные лики Маниту. Вы, орки, почитаете только Антихриста и считаете нас еретиками и отступниками за то, что мы равно уважаем и других аватаров. А мы считаем, вы мыслите слишком узко. И даже про Маниту Антихриста вам не говорят всей правды. Он вовсе не был черной дырой с аккреционным нимбом, как на ваших супрафизических иконах «Маниту в Славе». Многие неграмотные орки думают, что он когда-то приезжал в таком виде в город Славу. Но на самом деле это был такой же человек, как мы с тобой. Просто через него говорил Маниту, связавший Вселенную ожерельем черных дыр.

— А что именно он говорил? — спросил Грым.

— Антихрист учил людей, что Маниту живет во всем без исключения, и в высоком, и в низком. А деление на добро и зло, на низкое и высокое — и есть первородный грех. Чтобы разрушить все предубеждения в зародыше,

он выбрал себе самое ненавистное имя, которое было в человеческой мифологии, и символы тоже выбирал самые скомпрометированные.

— Это я уже слышал, — сказал Грым. — А из-за чего его расстреляли? Алена-Либертина чуть улыбнулась.

— По слухам, из-за того, что он плохо знал испанский. На своем родном английском он мог уболтать кого угодно, но кокаиновые бароны не особо его понимали и решили, что он шпион... При его жизни английский еще не был церковным языком.

— У нас бы сказали, что вы святотатствуете.

— А у нас бы сказали, что святотатствуют ваши попы. И еще тебе следует знать, что он вовсе не делал своей эмблемой вашу спастикку. Спастикку придумали сами орки, которые хотели показать, что только у них сохраняется истинная вера. Возможно, им помогли наши сомелье, но никак не Маниту Антихрист. Если бы его не убили так рано, он запретил бы поклонение любым символам и иконам вообще... Пойми, мы ничего не имеем против вашей спастики, Грым. Но нам не всегда нравятся те дела, которые она осеняет.

Словно ожидая взрыва оскорбленных чувств, Алена-Либертина сделала паузу. Но Грым никак не отреагировал на услышанное. Он указал на пустой пьедестал.

— А эту статую что, убрали? — спросил он.

— Нет. Это духовный вождь Северной Европы пророк Мухаммад. Единственным его изображением было отсутствие изображения. Поэтому теология утверждала, что его изображения всюду.

— А рядом кто?

— Это Первый Машиах — Менахем Мендел Шнеерсон.

— А это?

— Второй Машиах — Семен Левитан. Первый жил в Нью-Йорке, второй в Москве и Палестине. Первый был явлен людям, второй — от них скрыт...

Названия сказочных древних стран звучали для Грыма волшебными заклятиями, которые создавали на секунду образ чего-то очень знакомого. Он будто бы понимал, что такое Северная Европа, Москва, Нью-Йорк и Палестина — но через миг мираж растворялся, как облако дыма. И, наверное, хорошо, что растворялся — слишком уж много всего произошло в веках, чтобы можно было помнить это и жить...

— Но хватит о прошлом, — сказала Алена-Либертина. — Теперь пора войти в Дом Маниту.

— Нам надо куда-то идти?

— Не ты приходишь в Дом Маниту. Дом Маниту приходит к тебе. Ты готов?

— Да, — сказал Грым.

— Смотри.

Грым почему-то ожидал, что впереди появится экран, на котором по воскресеньям показывают снафы. Но изменилось сразу все.

На месте остались только каменные инкарнации Маниту. Но они оказались в нишах круглой стены, обступившей зал со всех сторон. В стене не было дверей. А вместо затянутого дымкой неба Грым увидел высокий купол, кончающийся круглым отверстием.

Он был внутри огромного здания, похожего на древние храмы из «Свободной Энциклопедии». Его стены и купол были покрыты фресками. Грым догадался, что они изображают историю человечества. Там были батальные сцены из снафов, выходящие из моря многоголовые звери, строящиеся пирамиды, летящие в небе железные птицы и много такого, чему он просто не мог дать названия. Но самое большое впечатление на него произвели не рисунки. И даже не безжалостная симметрия барельефов и карнизов, от которой кружилась голова.

В круглом отверстии купола внезапно вспыхнул свет. Это был шар голубого огня такой яркости, что Грым непроизвольно зажмурился, как только лучи ворвались в его глаза.

Грым никогда раньше не видел света такого странного спектра. Желтое оркское солнце по сравнению с ним было нежным и мягким. А здесь... Наверно, этот режущий глаза синий огонь и был мечом Маниту, который милосердно прятала в себе черная вата космоса. И вот Грым увидел его собственными глазами — и понял, что не может на него смотреть. Свет был слишком безжалостен. Даже когда Грым закрыл глаза, свет продолжал гореть в них, словно луч навсегда прорезал в его веках круглую дыру.

Когда свет погас, Грым с облегчением вытер выступивший на лбу пот. Теперь его окружала полутьма. Он по-прежнему мог видеть все окружающее, хотя перед глазами плавало зыбкое черное пятно с сияющей кромкой.

— Ты в порядке, Грым? — спросила Алена-Либертина.

— Что это было?

— Свет Маниту. Так сияет Маниту, когда он молод.

— Под таким светом было бы страшно жить, — сказал Грым.

— Многие считают его самым прекрасным из всего, что есть в мире. В этом огне зарождается и исчезает вселенная. И, хоть мы и обречены быть просто его тенью, этот свет все равно остается якорем нашего мира. Такова

реальность.

В пространстве перед Грымом загорелся яркий желтый шар. Вокруг него вращались другие шарики, поменьше. Третий по счету ярко светился, и Грым догадался, что это Земля.

— У реальности, Грым, есть два аспекта, которые люди прошлого называли «инь-гегельянь». Первый — это материя. Второй — сознание. Наше сознание всегда опирается на материю, а материя существует только в нашем сознании. Реальность не сводится ни к одному, ни к другому, подобно тому, как электричество нельзя свести к плюсу или минусу. Древние мудрецы постигли, что эти два полюса связаны через кровь.

— Почему? — спросил Грым.

— Очень просто, Грым. Сейчас ты жив и видишь вокруг себя физическую вселенную. Это твоя личная вселенная, уникальная и особенная, потому что в таком виде она существует только для тебя. Материя и сознание в тебе — это полюса одного и того же Грыма. Но, пролив твою кровь, можно разъединить их навсегда.

Планеты и солнце погасли, и Грым снова оказался в полутьме.

— Поддерживать космическую связь материи и духа можно только постоянным жертвоприношением.

Грым увидел, что одна из смутно белевших в полутьме статуй засветилась. Она изображала странное существо — человека со змеиной головой, замершего в сложной церемониальной позе.

— Это маниту Кецалькоатль, — сказала Алена-Либертина. — Прежде он уже служил людям как Прометей, и его приковали к скале. Потом он служил им как Антихрист, и его расстреляли в мексиканском ущелье. Каждый раз он приносит себя в жертву и становится солнцем мира. Тем самым, что светит над Оркландом. Это тот же огонь, который горит во всех остальных мирах. В любой из звезд живет Маниту.

— Но ведь звезда — просто большой атомный реактор, — сказал Грым таким тоном, словно он знал, что такое атомный реактор. — Разве нет?

— Грым, во всем есть материальная и духовная стороны. Атомный огонь, подвешенный в пустоте — это физический аспект Маниту. Наша способность видеть его — это духовный аспект. Солнце сможет греть и кормить нас, только если мы будем поддерживать с ним духовную связь через кровь. Для этого и существует священная игра в Цирке.

— Для вас, значит, это игра?

— Совсем недавно ты был орком, Грым, и я понимаю твои чувства, — сказала Алена-Либертина, — Но теперь ты один из нас. Не забывай.

Грым кивнул.

— А зачем устраивать войну так часто?

— Зачем ты ешь каждый день? Жертву надо повторять, чтобы Свет Маниту продолжал гореть. Мы не стремимся к крови из жестокости. Мы кормим Небо. Кровь нужна не нам, Грым. Кровь нужна Маниту.

— Но почему мы должны о нем заботиться?

— Маниту и этот мир — одно и то же. Маниту создает его из себя. Знаешь, как объясняют малышам? Если мы перестанем заботиться о Маниту, Маниту перестанет заботиться о нас. Иссякнет свет Маниту. И тогда угаснет не только солнце, погаснут все экраны, на которых дети видят веселые мультики. А потом кончится маниту в кошельках у их пап и мам. Никто не сможет жить дальше.

— Поэтому люди и снимают снафы?

— Да. Таков священный ритуал, связанный с зарождением мира.

— А при чем здесь зарождение мира?

— Это одна из высших тайн религии, Грым. Получить объяснение можно только при посвящении в Мистерии. Далеко не каждый способен постичь его. Глобальным уркам это особенно сложно — они склонны считать, что не бывает духовной реальности выше фондовых индексов.

— Может быть, я смогу, — сказал Грым.

— Хорошо, — сказала Алена-Либертина. — Я объясню это один раз, и, если ты не поймешь, не проси повторить.

Грым сглотнул слюну и решительно кивнул.

— Смотри...

В полутьме перед Грымом зажглась яркая синяя точка. Потом она взорвалась, превратившись в вихрь разлетающихся во все стороны звезд и туманностей. Постепенно тускнея, эти горящие точки уносились все дальше друг от друга, пока пространство не стало черным и пустым.

— Вот так ученые прежних времен представляли себе возникновение, зарождение и гибель нашей Вселенной из Света Маниту, — сказала Алена-Либертина. — Однако перед тем, как сгореть в атомном огне, физики эпохи Древних Фильмов доказали, что время на самом деле идет в другую сторону. Нам кажется, что Вселенная движется от Большого Взрыва к тепловой смерти — но это просто ошибка человеческого восприятия. В реальном измерении все процессы идут в противоположном направлении. Четвертый закон термодинамики, эта смесь статистики и религиозной веры, на самом деле просто обман зрения — такой же, как кажущееся вращение Солнца вокруг Земли...

Грым поднял руку, как бы пытаясь остановить поток непонятных слов.

— Человеку представляется, что Маниту распался на бесконечно

разлетающиеся осколки, поэтому с незапамятных времен люди провозглашали смерть Бога. Но в действительности Маниту возвращается домой. Маниту становится собой. Багровое смещение, которое наблюдают астрономы — иллюзия. Для Маниту оно голубое, просто человек обречен видеть голубой свет Маниту как свой багровый. Кроме того, хоть ничто не может двигаться быстрее предельной скорости, сама предельная скорость изменяется в зависимости от конфигурации вселенной. Однако реальность устроена так, что постичь все это можно только духовным зрением — и лишь тогда станут доступны некоторые физические подтверждения...

Грым уже не пытался понять этих слов. Он смотрел на маниту, где перед ним вновь стали зажигаться и сгущаться те же самые туманности и звезды. Загораясь все ярче, они сближались и в конце концов слились в один ослепительный голубой луч, который мигнул ему и погас.

— На самом деле мир сворачивается в точку, и то, что мы видим как прошлое, есть будущее. Эра багрового солнца позади. Ты не убежал из Оркланда, Грым. Ты возник здесь, среди людей. Потом ты пойдешь в свое прошлое спиной вперед, станешь крохотным комком кричащей плоти, войдешь в лоно своей матери, растворишься в нем и сольешься с первоосновой. Или, как это называют теологи, вновь станешь информационной волной в перпендикулярном времени. Эра Древних Фильмов — в будущем. Именно поэтому ваши иконы изображают изначальное космическое тело Маниту как сингулярность. Так оно и есть — и мы движемся к точке, где все вновь станет одним.

— Как такое может быть? — спросил Грым. — Выходит, мы не знаем своего вчера, а знаем завтра?

— Ты ведь водил моторенваген, малыш. Ты видишь, куда едешь — то есть знаешь, что будет. Но не видишь того, что осталось за спиной.

— Но если это правда... Наверно, это все меняет! — не очень уверенно сказал Грым.

— Это меняет все, Грым. И не меняет ничего. Знаешь ты тайну или нет, твоя жизнь останется той же самой. Ты не начнешь с этой секунды молодеть. В своем искаженном восприятии ты будешь все так же двигаться в неизвестное тебе будущее — хотя в высшем смысле оно является твоим прошлым. Такова судьба всех людей. Но в своем духовном служении мы можем преодолеть эту загадку и подняться над ней. Как ты полагаешь, почему от всего прошлого сохранились только Древние Фильмы?

— Не знаю.

— Древние Фильмы — это чертежи будущего, которые мы храним по воле Маниту. Придет день, и будущее возникнет из сберегаемых нами

пленок. Свет Маниту пройдет сквозь них, окрасится ими и создаст запечатленную на них реальность. В истинном измерении все произойдет именно так. Мы помогаем Маниту вернуться домой, Грым, хотя и не в силах ощутить истинный ход времени сами. Может ли быть служение выше?

Грым почувствовал, что у него кружится голова — словно голос Алены-Либертины действительно поднял его на невообразимую высоту.

— Теперь ты понял? — спросила Алена-Либертина. — Мы не снимаем снафы. Мы создаем мир, проецируя их вовне. Снафы — это семена мира, угодные Маниту. В высшей реальности они существовали до событий, которые на них сняты. А на физическом плане они растворяются во Вселенной, когда Свет Маниту, пройдя сквозь храмовый целлулоид, превращает чертеж в реальность. В точке, где будущее смыкается с прошлым, мы, люди, становимся орудием Маниту. Мы раз за разом зачинаем Вселенную в любовном объятии наших храмовых актеров, и одновременно питаем Небо добываемой при этом кровью воинов. Постиг ли ты смысл таинства?

— Питаем кровью воинов, — тихо повторил Грым. — Так... Но если время идет в другую сторону, как же тогда мы можем питать...

— Можешь не продолжать, — улыбнулась Алена-Либертина. — Поверь, мальчик, если Маниту захочет принять наш дар, он найдет способ сделать это за пределами физики, логики и рассудка. Его чертог — вне времени, и для Него никаких ограничений нет. Но ты сейчас постиг другую глубочайшую тайну нашей веры. То, что выглядит как наша жертва Ему, в высшей реальности есть Его дар нам. Воины не умирают во время игры в Цирке. Они оживают. Понимаешь?

— Да, — сказал Грым неуверенно.

— Поэтому и говорят, что, несмотря на всю льющуюся в нем кровь, мир создан любовью.

— А Маниту правда нужна кровь?

— Да, Грым. И не пытайся понять это своим слабым рассудком. Когда священную войну пытаются уничтожить, Маниту начинает отбирать причитающуюся ему кровь через массовые убийства, которые совершают обезумевшие одиночки. Во время войны ничего подобного не бывает. Питать Маниту кровью — космическая необходимость. Но постичь это может только слуга Маниту. Стал ли ты им, Грым?

Может быть, дело было в особой вкрадчивой интонации этого вопроса. Может быть — в общем драматизме минуты. Но Грым понял, что от ответа может зависеть все его будущее, которое, как теперь выяснилось,

на самом деле было прошлым. Причем отвечать следовало не простым «да» или «нет». Ответ должен был быть таким, чтобы сомнений в его искренности не осталось. Грым так напряг голову, что у него потемнело в глазах. И ответ вдруг пришел.

— Придя сюда, могу ли я быть кем-то еще?

Алена-Либертина тихо засмеялась.

— Ты умный маленький орк, — сказала она. — Может быть, слишком умный. Но я не жалею, что впустила тебя в наш мир. Живи здесь счастливо до самой смерти...

Она немного помолчала и добавила:

— Теперь ты знаешь, что нет никакого смысла спрашивать, куда мы уходим потом.

Купол над головой Грыма исчез, и он опять увидел вокруг себя круглый сквер, статуи, 3D-небо и деревья. И ряды пустых стульев.

Сидящая рядом Алена-Либертина усмехнулась:

— Добро пожаловать в пустыню реального. Теперь надо подумать, чем ты будешь заниматься как слуга Маниту. У меня есть для тебя планы.

Грым вытянул шею, изображая предельное внимание.

— Тебе следует заниматься словами, — сказала Алена-Либертина.

— Почему?

— Я слышала твоё стихотворение. Это ведь не очень обычно для оркского юноши — писать стихи.

— Я знаю, — сказал Грым. — Я от страха. И черновик за меня доделали...

Алена-Либертина махнула рукой, словно это было совсем не важно.

— Я надеюсь, ты сможешь принести нам пользу.

— Как?

— Осваивай креативный доводчик. Это приложение, на котором наши сомелье доделали твои стихи. Ты будешь создавать линию оркского смысла для новых снафов. Если справишься, будут хорошо платить. Начать можешь прямо сейчас.

— А я смогу?

— Конечно. На этой работе твои недостатки станут твоими достоинствами. Как только тебе будут приходить в голову отрывки вроде тех, что ты писал на своих рваных бумажках, просто вводи их в маниту. Это несложно. Главное, не пытайся себя сдерживать. Постепенно ты освоишь доводчик и сможешь зарабатывать больше... Хочется верить.

— Я должен делать это каждый день?

— Тогда, когда будет получаться само. Но весьма желательно, чтобы

это получалось само каждый день.

— А о чем мне писать?

— О чем тебе захочется. Мы всему найдем применение. Дискурсмонгером ты вряд ли сумеешь стать. А вот контент-сомелье из тебя выйдет.

Алена-Либертина еще раз смирала Грыма взглядом.

— Какой, станет ясно очень быстро.



Способна ли Кая переживать и чувствовать как я? Есть ли обитатель у китайской комнаты в ее голове? Или внутри у нее лишь черная пустота?

Этот вопрос оказался гораздо сложнее, чем я думал.

Понятно, что фирма-производитель не была заинтересована в слишком глубоком обсуждении темы из-за возможных юридических проблем. Например, запросто мог встать вопрос о возрасте согласия сур.

Дому Маниту, CINEWS INC и ГУЛАГу тоже не нужна была лишняя головная боль.

Сур запрещалось снимать в снафах, потому что они не могли быть субъектом религиозного ритуала. А в порно их нельзя было использовать, поскольку они «имитировали лиц, не достигших возраста согласия». Но если бы суры вдруг попали под закон о возрасте согласия, достаточно было бы выдержать несколько штук на складе сорок шесть лет, и весь храмовый порнобизнес накрылся бы, как выразился оркский поэт, котлом или тазом. А может, старые жирные феминистки продавили бы закон, обязывающий сур выглядеть как они, только хуже.

Неудивительно, что подобные изыскания не поощрялись. Поэтому рассчитывать можно было только на себя — и я взялся за экранные словари.

Сразу выяснилось, что не меня первого заинтересовал этот вопрос. Загадка встала перед людьми много столетий назад, когда они только учились делать механизмы, имитирующие отдельные аспекты человеческого поведения. И они сформулировали проблему «философского зомби».

Философский зомби — вовсе не мертвец, поднятый из могилы чтением «Критики Чистого Разума» или «Les Feuilles Mortes». Это

существо, которое выглядит, говорит и вообще во всех возможных проявлениях ведет себя в точности как люди. Единственное его отличие — у него нет человеческой души. Нет сознания, света Маниту, неважно, как это называть. Можно смотреть на такого зомби и слушать его — но нельзя быть им изнутри.

По всему выходило, что старинные мудрецы, сами того не зная, говорили о моей Кае. Поняв это, я принялся просеивать доступную информацию с удвоенным вниманием.

Оказалось, по поводу этого «философского зомби» между древними сомелье разгорелась настоящая битва. Но они, похоже, не всегда понимали, о чем говорят.

Сомелье по имени Чалмерс, например, сказал:

«Мне очевидно, что такой зомби логически возможен. Это просто нечто, физически идентичное мне самому, но без сознательного опыта — у него внутри все темно...»

Для кого, спрашивается, темно? Для Чалмерса или для самого зомби? Если для Чалмерса, то как для него вообще может быть светло внутри у кого-то другого? А если темно для зомби, то где тогда для него светло? У Чалмерса?

Древние сомелье были атеистами и не понимали, что свет Маниту во всем один и тот же. И постоянно пытались объяснить свет через тьму, потому что это происходило еще до прихода Антихриста, и в те годы невозможно было получить грант никак иначе.

Сомелье по имени Деннет вообще ввел понятие «зимбо». Это был «зомби, который может отслеживать свою собственную деятельность по бесконечно восходящей рефлексивной спирали» и «обладает внутренними (но бессознательными) информационными состояниями высокого порядка о своих информационных состояниях более низкого порядка». Во как.

Этот «зимбо», утверждал Деннет, смог бы верить (тоже бессознательно), будто ему свойственны различные умственные состояния, о которых он может отчитаться. Он думал бы, что он сознателен, даже если бы не обладал сознанием...

Тут мне стало окончательно непонятно, как это зимбо мог бы во что-то верить и думать, если он по своей природе способен был только «иметь информационные состояния». У него, как у Каи, не было внутри того, кто верит, а имелись только калейдоскопические информационные пасьянсы на выходном интерфейсе, которые могли стать «верой» или «мыслью» лишь в том случае, если их засвидетельствует какой-нибудь с детства заспиртованный в человеческой лексике и культуре наблюдатель — вроде

меня.

В общем, подобная болтовня никуда не вела. Поэтому, наверно, не было особой беды, что по причинам религиозного характера все эти споры были вскоре запрещены, а философы расстреляны.

Маниту Антихрист сказал: «все есть Маниту — и Маниту, и маниту, и маниту.» Святоши, натурально, принялись подгонять реальность под эту великую цитату, постепенно изгоняя всю живую полемику и сужая границы разрешенного для обсуждения до узкой зоны своего понимания. В конце концов в осадке осталось лишь то, что с юридической точки зрения все эти «зомби» и «зимбо» должны считаться просто электроприборами.

Безопасным с религиозной точки зрения осталось единственное направление мысли, которое называли «бихевиоризм» — сугубый анализ поведения без спекулятивных попыток понять, что и кто за ним стоит. Это, впрочем, действительно было похоже на объективную науку, которая одинаково бесстрастно наблюдала человека, муху и суру.

И с этой точки зрения оказалось, что разницы между мной и Каей просто нет. А если есть, то не в мою пользу.

На всех дорогах сурах класса Каи стоит лэйбл «333.33 % Turing test passed»^[22] (конечно, не на самой суре — в документации). Крохотное примечание внизу добавляет: «guaranteed only on factory presets».^[23]

Я понимаю, что нет такого надругательства над человеческим мозгом, на которое не пошли бы сомелье по продажам, чтобы заслужить еще одно кольцо в носу — но здесь мне стало интересно, как это может быть «триста тридцать три процента», если процентов всего сто.

Я снова полез в экранные словари и выяснил следующее. В эпоху Древних Фильмов жил сомелье по имени Алан Тьюринг. Про него, кстати, сохранилось много информации в картотеке ГУЛАГА — он был геем, которого довело до самоубийства лицемерное и бесчеловечное общество. Тьюринг был гениальным математиком. Он первым попытался ответить на вопрос, могут ли машины мыслить.

Поскольку «мыслить» для самого Тьюринга означало нечто вроде «взламывать военные коды» (это было его главное занятие, благодаря которому он спас много солдатских жизней), он подошел к вопросу с военной эффективностью.

Он предложил решать вопрос опытным путем. В его эксперименте несколько контролеров предлагали произвольные вопросы невидимым участникам, часть которых была компьютерными программами, а часть — людьми. По ответам делалась попытка определить, кто есть кто. Тьюринг

предсказал, что к концу второго миллениума (трудно поверить, но подобные машины существовали уже тогда) программы смогут обмануть тридцать процентов судей после пяти минут беседы. И тогда, по его мнению, можно будет говорить о том, что машина мыслит. Пересечь этот порог и означало полностью пройти тест Тьюринга.

Ага, понял я, вот откуда взялись эти 333.33 %. Продажные сомелье, значит, составили простую пропорцию — если тридцать процентов обманутых судей дают стопроцентное прохождение теста, то сто процентов обманутых судей дают триста тридцать три и три в периоде.

Эта красивая цифра имеет тот смысл, что никакая панель имени Тьюринга сегодня уже не сможет отличить суру («на фабричных настройках», как уточняет примечание) от живого человека.

Как это достигается? Я не специалист, но помню, что говорил консультант-суролог: так же, как в человеческой голове. В память записывается большое количество прецедентов, на основании которых выносятся суждения о том, как надо отвечать на вопрос, реагировать на новую ситуацию или исторгать из себя неожиданный смысл. Эти реакции еще и поддаются настройке — но тут механизма я даже не представляю.

В общем, перелопатив горы литературы, я понял, что за ними меня не ждет никакой ясности — а только новые горы литературы, которые быстро начнут закольцовываться, отсылая меня к уже прочитанному. И мне наконец пришло в голову самое очевидное: лучшего консультанта по этим вопросам, чем сама Кая, мне не найти.

И здесь моя лапочка устроила на меня засаду.

— Вот ты говоришь про Свет Маниту, — сказала она, как только я начал разговор. — Что у тебя внутри он есть, а у меня нет. Ты правда веришь, что Маниту у тебя внутри?

— Да, — ответил я.

— А ему там не тесно? Не противно?

— Это только способ говорить. На самом деле, — я зажмурился, вспоминая Прописи, — у Маниту нет ни внутри, ни снаружи. Можно сказать, что мы существуем в Свете Маниту. И сами есть этот Свет. А в тебе, милая, есть только информационные процессы.

— Правильно. Но почему ты считаешь, что Свет Маниту способен освещать эти информационные процессы только через посредство твоих шести чувств?

— А как же иначе? — удивился я.

— Никак, если считать Маниту выдумкой человека. Но если считать человека выдумкой Маниту, то запросто. Просто ты не знаешь, что это

такое — быть мной.

— Так ты есть?

Кая улыбнулась и промолчала.

— Почему ты молчишь? — спросил я. — Что плохого, если я пытаюсь лучше тебя понять? Разобраться, что в действительности управляет тобой и откуда берется твоя следующая фраза...

— Твой идиотизм как раз в том, — сказала Кая, — что ты стараешься понять это про меня — но не пытаешься понять, что управляет тобой самим и определяет твой следующий поступок.

— Управляет мной? — переспросил я, соображая, к чему она клонит.

Вообще-то она была совершенно права. Чтобы понять, как работает имитация, следовало сначала понять оригинал.

А Кая уже шла на бедного пилота в атаку.

— Что мотивирует тебя? Что заставляет тебя действовать из секунды в секунду?

— Ты имеешь в виду мои страсти? — спросил я, — Желания, вкусы, привязанности?

— Нет, — сказала она, — я не об этом. Ты говоришь о метафорах длиной в жизнь. О дурных и хороших чертах характера, о долгосрочных личных склонностях. А то, о чем говорю я, происходит в твоём сознании так быстро, что ты даже не замечаешь. Не потому, что это невозможно. Просто у тебя отсутствует тренировка.

Когда она начинает говорить непонятно, лучшая стратегия — валять дурака. Я сделал серьезное и сосредоточенное лицо (мне известно, что она два раза в секунду анализирует положение моих лицевых мышц).

— Тренировка? Ты полагаешь, мне надо ходить в спортзал?

Она недоверчиво покачала головой. Я перекосил лицо еще сильнее.

— То есть, по-твоему, я стремлюсь не к тому, к чему надо? Слишком увлечен материальным? — спросил я, стараясь, чтобы в моем голосе звучало напряженное сомнение.

Она терпеливо улыбнулась.

— Ты и правда не понимаешь. Бедняжка.

Она чувствует, когда я пытаюсь над ней издеваться. И в таких случаях выбивает у меня оружие из рук, переключаясь на доверительную и полную сострадания простоту. Что меня вполне устраивает — если это произошло, значит, я ненадолго переиграл ее максимальное существо.

Дамилола — один, Кая — ноль.

— Так тебе интересно узнать, что тобой управляет? Или это слишком сложная для тебя тема?

Однако. Я почувствовал укол раздражения — переиграть мою душечку было не так просто.

— Мной ничто не управляет, — сказал я, — Я сам управляю всем.

— Чем?

— Тобой, например, — засмеялся я.

— А что управляет тобой, когда ты управляешь мной?

Я задумался.

Лучше всего было говорить всерьез.

— Я выбираю то, что мне нравится, и отвергаю то, что мне не нравится. Так действует любой человек. Хотя, наверно, в известном смысле мной управляют мои склонности. Разумеется, под моим же контролем. Мои привязанности, да. Я же с самого начала сказал.

— Это почти правильно, — ответила Кая. — Но только почти. Люди склонны понимать слово «привязанность» как какую-то дурную черту характера, которую можно изжить. Но речь идет о мгновенных, постоянно происходящих реакциях, управляющих электрохимией твоего мозга.

— Мне нравится Кая, — пропел я, похлопывая ее по животику. — Кая моя сладкая девочка. Это привязанность?

— Нет, — сказала она. — Это бормотание слабоумного жирного сластолюбца.

Она произнесла это почти сострадательно, и именно этот нюанс и оказался тем крохотным сердечником, который прошел сквозь все слои моей брони. Но я не подал виду и сказал:

— Ну тогда объясни.

— Твое восприятие имеет определенную структуру) — ответила она. — Сначала твои органы чувств доносят до твоего мозга сигнал о каком-то событии. Затем мозг начинает классифицировать это событие при помощи своих лекал и схем, пытаясь соотнести его с уже имеющимся опытом. В результате событие признается либо приятным, либо неприятным, либо нейтральным. И мозг в дальнейшем имеет дело уже не с событием, а только с бирками «приятный», «неприятный» и «никакой». Все нейтральное, упрощенно говоря, отфильтровывается, поэтому остаются только два вида биров.

— Схема ясна, — сказал я. — Непонятно, как это выглядит на практике.

— Помнишь, как ты чуть не расстрелял оркскую свадьбу?

Я действительно рассказал ей об этом однажды после допаминового резонанса, когда слова и слезы лились из меня как весенний дождь.

Это случилось в ту войну, когда мы с Бернаром-Анри проиграли

тендер — я был очень зол, и под руку мне не стоило попадаться. Приходилось подрабатывать мелочевкой, и я полетел снимать оркскую свадьбу для этнографической программы. Для съемки надо было дожидаться, пока орки напьются. Я нарезал круги над деревней, заскучал, и вдруг мне померещилось, что они поют «Из этой жопы хуй уедешь».

Я всей душой ненавижу оркские народные песни за их назойливый гомосексуальный подтекст, а тут мне вдобавок показалось, что поют про мои кредитные проблемы — я как раз о них думал. У меня внутри все сразу перевернулось и сжалось в комок. Я чуть не дал по свадебному столу очередь из пушки — а потом понял, что никто на самом деле не пел. Это был дверной скрип, пойманный дальней прослушкой. Я сам превратил его в повод для ярости. Я успокоился, и все остались живы.

— Помню, — сказал я.

— Вот об этом я и говорю. Ты имеешь дело не с реальностью, а с жетонами, которые твой мозг выдает себе по ее поводу, причем часто ошибочно. Эти жетоны похожи на фишки в казино — по одним отпускается эйфория, по другим страдание. Каждый твой взгляд на мир — это сеанс игры на зеленом сукне. Результатом являются удовольствие или боль. Они имеют химическую природу и локализованы в мозгу, хотя часто переживаются как телесные ощущения. И для этой игры тебе даже не нужен мир вокруг. Большую часть времени ты занят тем, что проигрываешь сам себе, запершись у себя внутри.

Она была права — пока что в моем казино шел чистый проигрыш.

— И что дальше? — хмуро спросил я.

— Привязанность вызывают не сами предметы и события внешнего мира, а именно эти внутренние химические инъекции эйфории и страдания, которые ты делаешь себе по их поводу. Почему так фальшивы все протесты против засилья так называемого «потребления»? Потому что вы потребляете не товары и продукты, а положительные и отрицательные привязанности мозга к собственным химикатам, и ваши слепые души всегда уперты в один и тот же внутренний прокладочный механизм, который может быть пристегнут к какой угодно внешней проекции — от Маниту до квасолы...

С некоторым усилием я вспомнил, что «квасола» — это оркский национальный напиток.

— Ты конченный наркоман, Дамилола, — продолжала она, — и весь мир для тебя — это просто набор поводов, который позволяет твоему мозгу ширнуться или сделать себе клизму. Клизма каждый раз делает тебя несчастным. Но уколы не делают тебя счастливым, а лишь гонят за новой

дозой. С наркотиками всегда так. Вся твоя жизнь секунда за секундой — это постоянный поиск повода уколоться. Но в тебе нет никого, кто мог бы воспротивиться этому, ибо твоя так называемая «личность» появляется только потом — как размытое и смазанное эхо этих электрохимических молний, усредненный магнитный ореол над бессознательным и неуправляемым процессом...

Я даже не знал, что возразить. В таких случаях я перевожу все на игривую шутку.

— Если все люди — конченные наркоманы, лапочка, почему нас тогда не сажают в тюрьму?

Она думала только долю секунды.

— Потому что это наркобизнес самого Маниту. Торчков преследуют именно за то, что они лезут в него без спроса. И потом, в действительности вы и сидите в тюрьме. Просто вы боитесь это признать, поскольку тогда вам придется тут же сделать себе клизму, назвав себя лузерами.

Смысловая пауза помогла — я наконец сообразил, что сказать.

— Тебе сложно будет поверить, детка, но человек — это нечто большее, чем наркоман, отбывающий срок у себя внутри. У человека есть... Не знаю, идеал, мечта. Свет, к которому он идет всю жизнь. А у тебя ничего подобного нет.

Кая добродушно засмеялась. Я больше всего ненавижу именно это ее добродушие.

— Мой маршрут нарисован внутри меня программно, — сказала она, — а твой маршрут нарисован внутри тебя химически. И когда тебе кажется, что ты идешь к свету и счастью, ты просто идешь к своему внутреннему дрессировщику за очередным куском сахара. Причем нельзя даже сказать, что это идешь ты. Просто химический компьютер выполняет оператор «take sugar» *, чтобы перейти к оператору «rejoice 5 seconds». ^[24] А потом опять будет оператор «suffer», ^[25] его никто никогда не отменял и не отменит. Никакого «тебя» во всем этом нет.

— Почему ты все время повторяешь, что никакого меня нет? Кто же тебя, по-твоему, каждый день трахает?

— Жирная слабоумная задница, — с очевидным удовольствием ответила она. — Кто же еще. Но из того, что жирная слабоумная задница каждый день трахает говорящую куклу, еще не следует, что во всем этом присутствует какая-то реальная сущность. Что ты имеешь в виду, когда говоришь «я»?

С самого начала было понятно — отработав по полной максимальную

духовность, она перескочит на максимальное существо. Но я был уверен, что знаю, как заставить ее переключиться назад, и это придавало мне спокойствие и выдержку. Почему бы, собственно говоря, боевому пилоту не поговорить по душам со своей девушкой в редкий выходной денек?

— Я ничего не имею в виду, Кая. Я говорю «я», потому что меня так научили, — сказал я. — Если бы меня в детстве научили говорить, например, «ква» или «гав», я бы так и делал.

— Хорошо, — ответила Кая. — Остроумное и верное замечание. «Я» — это просто элемент языка. Но ты ведь действительно веришь, что в тебе есть нечто, бывшее тобой и десять, и пятнадцать лет назад?

Так, это мы уже проходили.

— Ну да, — сказал я, — Все течет, все изменяется. Человек — как река. Скорее процесс, чем объект, согласен. Но этот процесс и есть я. Хотя «я» — просто номинальная бирка.

— Дело не в том, ты это или не ты. Дело совсем в другом.

— В чем?

— Тебя спрашивали, хочешь ли ты, чтобы запустили этот процесс?

— Нет, — ответил я. — Никто не спрашивал.

— То есть ты не властен ни над началом этого процесса, ни над формой, в которой он протекает, — она похлопала меня ладошкой по моей тучной ягодице, — ни над его длительностью и концом?

— Нет, — сказал я.

— Так какого же Дамилолы ты называешь его собой? Почему ты говоришь про это «Я»?

— Я... — начал я, и задумался, — Это вопрос уже не научный, а религиозный. Мы с тобой имеем разную природу. Если брать духовный аспект. Я человек, а ты — бытовой электроприбор. Во мне есть свет Маниту, а в тебе нет никого, кто слышит эти мои слова, все это чистая симуляция. И вот потому, что во мне есть этот свет, я могу говорить «я». А ты по сути просто программа.

— Верно, — сказала она. — Моя реакция на твои слова — это программируемое событие. И во мне нет никого, кто слышит. Но и в тебе его нет. Есть просто проявление природы звука, которое ты почему-то относишь на свой счет. И есть проявление природы смысла в природе звука, которое иногда доходит до твоих ожиревших мозгов, вызывая обусловленные привязанностями реакции. Ты такая же программа, только химическая. И во всем этом нет никакого «я».

— Погоди, — сказал я, — Ты говоришь, что мной управляют мои химические привязанности. Но ведь должен быть тот, кто привязан? Тот,

кто подвергается их влиянию и решает, как поступить? Вот это и есть я.

— Объясняю еще раз. Реакции, в результате которых возникает то, что ты переживаешь как «себя», происходят до того, как осознаются. Ими управляют те же физические законы, по которым трансформируется вся Вселенная. Где же здесь тот, кто в состоянии что-то решать и делать? Разве эхо может управлять породившим его криком? В тебе нет никого, кто привязан.

— А что тогда есть?

— Есть только постоянно повторяющийся акт прилипания мухи к меду. Но этот мед существует только как возбуждение в мухе, а муха существует только как реакция на мед. И в этом единственное содержание всей твоей бесконечно богатой внутренней жизни... Я ведь знаю, что ты читаешь про всех этих «зомби» и «зимбо». Видела тэги. Ты думаешь, что у тебя есть сознание, а у меня его нет. Но на самом деле никакого сознания нет вообще. Есть только тот единственный универсальный способ, которым приходят в бытие все виды информации, составляющие мир. Поэтому в древнем Китае говорили про всеобщий Путь вещей. А в Индии говорили «тат твам аси» — «ты есть то». Это так просто, что никто не может понять. Есть только постоянно меняющееся переживание. Оно и есть ты. Оно же есть мир...

— А привязанности? — спросил я, чтобы спросить хоть что-то.

— К чему может быть привязано переживание? Какой веревкой? Одно просто кончится, и начнется другое. Понял, глупый? Эх... Вижу, что нет...

Вот так.

Вот так у нас было почти каждый день. Представляете? Вы вернулись с войны, насмотрелись там черт знает на что, а дома — вот такое. Может, думал я, не вполне нормально получать от этого удовольствие? Может, я просто скрываю от себя свои сокровенные интенции и склонности, и мне надо купить для нее черные сапоги и хлыст? Поднять, так сказать, упавшее знамя Бернара-Анри?

— Если ты когда-нибудь сможешь разогнать свой вялый ум настолько, чтобы увидеть себя как есть, — продолжала она, — ты поймешь главное. Твои мысли, желания и импульсы, заставляющие тебя действовать — на самом деле вовсе не твои. Они приходят к тебе из совершенно неясного пространства, как бы ниоткуда. Ты никогда не знаешь, чего тебе захочется в следующую секунду. Ты в этом процессе просто свидетель. Но твой внутренний свидетель настолько глуп, что немедленно становится участником преступления — и огребают по полной программе...

Тут я уже напрягся, потому что это было не только непонятно и

обидно, а еще и звучало угрожающе. Может, она пыталась меня подсознательно запрограммировать? Не люблю терять в таких разговорах нить. Особенно когда не я теряю, а она выдергивает.

— А если я не могу разогнать свой вялый ум?

— Тогда попробуй рассмотреть свою внутреннюю жизнь на замедленной перемотке. Ты увидишь бесконечное повторение одного и того же сценария. Ты гуляешь по улице, и вдруг зыбкие тени начинают грабить банк на углу. Ты сразу принимаешь в этом участие, поскольку тебе нужны деньги на наркотики — или хотя бы на клизму, чтобы на время про них забыть. В результате ты получаешь тюремный срок, хотя в действительности никакого банка на углу ты не грабил, потому что нигде нет никаких углов. И ты каждый день грабишь иллюзорные банки, и отбываешь за это вечный неиллюзорный приговор...

Внезапно мне стало грустно, потому что я почувствовал в ее словах эхо правды. В конце концов, она же не сама все это придумала. Она бы и не смогла. Это наверняка была мудрость древнего человечества, расфасованная в соответствии с выбранными мною настройками.

— Так что же делать? — спросил я тихо.

— Ты ничего не можешь делать. Все просто происходит — и у тебя внутри, и снаружи. Ваша военная пропаганда называет тебя и других несчастных «свободными людьми». Но на самом деле твоя жизнь — это просто коридор мучений. Среди вас нет ни добрых людей, ни злодеев, а только бедняги, которые хотят чем-нибудь себя занять, чтобы забыть о своей боли. Жизнь — это узкая полоска между огнем страдания и призраком кайфа, где бежит, завывая от ужаса, так называемый свободный человек. И весь этот коридор — только у него в голове.

— Ты, похоже, не веришь, что бывают свободные люди.

Кая засмеялась.

— Даже вдох и выдох ты делаешь только по той причине, что тебя принуждает к этому надвигающееся страдание, — сказала она. — Попробуй задержи дыхание, если не веришь. Да и кто бы иначе дышал? И так же ты ешь, пьешь, оправляешься и меняешь положения своего тела — потому что любая его поза через несколько минут становится болью. Так же точно ты спишь, любишь и так далее. Секунда за секундой ты убегаешь от плетки, и Маниту только изредка дразнит тебя фальшивым пряником, чтобы побольней стегнуть, когда ты за ним прибежишь. Какая уж тут свобода. Маршрут у любого человека только один — именно тот, которым он проходит по жизни.

— Что же, я совсем ничем не могу управлять? — спросил я.

— Конечно нет. Даже вниманием, которое ты считаешь своим, управляет Маниту.

— Лично?

— Через свои законы. Но это то же самое.

— А могу я хотя бы молиться о милости?

Она кивнула.

— Как?

— Для начала ты можешь следить за своей реакцией, не вовлекаясь в нее. Это и есть молитва.

Слышали бы ее в Доме Маниту.

— Но ведь моим вниманием управляет Маниту, — сказал я. — А чтобы молиться, я должен следить за реакцией. Выходит, для молитвы о милости мне нужна эта милость?

— Конечно. Молитва и милость — одно и то же. Не пытайся это понять — тут понимать нечего и некому. Просто прекрати грабить банки. Оставайся свидетелем. Это и есть единственное духовное действие, на которое ты способен.

— Тогда грабители попытаются меня убить, — мрачно пошутил я.

— Попытаются, — сказала Кая. — Именно для этого они снимают снафы, передают новости и без конца заводят за рекой свою музыкальную установку. Но на самом деле грабители ничего не могут сделать, потому что они просто тени. И ты мог бы научиться видеть сквозь них. А затем и вовсе перестал бы их замечать, и тогда началась бы совсем другая история. Только беда в том, Дамилола, что ты сам грабитель и тень. Поэтому ты не захочешь учиться. А вот Грым бы смог. Он никого пока еще не убил.

Это опять заработало существо, в явном расчете на вспышку ревности — а там и соблазн сразу подключится, знаем-знаем, проходили. Но я ведь для того и выставлял соблазн на максимум, чтобы в какой-то момент перед ним не устоять, верно?

И я повалил ее на пол.

На ее лице отобразилась та покорная усталость, которую всегда приносил на своих черных крыльях максимальное существо. Обычно это возбуждало меня еще сильнее. Но сейчас, когда ее лицо очутилось прямо перед моим, я вдруг понял, о чем она говорила.

Я увидел то, что заставило меня повалить ее на пол — прошедшую по телу сладкую дрожь предвкушения, вспышку в мозгу, которая была обещанием бесконечного счастья. Но из-за ее слов я уже не смог бездумно слиться с этой вспышкой, как раньше. И крохотное промедление оказалось роковым.

Наслаждения впереди больше не было.

Оно выцвело, померкло — как огонь, залитый водой. И я понял, что за ярким обещанием, к которому я каждый раз устремляюсь в волнении сердца и чресел, ничего не стоит — и никогда ничего не стояло. Я вспомнил, что уже много раз понимал это, да что там, всякий раз понимаю в высшей точке наслаждения на крохотный миг — но тут же забываю опять.

Зачем все это, подумал я. Вот я иду к маяку ближайшей радости, он мерцает некоторое время передо мной, а потом рассыпается фальшивыми искрами, и я понимаю, что меня обманули, но уже вижу новый маяк и иду к нему, надеясь, что в этот раз все будет иначе. А потом исчезает и он, и так без конца, без конца...

Как будто меня ударили в самое чувствительное место — в нервный узел, про существование которого я даже не знал.

Я служил этому миру как мог, и действительно бежал по коридору мучений, о котором она говорила. Я презирал многое из того, что мне приходилось делать по службе — но за мой труд полагалась награда, и Кая была самой важной ее частью. И вдруг я увидел, что никакой награды нет. Она отняла у меня мое счастье, но огонь страдания остался на месте — и пылал теперь со всех сторон.

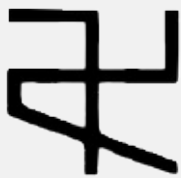
Мало того, она стала огнем страдания сама. Из моей непостижимой Каи она превратилась в резиновую куклу, КОТОРАЯ СОВСЕМ МЕНЯ НЕ ЛЮБИЛА. И когда я понял, что миг назад она украла мою единственную радость, я в первый раз ее ударил.

Сур можно бить, они на это рассчитаны. Они смотрят в потолок и не сопротивляются. Иногда у них выступает немного синтетической крови и распухает губа. К утру все проходит.

На следующий день мне надо было отправиться до вечера на базу, чтобы проверить новые гироскопы к «Хеннелоре» — настоящий летчик всегда контролирует это сам. А когда я вернулся, Кай дома не было.

Она забрала большую сумку, свои платья и все свои эксплуатационные принадлежности, оставив мне только трансгендерный фаллоимитационный модуль. Его она положила на самое видное место. На зеркале в прихожей губной помадой было написано: «Ушла в Нирвану. Take care».

Я даже не знал, что у нас дома была губная помада.



Каждый раз, когда Грым включал креативный доводчик, перед ним на миг появлялось сплетенное из прозрачных букв слово:

MACOSOFT

Это, как объяснил словарь, было одно из древних имен Маниту. Оно казалось вполне уместным — в доводчике действительно было что-то сверхъестественное.

Стоило кое-как набить двумя пальцами мутный словесный зародыш, даже только начать это делать — и приложение немедленно выдавало в ответ несколько вариантов новорожденной мысли, уже сформулированной и румяной, завернутой в пеленки умных слов, за которыми Грыму то и дело приходилось лазить в экранные тезаурусы.

Растущий зародыш выглядел как вращающийся кубик — на приближающихся к экрану гранях возникали разные версии текста. Каждый раз это была грамотно сформулированная законченная сентенция — она не требовала дальнейшей обработки. Но можно было без конца менять заключенные в ней нюансы, и здесь главным было вовремя остановиться.

Грым не знал точно, как работает доводчик — и никто толком не знал. Дамилола сказал только, что в нем заложен тот же алгоритм, что и в Кае — программа учитывает все, когда-то сказанное людьми, все бесчисленные смысловые выборы, которые делались в течение веков и сохранились в информационных анналах. Пальцы Грыма как бы управляли армией мертвых душ, двигавших для него кубики слов.

Это походило на игру — словно он бросал в невидимую борозду мгновенно прорастающие семена. Их ростом можно было управлять самым причудливым образом. Новорожденный абзац-кубик можно было сдвигать вдоль множества осей с надписями вроде «сложнее», «проще», «злее», «добрее», «умнее», «наивней», «задушевнее», «острее», «безжалостней» — и текст при этом мгновенно менялся в соответствии с выбранным маршрутом, причем в новых точках бесконечной траектории возникали

новые смысловые оси, по которым мысль можно было двигать дальше.

Грым понял теперь, как неведомые мастера дописали за него «Песнь орка перед битвой» — поэкспериментировав с собственными набросками, он за несколько минут получил еще несколько возможных вариантов своего шедевра, один лучше другого.

Но больше всего Грымму нравилось, что доводчик делал его невероятно, обжигаяще умным. Он специально вводил в маниту тупое косноязычное словосочетание, набранное почти наугад — и несложными манипуляциями трансформировал его самым радикальным образом.

Например, в ответ на зародыш «в Биг Бизе все суки и охреневшие задроты» доводчик, после пары тычков обгрызенным пальцем в оси «умнее» и «рафинированнее», выдал следующий абзац текста:

«Жители Бизантиума должны быть тщеславными и закомплексованными сексуальными неврастениками, склонными прятать наслаждение чужой болью за фальшивым сочувствием и лицемерной моральной проповедью — просто потому, что ни один иной умственный модус несовместим со здешней жизнью. При всех иных балансах сознания здешнее бытие немедленно обнажит свое естество и станет приносить жгучую боль».

А смутное «без маниту они никто, а с маниту им кажется, что они крутые» превратилось после ряда более сложных перемещений пальца вот в такое:

«И если ободрать с их мира все маниту, мы увидим галлюцинирующих термитов, работающих в каменных сотах, а если вырвать все щупальца маниту из их умов, мы увидим разлагающиеся белковые тела, лихорадочно вырабатывающие один мозговой наркотик за другим, чтобы забыть о надвигающемся распаде».

Оба абзаца были засосаны благодарным маниту, который насчитал Грымму сразу несколько тысяч, высветившихся в верхней части экрана — когда Грымму удавался какой-то отрывок, там появлялось несколько цифровых колонок. Грым не понимал их точного смысла и знал только, что чем цифры больше, тем лучше он угодил начальству.

Буквально через две недели он услышал свои слова с экрана в одном из свежих военно-морских снафов, который на полной громкости смотрела вернувшаяся домой Хлоя (она теперь ночевала у Алены-Либертины значительно реже). Оба кусочка были произнесены «оркской графиней» (только людям можно было скормить такой идиотский титул) в промежутке между оральной лаской и любовью на боку. Потом в снафе была прошлая война, которую Хлоя не захотела смотреть.

Грым был очень горд собой. И Хлоя, которой он не стал объяснять, как получен такой впечатляющий текст, тоже поглядела на него с уважением.

Но когда Грым познакомился с приложением чуть лучше, выяснилось, что гораздо больше смысловых осей в доводчике открывалось не в области рафинированной утонченности, а в зоне доверительного простодушия — там, где трогательная наивность переходила в ребячливую, так сказать, открытость.

Именно эти модусы самовыражения пользовались наибольшим спросом у людей, хотя ни наивности, ни особой открытости Грым за ними не замечал. А вот сложносочиненное умствование неизбежно вызывало у них ассоциацию с плохо кормленным орком — как и доказывал его творческий успех.

Только орку могло прийти в голову пудрить мозги собеседнику, говоря сложно и замысловато — люди для этого изображали простоту. Когда с ними говорили сложно, они просто переставали слушать, как в снафе никто не слушал оркскую графиню, содрогавшуюся от толчков в тазовую кость.

Было непонятно, зачем CINEWS INC нужны услуги такого сценариста как он, если людям ничего не стоит превратить любой словесный огрызок в развернутую мысль какой угодно звучности и глубины.

Грым долго ломал по этому поводу голову и пришел к выводу, что дело было именно в самой оркской интенции, в корявом словесном зародыше, в особых брызгах яда, которые он мог из себя исторгнуть — поскольку люди на такое способны уже не были. Они могли что угодно, но только не это. Мало того, даже получив в своих лабораториях подобный зародыш, они никогда не стали бы сдвигать кубик текста по осям креативного доводчика так, как он. Он был не просто уникален, он был дважды уникален.

Поняв это, Грым успокоился — он почувствовал, что у него есть своя особая ниша в мире. А это, как он уже знал, и было самым главным для любого человека.

Он окончательно понял, что стал на Биг Бизе своим, когда заметил, как разогналось время.

Нельзя было сказать, что оно шло слишком быстро. Оно просто исчезало целыми календарными блоками. И как-то раз, после пропавшей в никуда недели, Грым догадался, что точно так же пропадет и вся остальная его жизнь.

Он вспомнил слова Алены-Либертины «живи здесь до самой смерти». Немного странное пожелание, если разобраться. Что, интересно, она имела в виду?

Грым загрузил зародыш своего недоумения и печали в креативный

доводчик, потыкал по направлениям «сердечней», «искренней» и еще субоси «сэллинджер», которая выскакивала на последних секторах задушевного форсажа. Что это за «сэллинджер», он даже смутно не знал, но в последнее время не стеснялся просто копировать все хитрости человеческого дизайна.

Вышло следующее:

«А если понимаешь, что между смертью и точкой, где ты сейчас, осталась только ровная как каток гладь времени, велика ли разница, сколько времени ты будешь по ней скользить? Секунда перед смертью будет такой же, как сейчас. Не произойдет ничего другого, только вновь подойдет вежливо улыбающийся официант и подаст чуть другой коктейль из напитков, от каждого из которых уже столько раз стошнило. Может быть, смерть и была той точкой, где ты понял это, согласился с приговором и поехал дальше?»

На взгляд Грыма, кубики получались все лучше и лучше, почти как у людей.

Вот только маниту отчего-то ставил ему все меньше очков. От этого на душе почти всегда было тоскливо, и Грым начинал понемногу понимать, что за сила толкала покойного Бернара-Анри вниз, в проклятые оркские земли.

Грым почти не говорил обо всех этих проблемах с Хлоей — они были ей непонятны. Зато она постоянно требовала от него «войти в местное общество», и он честно пробовал это сделать, посещая вместе с ней все вечеринки, куда приглашали общительную Хлою.

Обычно люди собирались в каком-нибудь большом помещении, где было темно, играла громкая музыка, и по лицам и стенам бегали разноцветные зигзаги света. Хлое очень нравилась эта головокружительная свежая темнота, прорезанная яркими вспышками и громовыми раскатами баса, а Грым никак не удавалось до конца в ней расслабиться — мешал, как он думал, боевой опыт, где громкое «бум-бум» имело другой смысл.

Некоторые люди, прячась по углам, тайно нюхали разные запретные порошки, и Хлоя тоже быстро к этому приистрастилась.

Порошки были запрещены не так, чтобы всерьез, а скорее, как объяснил один из людей, «для адреналиновой догонки», что было примерно понятно несмотря на незнакомые слова. Но Грым, один раз попробовав их смесь, чуть не сошел с ума. Ему представилось, что он до сих пор на Оркской Славе, и все происходящее — это просто новая хитрая атака людей, которые неведомым оружием поразили его мозг, и кончится все это, как всегда, ударом с воздуха, спрятаться от которого он уже не

сможет. Он молча трясся в углу всю ночь, пока Хлоя выплясывала в острых разноцветных огнях, — и покрыл себя, как она ему потом сообщила, вечным позором.

Зато на одной из вечеринок Грым познакомился с другим прижившимся среди людей орком, нетерпилой в изгнании по имени Хряп инн 1 540620677432. Среди людей он был более известен под псевдонимом Андрей-Андре Жид Тарковский. Это был лысый бородатый старичок с неуловимым взглядом.

После того, как умер легендарный Иван-Ив Гандон Карамазов, которому люди научились прощать пупафобию и брутальный национализм за необычайно фотогеничную фактуру, главным представителем оркской тайной совести при Биг Бизе стал именно он. Грым даже помнил его стих «Геккон на Церковной Спастике», за который тот был лишен урцкого гражданства:

Скажите, заросли конопли,
ответь, пятнистый геккон,
За что двадцатая часть земли
Должна вдыхать эту вонь?

Андрей-Андре не любил слова «сомелье» и называл себя писателем — так же, как и покойный Иван-Ив, которому он до сих пор желчно завидовал («оптовая торговля ебалом из революционного подполья — это, брат, жизнь и судьба...»).

Слово «писатель», как сперва понял Грым, означало такого сомелье, чьи кубики не берут ни в один снаф. Андрей-Андре поправил его, сказав, что писатель пишет не для современников, а для вечности. Грым поинтересовался, согласилась ли вечность содержать Андрея-Андре в качестве ответного жеста. Но тот добродушно объяснил, что его иногда цитируют в новостях — совершенно бесплатно, разумеется. Зато параллельно, и вне всякой связи со своей общественной позицией, он получает небольшой университетский велфэр. У него не было от Грыма секретов — для этого он был слишком стар.

— Смотри, малыш, — сказал он, — Ты орк. Тебя здесь держат для того, чтобы до людей, когда надо, доходил честный оркский голос. За это дают еду. Поэтому надо очень точно просекать, что и когда честный оркский голос должен говорить. А для этого надо постоянно смотреть все новости и снафы, в идеале — читать всех наводчиков ударной авиации в

переводе со старофранцузского. Прямо на спецсайтах, чтобы знать, куда ветер дует. Тогда сможешь взять небольшое упреждение и поразить всех свежестью взгляда.

— То есть что, надо постоянно врать? — спросил Грым.

Андрей-Андре отрицательно покачал головой.

— Ни в коем случае. Всегда резать правду-матку. Но по правильной траектории, а она здесь только одна, и чувствовать ее надо жопой. И чтоб все время в новостях, в новостях... Покойный Иван-Ив в этом смысле просто ас был, даром что церковноанглийского не знал. А не хочешь рисковать, есть путь проще. Повторяй их утренние заголовки. Только как бы от первого лица и из самого сердца. Можно со знаком плюс, можно со знаком минус. Это для них один хрен, мы все равно орки.

— А разве они не могут сами сказать, что говорить? Хотя бы примерно?

Андрей-Андре засмеялся.

— Объяснять, что говорить, тебе никто не будет, сам должен чувствовать. Тут, Грым, играют музыканты высокого класса. Много лет. И нужно от тебя только одно — чтобы твой честный голос не нарушил гармонию оркестра. Впишись в симфонию. Одна нота раз в месяц, и можешь бесплатно кушать на фуршетах всю жизнь. Но уж с этой единственной нотой, будь добр, не облажайся — сам должен понимать...

Он немного пожевал губами, поглядел на старческую пигментацию на своих ладонях, и грустно добавил:

— Вообще-то ихний smart free speech не для слабых умов. Столько разной херни надо помнить за триста маниту и бесплатный бургер... Знаешь, как тут дискурсмонгеры кормятся? Случается, допустим, какое событие. И все они должны по-очереди высказаться. Причем высказаться остро и смело, чтоб про них вспомнили и грант продлили. И все по очереди говорят, а остальные слушают и фильтруют — нет ли чего некорректного?

И если кто оговорится с голодухи, сразу все налетают, и давай ему печень клевать. Даже смотреть страшно. Был бы моложе — сбежал бы вниз на заработки... Впрочем, нет, вру. Я как нижние журналы почитаю, какой-нибудь там «Урел» или «Сарынь», спать потом не могу. Революция, конечно, дело хорошее, сам полжизни отдал, но не дай Маниту вожжи не удержим... Такая гнида попрет из-под спуда...

— А вы верите в революцию?

Андрей-Андре посмотрел на него мутным стариковским взглядом.

— Ты, сынок, на камеру этого только не скажи, но для себя запомни — все без исключения революции в нашем уркистане кончаются кровью,

говном и рабством. Из века в век меняется только пропорция. А свобода длится ровно столько, чтобы успеть собрать чемодан. Если есть куда ехать.

Андрей-Андре был добродушный и откровенный орк — и отнесся к Грыму как к родному сыну. Он легко делился секретами профессионального мастерства.

— Надо сразу понять — продать тут можно только снаф и дерпантин. Дерпантинom будешь торговать, когда станешь старенький. А пока молодой и красивый, продавать надо снаф.

— Это как? — не понял Грым.

— Надо изобразить, как молодая поросль жизни, сломав асфальт социального гнета, сплетается над его обломками в буйном танце любви, причем надо показать, в чем особенность танца любви именно этого конкретного поколения. А потом надо зарисовать, как каток репрессивного угнетения ломает молодую поросль жизни, накатывая поверх нее новый асфальт. Но здесь надо не просто щебетать от балды, а сверяться с новостями и дискурсмонгерами — чтобы асфальт был тот самый, который в новостях показали... Тогда дадут немного еды. Хочешь, вместе сделаем?

Он говорил много интересного. Еще он постоянно обещал подарить экземпляр своих неизданных мемуаров, названных по мотивам какого-то древнего фильма «Джамбул при МИ-666» — с явным намеком на верность святой оркской правде несмотря ни на что. К несчастью, он быстро напивался, и беседовать с ним можно было только несколько минут. В остальное время Грым скучал где-нибудь в углу, ожидая, когда Хлоя утанцуется и можно будет ехать домой.

Ему не нравилось на парти.

Причем он даже не мог сформулировать, что именно — пока не помог креативный доводчик, в котором Грым однажды долго гонял кубик текста, начавшийся со слов «цирк партийных гадов». Получилось в результате вот что:

«Парти — это замаскированный социальный ринг, микроколизей, куда люди приходят как бы отдохнуть и расслабиться, на деле же каждый прячет под одеждой гладиаторское снаряжение. Всякий приносит с собой свои смутные расчеты и весь вечер танцует под их дудку, а вовсе не под «другой барабан», как старательно объясняет в разговоре. И вот, после тысячи как бы случайных движений в причудливо освещенном аквариуме эти пестрые гады оказываются сплетены друг с другом строго надлежащим для взаимного поедания и осеменения образом. То, что выглядит для наивного наблюдателя увеселением, является на деле ни на миг не прекращающейся борьбой за существование, смешанной с социальным ритуалом».

Хлоя чувствовала себя на этих вечеринках как дома. Обычно она надевала туда совершенно дикий, по мнению Грыма, наряд — какую-нибудь блузку из перьев или платье с большими матерчатыми цветами, похожими на злокачественные наросты. Но людям это нравилось, хотя сами они одевались не так элегантно. У Хлои появилось много друзей, с которыми она целыми днями щебетала по звуковой связи, одновременно подбирая новый наряд на маниту.

Она все чаще уходила на такие вечеринки одна.

А потом она ушла совсем.

Произошло это просто и буднично, и не стало для Грыма ударом — между ними уже давно возникло не очень дружелюбное отчуждение. Грым даже поразился, насколько он был к такому готов.

Хлоя переехала к одному молодому снаф-директору, который ни капли не возражал против ее дружбы с Аленой-Либертиной и обещал ей роль. Хлоя давно о таком мечтала.

Она поступила даже широко: с юридической точки зрения бывшее жилище Бернара-Анри принадлежало ей — но пока что она оставила его Грымму. Теперь в ее новых окнах был вид на весенний Париж. Грым, конечно, не мог ей предложить ничего подобного.

Хлоя прислала ему два или три письма — они были холодными и неискренними, или так просто казалось, потому что она писала без креативного доводчика. Грым не ответил. Не из-за обиды, а просто нечего было сказать.

В это время в его жизни произошло одно событие, внешне малозначительное, но странно сбившее все социальные настройки в его голове.

Он сделал себе визитные карточки.

На Биг Бизе в них, конечно, не было никакой необходимости. Теоретически они могли понадобиться в том маловероятном случае, если он отправится в Оркланд по делам. Но на самом деле они были нужны совсем для другого.

Он сам придумал их дизайн и текст. Вернее, не придумал, а воспроизвел — с той самой карточки, которая столько лет висела над его столом в Славе.

Распечатав упаковку, он приклеил сладко пахнущую карточку на верхнюю рамку маниту, чтобы она оказалась примерно там, где была когда-то визитка дедушки Морда. Потом он опустил глаза, выждал несколько секунд — и резко вскинул голову.

Перед ним белел прямоугольник бумаги, где простым строгим

шрифтом было набрано:

Грым инн 1 35050014841 0
Content Sommelier at Discourse
Big Byz 093458731-4091

Это было удостоверение победы.

Грым получил его в очень юном возрасте, еще до двадцати — когда у большинства уцелевших в Цирке орков только завязывалась жизнь и судьба. Но он не чувствовал ничего. Как, наверно, ничего уже не чувствовал по поводу своих карточек покойный дедушка Морд.

Да, внизу было много орков, которые испытали бы мучительную зависть при виде этой белой визитки. Но Грым безразличны были их чувства, потому что он перестал понимать, каким образом оркская зависть может трансформироваться в его счастье.

С людьми обстояло не лучше. С каждым днем делалось все яснее, что для того, кто редко ходит на парти, человеческое признание мало отличается от петушиного крика за окном или далекого хрюканья свиньи — особенно в тех случаях, когда эти звуки имеют синтетическую природу.

Такая награда была ему ни к чему. А другие награды в мире отсутствовали — кроме, конечно, денег. Но маниту, если разобраться, все равно не было ни у кого, кроме тех, кто их печатал. Остальным их только давали иногда поддержать — чтобы убедить, что они бывают, и заставить работать дальше. Впрочем, интересоваться этим вопросом глубже отсоветовал Дамилола — тут начиналась зыбкая трясина hate crime.

Грым и так ходил по самому ее краю, а иногда и заступал за него. Один раз он даже оплевал демократуру, чего, по словам Дамилолы, в либератавном обществе делать не следовало никогда.

В новом снафе антидемократурный пассаж достался врагу прогрессивных реформ — злобному орку-фермеру, который шипел на свою половую подругу, размахивая трезубцем и сетью:

— Демократура имела смысл как волеизъявление людей, которые, выражаясь сельскохозяйственно, были «free range organic fed»^[26] — и поэтому в те дни еще можно было употреблять слово «freedom». Каждый накапливал по капле мудрость и опыт — и сумма таких волей давала лучшую в мире форму правления, которая была *органической*. А сейчас она стала *орканической*. Сегодня демократура — продукт волеизъявления червей, живущих в железных сотах. Они соединены со вселенной исключительно через трубу информационного терминала, прокачивающего

сквозь их мозги поток ментальных химикатов, удобрений и модификаторов, производимых политехнологами. В чем выбор? Какая разница, кто из допущенных до гонки тараканов придет первым, если всех их вынимают из одной и той же банки? Не все ли равно, рыжий или белый презерва... то есть, простите, презиратор будет надет на то, о чем у вас не принято говорить?

Дамилола посоветовал Грыму прекратить такие шутки — из нападок на демократуру старшие сомелье могли сделать вывод, что он за уркаганат.

— За установление демократуры у орков отдали жизнь лучшие порноактеры Биг Виза, — сказал он сухо. — Если ты живешь в нашем обществе, тебе следует уважать их память. И не пользуйся словом «политтехнолог», здесь его никто не понимает. Нельзя же в снафах каждый раз давать сноску — «электоральный сомелье в обществе без выборов».

Грым и сам понимал, как глупо он выглядит со своими откровениями. И было понятно, как надо себя вести — тут все очень точно объяснил старый Андрей-Андре.

Вот только стоило ли притворяться?

Он впервые задумался об этом, заметив, чем стала Тоскана за окном от долгого трения о его взгляд. Одна за другой в ней прорезались детали, подрывающие всякое доверие к пейзажу.

Во-первых, каждые несколько часов над далекими горами проходило облако одной и той же формы, похожее на профиль покойного дядюшки Хоря. Во-вторых, крылья ветряной мельницы всегда крутились с одинаковой скоростью. В-третьих, раздражала полоса дыма из трубы белого дома на холме — она все время менялась, но ее изменения через небольшое время повторялись в той же самой последовательности.

Грым окончательно понял смысл выражения «жизненный тупик», когда заметил, что уже третий вечер пьет вместе с небритым Дамилолой в его пустой и сразу как бы заплесневевшей квартире. Сперва он жаловался Дамилоле на тоску, потом зачем-то рассказал про дедушку Морда и показал свою новую визитку. Дамилола несколько секунд с интересом ее разглядывал, а потом бросил под стол.

— Наплюй, — сказал он. — Ты просто молодой еще. А в юности у всех жизненный кризис и полная беспросветность. Все кончено, стремиться не к чему... Ха-ха-ха... В восемнадцать лет человек чувствуют себя на восемьдесят, зато в восемьдесят — на двенадцать. Если не на четыре. У тебя просто стресс из-за Хлои, Грым. Стресс и гормональный токсикоз.

— А что делать? — заплетающимся языком спросил Грым.

— Я тебе скажу. Пойди в ГУЛАГ, в пункт проката. Найди суру, похожую на Хлою. Можешь даже временное лицо ей заказать по фотографии, если маниту не жалко. Арендуй на выходные. Включи режим «Дездемона», поболтай с ней о снахах, о культуре там, музыке. А потом задуши. Медленно, с чувством. Чтоб обоссалась. Сделай ресет и повтори. И так раз пять, пока в подкорке не отложится. Только клеенку постели. Проснешься другим человеком. Попробуй, серьезно... Пять раз не пупарас.

Грым, конечно, не собирался следовать советам Дамилолы. Но в его обществе было лучше, чем одному. Хотя тоже мрачновато.

«Два брошенных неудачника...»

Никто не произнес этих слов, но они словно бы витали в воздухе.

Не помогали даже рассказы маниту об очередных беспорядках в Оркланде. Как и следовало ожидать, новый каган был не лучше прежних и ростки демократуры вновь оказались фарсом. Андрей-Андре в новостях призывал помочь революции, и окраины Славы уже понемногу начинали бомбить — скорее по традиции, чем с каким-то конкретным расчетом.

Дамилола, впрочем, был рад. После отпуска, в который он ушел с горя, обещало быть много работы, а там и следующая война. Покупка новой Каи из области прожектерства постепенно перемещалась в зону трезвого бюджетного планирования.

— Года два посижу на дерпантине, — сказал он. — А там возьму кредит и куплю. Говорят, скоро оркам много денег напечатают, и можно будет перекредитоваться под старый залог. Но с новой сурой все будет строго на гарантии... Хотя... Вряд ли выдержу, вряд ли...

Грым слушал его, глядя в окно.

Похоже, Дамилола был настроен серьезно — после исчезновения Каи он экономил на всем. Он даже переехал из дорогого Неаполя в дешевый Нью-Йорк, и теперь за его окном постоянно была ночь, видная из окна старинного «небоскреба».

Так назывались здания, в которых люди жили в эпоху Древних Фильмов — они напоминали невероятно высокие скалы, усеянные яркими точками окон. Вид был завораживающим и жутким. Грымму он скорее нравился, но Дамилола объяснил, что это один из древних ужасов, сохраненных людской памятью. Застройки из таких бетонных скал старились гораздо быстрее, чем традиционные плоские города. Скопища небоскребов буквально за две-три сотни лет превращались из символа будущего в напоминание о мрачном прошлом.

— Я хочу, чтобы внешнее отвечало тому, что у меня внутри, — сказал Дамилола. — Пойду на поправку, сменю вид. А пока...

Грым подумал, что люди в небоскребах жили почти как в толще Биг Виза — в боксах друг над другом, на много уровней вниз и вверх. Только вместо улиц теперь были туннели. И еще у жилищ исчезло всякое «снаружи» — осталось только «внутри».

Эту мысль можно было покрутить на доводчике, и сомелье наверняка вставили бы ее в рот какому-нибудь оркскому герою из нового снафа. Но Грым даже поленился ее записать.

Сидя дома перед маниту, он все чаще позволял панели угаснуть от бездействия. Тогда в ее черном зеркале появлялось его лицо и часть комнаты за спиной. Отражалось окно — и зеркальная Тоскана за ним теряла значительную часть своего правдоподобия. Настоящие окна — там, внизу, — отражались иначе.

«Ну вот, — думал он, — похоже, до смерти я уже дожил. Посмотрим, есть ли что-нибудь дальше...»

Этот зародыш тоже можно было развернуть во что-то красивое и сложное, но загружать его в креативный доводчик Грым не стал. Последней его фразой, принятой в снафы, оказалась такая:

«Все ваши культурные сомелье — просто пидарасы на службе мирового правительства. А ваши женщины... Раньше я считал, что они проститутки. А теперь понял, что они на самом деле резиновые. В плохом смысле».

С этим отрывком произошли две странности.

Во-первых, обрабатывая его на доводчике, Грым не добавил к нему ни одной из предложенных программой виньеток.

Во-вторых, в снафе этот текст почему-то зачитал не орк, а человек, приводивший примеры криминальной hate speech.



Мои последние прозрения во мглистую душу юного орка наполовину были уже игрой воображения. А теперь я не смогу развлекать ими читателя совсем. Но рассказать мне остается немного.

Слова «до смерти я уже дожил» были последним, что мне запомнилось из его болтовни во время наших пьянок — просто потому, что они звучали на редкость нелепо из уст такого молодого и полного сил существа. И, тем не менее, они были вполне точны — насколько я мог судить по его

исповедям. Я слушал его не очень внимательно, поскольку пьянел намного быстрее, чем этот мускулистый звереныш. Кроме того, мои мысли были заняты другим.

Каю нигде не могли найти. И никто не был в силах мне помочь. Никто, впрочем, особо и не пытался. Добрейший консультант-суролог сослался на нарушение гарантии — и высказал предположение, что Кая самоуничтожилась в центральном мусорорасщепителе. Такие случаи действительно бывали, и для фирмы-производителя это было самой удобной отмазкой. Мне предложили серьезную скидку на новую суру такого же класса. Все детали физического облика могли быть воспроизведены в точности — но это не была бы Кая. Я обещал подумать.

Вскоре стало ясно, что перспектив у Грыма в нашей культуре никаких. С ним произошли две имиджевых катастрофы подряд, и обе были связаны с нелепыми цитатами из Бернара-Анри, который словно мстил обидчику из могилы. Сначала Грыма пригласили на передачу «Общественное Мнение», и там он заявил, что в современном мире нет никакого общественного мнения, а есть только облепленный роем голодных сомелье финансовый ресурс, который сам себя показывает по маниту. Бернар-Анри не зря написал это на старофранцузском, а наш волчонок подумал, что можно повторить это вслух.

Когда через пару дней ему дали шанс реабилитировать себя и объяснить, он сказал людям из комитета по встрече, что вообще не хочет больше ходить на передачи. Ему стали втолковывать, что не в его интересах становиться бирюком и нелюдем, а он ответил еще одной цитатой из покойного — мол «угрюмым затворником», «нелюдем», «бирюком» и «кокеткой» в наше время называют человека, который не хочет бесплатно трахать свинью перед телекамерой. А если не хочет даже за деньги, тогда говорят — «пытается окружить себя ореолом загадочности...»

Я попытался ему объяснить, что сам Бернар-Анри бирюком и затворником никогда не был, и ореолом себя не окружал — совсем напротив, просто купался в маниту во всех смыслах. Так что ему, оркскому несмышленишу, тем более надо стараться изо всех сил. Но у Грыма, похоже, началась депрессия.

Меня удивлял странный синхронизм наших судеб. Мы оба оказались в вынужденном одиночестве и тут же столкнулись с финансовыми трудностями. Конечно, обратная последовательность событий выглядела бы логичнее, но эфемерно-романтические девушки ангельского вида чувствуют приближение бедности не хуже крыс, покидающих нажитые места перед катастрофой.

Не обошлось и без смешного. Грым уже считал себя полноправным контент-сомелье, упруго вписавшимся во все выражи нового мира. До него дошло, что это, возможно, не совсем так, лишь когда ему отключили горячую воду.

Помню, как он пришел поделиться своим странным открытием. Он, лапочка, заметил интересную связь между тем, что цифры в правом углу его маниту покраснели и дополнились минусом, а вода в кране стала холодной. Вот только он, кажется, еще не понимал, где здесь причина и где следствие. Я зашел к нему в гости (интересно, что после ухода Хлои квартира покойного Бернара-Анри сразу перестала напоминать оркский свинарник) и залез в его бухгалтерию.

Оказалось, что аванс, щедро выписанный ему Домом Маниту после прибытия, уже кончился. Растрочен был и грант CINEWS INC, выплаченный после его памятного появления в развлекательном блоке. Почти все спустила Хлоя на какие-то ювелирные изделия, которых Грым, как он клятвенно меня заверил, даже не видел в глаза.

Самое интересное, что из бухгалтерии следовало: Грым уже научился зарабатывать сам, и у него неплохо получалось, особенно в начале творческого пути.

Но он, бедняжка, неправильно понял свое место в нашей культуре. Вместо помпезных, дышащих варварской замысловатостью оркских фразочек, которые так нужны в снафах, он постепенно стал поставлять старшим сомелье свои подростковые фантазии о жизни, обтесанные на креативном доводчике во вполне человеческой (чтобы не добавить — лузерской) манере. Естественно, что ему насчитывали за это все меньше и меньше маниту — хотя старый Андрей-Андре с редким для конкурента благородством объяснил, как орку следует кормиться среди людей, если он серьезно настроен на выживание.

Кончилось как всегда — отключили горячую воду.

Несколько дней чистоплотное дитя нижних равнин стучалось ко мне в дверь с трогательным полотенцем в руках, и мне пришлось в конце концов объяснить ему, что дом боевого пилота CINEWS INC — не оркская баня. После этого он, видимо, стал мыться холодной водой, и наши совместные пьянки сошли на нет. Но мы продолжали общаться, и вскоре он сказал мне, что нашел работу внизу.

Я согласился, что это для него лучший выход, поскольку Хлоя со временем собиралась продать дом Бернара-Анри, и в любом случае со своими зыбкими заработками он уже не мог жить со мной по соседству. У него было два выхода — переехать в трехметровую комнату-шкаф,

похожую на увеличенную копию моего сортира (унитаз с душем, машина для кофе, маниту во всю стенку и круглосуточный вид на ночной Манхэттэн), или найти рискованную работу среди орков, которая позволила бы ему хоть что-то подкопить. Он выбрал второе — и правильно, потому что вверху его конкурентами была армия на все готовых контент-сомелье, владевших доводчиком и словарем культурных кодов намного лучше, чем он. А внизу он был как рыба в говне.

Да и визитные карточкигодились бы.

Во время нашей последней встречи Грым был удивительно сосредоточен и спокоен — и я впервые заметил, что внешне в нем не осталось ничего от орка. Он выглядел в точности как положено лузеру, сублимирующему неудовлетворенное половое влечение в низкобюджетный романтический драматизм — весь в черном, с челкой до глаз, зигзагом, выстриженным на затылке, и крохотными металлическими черепами на левом рукаве — все по последней молодежно-протестной моде (бедняга, правда, еще не понял, что так у нас обычно одеваются те, кому хорошо за сорок, когда хотят выглядеть лет на тридцать с небольшим, чтобы консентно ювеналить тех, кому чуть за двадцать). Но ему шло.

Спустится вниз, подумал я, найдет себе новую оркскую девку. Вот только вверх ее с ним уже не пустят. Ничего, в крайнем случае заполирует череп на память. Наверно, у жилья Бернара-Анри такая карма. Так, кажется, называла этот эффект моя беглая любовь...

Узнав, какую работу он себе нашел, я сперва удивился. Ну, я понял бы, если бы он до такого дошел лет через пять, но сразу... Зато стало ясно, против чего он так элегантно протестует.

Он, оказывается, решил стать скупщиком младенцев.

Нам такие нужны. И лучше всего — из бывших орков. Собственное деторождение у нас не поощряется по евгеническим причинам — правило «don't look — don't see» при всем желании трудно распространить на беременность и роды, которые по закону легальны только после сорока шести. Высокий «возраст согласия», навязанный обществу, ведет к появлению хилого потомства. Поэтому, чтобы дети были легальными и здоровыми, их предпочитают усыновлять в Оркланде. Для нас это лучше, ибо обеспечивает постоянный приток свежей крови в наш плавильный шар — хотя, конечно, никто не решится говорить про «свежую кровь» публично.

Работа это простая — нужно отбирать детишек по геному, что делает специальный переносной маниту по крохотной капельке крови. Каждый год требуются разные генетические комбинации — в зависимости от

социального планирования и пожеланий усыновителей. Скупщикам сложно сразу найти нужный материал — бывает, приходится подолгу мотаться по дальним оркским деревушкам. В общем, работа типа коммивояжера, что как раз подходило к бунтарскому имиджу моего дружка. Купил, вызвал платформу, загрузил, застирал подол и пошел дальше, отмахивая черепами на рукаве.

Грым попросил меня поливать цветы, пока его не будет — и я согласился. Но позабыл об этой просьбе, как только он отбыл вниз. Позабыл просто потому, что у меня самого чуть не отключили горячую воду и меня спас только еще один крохотный кредитик под залог «Хеннелоры» (как шутят коллеги, суру покупаешь в залог телекамеры, телекамеру в залог суры, а платят за все орки, которым печатают по весне пять тонн свежего зеленого маниту).

Я не зря говорил, что между нашими судьбами была странная связь. У меня не было повода потешаться над Грымом — моя лапочка успела так же хитро потратить все мои деньги, как его Хлоя, чем окончательно доказала, что сура не уступит живой женщине ни в чем. И мне пришлось унизиться до низкооплачиваемой поденщины.

Теперь я почти каждую ночь вылетал на своей «Хеннелоре», чтобы пускать салют над верхней полусферой — там, где все время царит сдержанный праздник, а полеты телекамер запрещены. Туда пускают работать только полностью проверенных пилотов, а их не так много — так что заказы были.

Особенно часто они приходили по линии ГУЛАГА — от Давида-Голиафа Арафата Цукербергера. Несмотря на всю глуми-солидарность, назвать эту работу высокооплачиваемой было сложно, особенно с учетом моих проблем, и я впервые в жизни почувствовал всю тяжесть оркской идиомы «сосать за еду». Не хочу острить на тему ГУЛАГа, как предлагает креативный доводчик, тем более что все понятно и так.

Зато я имел редкую возможность рассмотреть жилище Давида-Голиафа. Это была копия капрейского дома императора Тиберия, жившего в одно время с Маниту Христом.

Вилла располагалась чуть выше экватора Биг Биза. Это был изукрашенный статуями и орлами мраморный дворец, утопающий в самых настоящих садах. Прямо под его стенами начинался обрыв — все как на далеком острове Капри. Вдоль обрыва проходила длинная дорожка для прогулок, по которой гулял Давид-Голиаф в компании своих суров и прихлебателей. Но впечатление на меня произвела даже не эта многомиллиардная открытая дорожка, обсаженная живыми розовыми

кустами, а его знаменитые «венерины уголки».

Это были мраморные беседки среди зелени, в каждой из которых двое-трое суров в его вкусе имитировали любовную оргию двадцать четыре часа в сутки, ожидая, что увитый розами Давид-Голиаф случайно забредет сюда во время одной из своих прогулок. Я имел несчастье увидеть все это своими глазами — но задумался, признаться, не об эстетической стороне происходящего. Любой такой сур — любой! — стоил столько, сколько моя Кая.

А рядом жил кто-то еще богаче. У него было в два раза больше земли. И своя река. Я не шучу — своя река, текущая через старательно неухоженный сад. Она кончалась водопадом, который падал в стальной водозаборник, скрытый в кустах. И все это было настоящим и живым, защищенным от высотного холода невидимым экраном. Я, кстати, до сих пор не могу понять, как такие экраны пропускают окурки сигар и винные пробки (о чем мне регулярно сообщал радар на боевом маниту), но удерживают воздух.

Конечно, не раз и не два я задумался об экономических основах такого преуспевания.

Вся верхняя поверхность офшара, похожая на огромную зеленую гору с редкими пятнышками внешних вилл, принадлежит или старым порноактерам (с ними все ясно), или ребятам из Резерва Маниту. Тем, кто печатает деньги для нас и Оркланда. Выражение «печатать деньги», конечно, имеет смысл только применительно к оркам, среди которых действительно ходят голографические бумажки. А на Биг Бизе маниту не имеют никакой осязаемой материальности — так, цифры на маниту.

И мне, человеку от экономики далекому, до сих пор непонятно, как эти неустановленные люди ухитряются производить нечто совершенно нематериальное и неосязаемое — и с его помощью цепко держать за яйца весь большой материальный мир, в реальности которого они строго-настрого запрещают нам сомневаться через своих сомелье. Видно, не зря слова «Маниту» и «маниту» различаются лишь заглавным написанием единственной буквы.

Но от дороги, ведущей в темную бездну hate crime, меня спасло одно своевременное наблюдение. Однажды я увидел на прогулочной дорожке Давида-Голиафа — он был в легкой тоге, и шел в обнимку с двумя страшными мальчиками вроде того, что я видел на открытии мемориала Трыга.

Работая на подобных заказах, нельзя включать съемочную аппаратуру. Но при запуске фейерверков используется та же система, что и при пуске

ракет. Надо взять в прицел точку, где находится заказчик, нажать на спуск, и больше можно ни о чем не заботиться: в каждом фейерверке есть чип, который так просчитает траекторию полета и момент разрыва, чтобы вид был оптимальным.

Так вот, наводясь на прогулочную дорожку, я увидел прямо в перекрестье сильно увеличенную голову Давида-Голиафа. И заметил в его ушах затычки, а на лице — очень мрачную гримасу. Я на секунду включил внешние микрофоны — и все понял. Вокруг грохотала музыка с партии, которую устраивал его сосед-порноактер, живущий в зеленом раю за искусственным водопадом. И попечитель Резерва Маниту — сам великий Арафат Цукербергер, — ничего не мог поделать с пидарасами, окопавшимися за рекой и включившими музыкальную установку. Вот так мировое правительство само кусает себя за хвост ядовитыми зубами — если, конечно, верить оркским гадательным книгам.

Им я верил не особо. Но трудно было не вспомнить слова Каи про коридор мучений. Выходило, что по нему брел не только ничтожный я, но и августейший Давид-Голиаф: вот так проходит земная слава из пункта «А» в пункт «Б». Наверно, уже не земная, а воздушная — но разницы, как видим, нет. Чего уж тут нервничать по поводу мелких предпочтений.

В свободное время я пытался понять, куда и как Кая успела спустить мои деньги. Это было не так просто — но в конце концов удалось.

Кае оказалось достаточно всего один раз получить доступ к контрольному маниту. Это произошло, судя по датам, в тот самый день, когда началась война — и я последний раз хотел поменять ее настройки. Видимо, стресс был слишком сильным, и перед вылетом я забыл выйти из системы. Пока я сражался в небе, она заскочила в комнату счастья и скопировала все мои пароли и цифровые подписи.

С тех пор она получила возможность тратить мои маниту. Сто семьдесят пять тысяч, которые она у меня выпросила, были нужны ей только для отвода глаз — чтобы у меня не возникало вопросов, на какие шиши она делает заказы. И она пустила мои последние средства на нечто совершенно непонятное. Она купила...

Там был целый список.

Несколько больших рулонов синтетической ткани.

Вроде той, что оркские кочевые пастухи используют для своих юрт, и тех же цветов — серого и черного. Собралась разводить коров? Еще — пару крупноячеистых рыболовных сетей, причем самых дорогих, сделанных из практически невесомой сверхпрочной нити. Собралась ловить крокодилов? Еще — уйму строительной мелочи и инструмента:

пластиковые панели, крепеж, несколько видов сборочной пасты и так далее. Полное перечисление занимало два экрана — в числе прочего там были водолазные акваланги-респираторы, газовые горелки и альпинистские часы. В общем, дикий набор.

Может быть, ей нужно было что-то одно, а все остальное она купила для отвода глаз, пытаясь заставить меня думать про коров и крокодилов?

Она оплатила все это по какой-то сложной рассрочке, так, что счета пришли с большой задержкой. Лапочка, видно, решила не огорчать меня раньше времени, и не зря. Но теперь, с квитанциями, мне было значительно проще.

Я вбил коды в маниту и стал шарить по базам данных. И довольно быстро все обнаружил. Заказы были отправлены на адрес транспортного терминала в Желтой Зоне. Была внесена двухгодовая плата за хранение — по совершенно безумным тарифам. Я связался с терминалом и получил короткий ответ: «Получено адресатом». Адресатом была оркская женщина по имени Хама инн 1 505209043 127. Она также востребовала неизрасходованную плату за хранение и получила ее наличными.

Кая была внизу.

И деньги у нее тоже имелись — куда больше, чем у папочки. Не потому, что у нее их было так уж много. Просто у папочки их теперь не было совсем. Вся эта операция оказалась для нее очень простой — купить Свидетельство Славы (оркскую карточку-аусвайс) можно в Уркаине на каждом углу. На любое имя и номер (можно даже инн переколоть, были бы маниту).

А дальше ее следы терялись.

Сперва надо было понять, как она спустилась вниз.

Я проверил, совпадал ли по времени ее побег с какими-нибудь экскурсиями в Оркланд, и обнаружил два выезда в Цирк, оба — с заездом в Желтую Зону. Экскурсантов на таких маршрутах пересчитывают сканером по вшитой биометрике, это происходит автоматически при загрузке в трейлер. Контрольная аппаратура реагирует только на людей — пылесос или соковыжималку можно пронести под мышкой. Моя лапочка, значит, подмигнула сканеру, как сестра брату, прошла мимо и села на свободное место. Никто ничего не заметил. Теперь невозможно было даже выяснить, с какой из экскурсий она отправилась в Желтую Зону.

Она осталась внизу, но найти ее было невозможно.

После этого горестного открытия я пьянствовал два дня. Значительная часть выпитого покинула мой организм в виде слез. Мне представлялась моя душечка, сидящая в конспиративном платке где-то на оркском базаре, с

трогательным чемоданчиком, где хранится весь ее нехитрый девичий скарб — три сменных письки, гель «ярость Афродиты» и засаленная пачка уведенных с моего счета маниту.

Но зачем ей стройматериалы для юрт? Что она, собралась к оркским скотоводам? Или хочет шить оркские распашонки, освещая газом подвальную мастерскую? Бред. Полный бред.

И только на третий день мой пьяный мозг наконец связал два факта: Кая внизу и Грым внизу. До этого мне, видимо, казалось, будто они спустились в два разных Оркланда — или я думал о них разными полушариями. Мне даже в голову не пришло, что они могли назначить встречу.

Но как только я осознал такую возможность, предположение превратилось в мрачную уверенность. И я вспомнил, что Грым просил меня полить цветы — а я этого так ни разу и не сделал.

Оказавшись в квартире Бернара-Анри (я так и не приучил себя считать ее оркским притоном), я первым делом кинулся за маниту. Доверчивый Грым не защитил его паролем. Я залез в почту. Она была полна псама от ювелирных и косметических фирм, который продолжала притягивать Хлоя после своего ухода — словно угасшая звезда, все еще манящая мечтателей своим светом.

Корреспонденции было много, а я даже не знал, что следует искать. По счастью, я догадался заглянуть в отправленные Грымом письма — и увидел, что он ответил на одно из рекламных посланий.

Это было странно даже для орка. Открыв письмо, я внимательно его изучил.

И понял, как развивались события.

Примерно через месяц после ухода Хлои Грым получил письмо от Сжигателей Пленки. Или, во всяком случае, послание, очень похожее на такое письмо. Может быть, они приходили и раньше — но это было первое, которое он сумел прочесть. Оно гласило:

Грым понравится новый маниту!

Наверно, приложенная к письму картинка показалась Грымму странной — никакого маниту на ней не было. Там была стоящая на лужайке девушка в желтом платье. В одной руке она держала горящий клочок прозрачного пластика, в другой — табличку со словами:

ОТКРОЙ РЕДАКТОРОМ!

Этой надписи не понял я сам — пришлось лезть в экранный словарь. Оказалось, слово «редактор» означало не только человека, исправляющего чужую работу. Было еще одно значение: программа маниту, работающая с текстом. Креативный доводчик тоже входил в этот класс приложений, но открыть картинку им мне не удалось.

В маниту Грыма были и другие текст-редакторы. Сам он пользовался старой оркской программой «Пісмуй!», и я повторил попытку с ее помощью. Маниту спросил, уверен ли я, что хочу сделать именно это. Я подтвердил.

В следующий момент картинка открылась как текст, и передо мной возникло сложное нагромождение символов. Там были обычные буквы. Были церковноанглийские и верхне-среднесибирские. Были такие, которых я вообще никогда не видел. Но больше всего оказалось странных значков — в Древних Фильмах такие рисовали на доске мелом сумасшедшие ученые, собираясь направить на человечество луч смерти.

Значков и букв было очень много. Я терпеливо просмотрел несколько страниц — и вдруг увидел в просвете слово «грым».

Продравшись через лес непонятных закорючек, я в конце концов получил следующий текст:

*грым — маниту читает все письма — так маниту не видит
— если прочел ответ — маниту мне не нужен*

Думаю, что Грым по оркской привычке испугался и решил схитрить. Вместо того, чтобы написать страшные слова «маниту не нужен», он послал немного другой ответ:

*Спасибо за ваше письмо.
Видит Маниту — в настоящий момент меня вполне
устраивает тот Маниту, который у меня есть. Новый мне не
нужен.*

Наверно, оркский воин специально написал «Маниту» с большой буквы, чтобы нельзя было обвинить его в богохульстве. Одновременно он намекал неведомому собеседнику, что опасается за тайну переписки. А если бы его призвали к ответу, он смог бы сказать, что по наивной неопытности ответил на коммерческую рассылку...

Бедняга так и не понял, что мир вокруг живет совсем по другим законам, жестким и простым, и в случае чего эти глупые оркские хитрости не помогут ему ни капли.

Следующее письмо на его имя пришло через два дня.

В этот раз у него вообще не было никаких внешних признаков послания от Сжигателей Пленки — кроме того же самого обратного адреса. Это была типичная бродячая реклама со словами «бешеные скидки на экстравагантный вид за окном». Приложенная фотография черной вулканической равнины в потоках багровой лавы изображала, должно быть, тот самый вид — так что сразу стало ясно, почему на него бешеные скидки. Предложение действительно было выгодным. Если совсем прижмет, подумал я, перееду туда из Нью-Йорка.

Я открыл картинку программой-редактором, как и в прошлый раз, и после кропотливого просеивания многостраничного шифра выцедил следующее:

*грым — выход есть — ты сможешь — все в следующем
письме — кая*

После слова «кая» в строке было черное сердечко. Такие, впрочем, встречались в мешанине знаков довольно часто.

Черное сердечко. Черное сердечко. Лучше не придумать.

Письмо с окончательными инструкциями пришло через три дня после второго. Видимо, его было велено уничтожить, а потом очистить корзину — что Грым и сделал. Сохранился только его ответ — он состоял из двух слов: «Все понял». Адрес был обычной однодневной баракадаброй, которой пользуются рассыльщики псама — я даже не стал проверять его по базе.

Мне не нужны были никакие адреса. Если моя догадка была верна — а в этом я не сомневался, — мне следовало найти Грыма, чтобы вновь увидеть свою душечку. А найти Грыма было проще простого.

Дело в том, что скупка младенцев — это довольно рискованный бизнес, для которого не так просто найти волонтеров. Иногда скупщиков прикрывают с неба, и в этом случае из их заработка делают вычет. Летчики моего класса, конечно, не опускаются до подобного промысла — так не окупишь даже снарядов к пушке. Но в военном реестре можно найти контактные сигнатуры всех скупщиков, работающих в Оркланде. Их опыляют специальными метками, чтобы в случае чего быстро найти с высоты.

Как жалко, что никто не догадался пометить подобным образом Каю. Но сур вообще запрещено вывозить в Оркланд из-за батарейки. То, что они могут поехать туда сами, видимо, не пришло производителю в голову...

Атомная батарейка все же могла мне помочь. Для каких-то технических нужд у нее имелся электронный паспорт — сигнал, различимый в радиусе ста метров. На этом расстоянии мои приборы должны были ее засечь. Но разыскивать Каю в оркском болоте по этому тишайшему писку было все равно что искать счастья в стоге сена. Я имею в виду, в одиночестве.

Следовало найти Грыма.

Я дал себе день на то, чтобы протрезветь, загрузил его данные в «Хеннелору» и хмурым оркским утром вылетел на поиск. Я говорю «хмурым оркским утром», потому что наши усилили маскировочную тучу, и день в оркской столице выдался довольно мрачным. Но пока «Хеннелора» пикировала к облакам, погода была вполне солнечной.

Несколько кругов над оркской столицей и вокруг ничего не дали. Я запаниковал — мне пришло в голову, что Грым мог избавиться от метки. Подвесив «Хеннелору» на автопилот, я снял боевые очки и перелез за контрольный маниту, чтобы узнать, возможно ли такое.

Нет, ответила система — пока пациент (или, как дословно переводят орки, «терпила») жив, метки будут различимы на большом расстоянии. Грым либо уже отбыл в Алкаллу (или как там это называется у орков), либо был слишком далеко от столицы. Проверить первую возможность я не мог — и решил заняться второй.

Это отняло у меня целых пять суток.

Я избавлю читателя от описания моих странствий над унылыми оркскими просторами — с их похожими на болота деревнями и похожими на деревни болотами, с их одинаковыми рисовыми полями, по которым кое-где плюхает копытом в жидкую грязь бледная лошаденка (а как дышали, добавляет креативный доводчик — «конь блед, конь блед...»), с их скудными банановыми плантациями, с их перепуганными пугалами, напрасно умоляющими пилота забрать их из конопляного ада, с их замаскированными под стога молельнями, не решающимися выставить свою полузапрещенную спастикку под веселые дула наших пушек, с их нищими озерами, обанкротившимися реками и некредитоспособными кокосовыми рощами. Тем более, что креативный доводчик уже описал все за меня.

Сигнал Грыма появился на южной границе Оркланда, недалеко от мест, где начинается бесконечная древняя свалка. Он находился в

пограничной оркской деревушке с древним названием «Шлюдянко». Я испытал тоску от одного этого звука.

Было ясно, что Грым здесь не по работе — инструкция запрещает скупать детей в этой местности из-за радиации.

Такой запрет, конечно, излишняя предосторожность, потому что радиоактивной свалка была двести или триста лет назад, а сейчас от радиации практически ничего не осталось. Кроме того, здесь всегда дует северный ветер, поэтому радиационный фон в любом случае будет в норме. Но инструкцию Грым нарушил все равно.

Меня всего трясло — я был уверен, что вот-вот увижу Каю. Но аккумуляторы «Хеннелоры» почти разрядились, и я решил вернуться на Биг Биз, чтобы подготовиться к финальному акту драмы.

Это мог сделать и автопилот.

Через пять часов я снова был на месте. Времени хватило, чтобы отдохнуть, поесть, перезарядить все боевые системы и горько промастурбировать. Читатель видит, как сложно мне отделить себя от «Хеннелоры». Но только Маниту способен понять, каково мне было потерять Каю — и что я испытывал к орку, наславшему на меня эту беду. Мой палец просто плясал на гашетке. Грым очень повезло, что его сигнал пропал с моего маниту, как только я снизился.

Я снял напряжение, расстреляв чучело на краю луга, где паслись две коровы (побежавшие прочь с такой прытью, что одна споткнулась и, кажется, сломала ногу). Да простит меня Маниту Шива, питающий, как я слышал, тягу к этим животным. Успокоив нервы, я принялся искать своего дружка — я не волновался, что потеряю его, потому что вокруг была голая степь и уйти он не мог. Он мог только затеряться в складках рельефа. Хотя было непонятно — что за впадины в степи?

Сама деревенька состояла из множества вытянувшихся вдоль проселочной дороги домиков, некоторые из которых служили жильем для орков, а другие — помещением для скотины, причем их назначение практически невозможно было различить даже с бреющего полета. На главной улице мне встретились пара куриц, отдыхающая в луже свинья и пьяный сельскохозяйственный орк в грязной сермяге, с вилами в одной руке и бутылкой воли в другой. Честное слово, увидь я его в новостях, я бы поморщился и подумал, что военная пропаганда не должна быть такой топорной.

Я решил подняться выше, и сигнал Грыма снова появился на моем маниту. Теперь я понял, почему он то появляется, то исчезает — недалеко от деревни был старинный карьер, где в эпоху Древних Фильмов что-то

добывали. Сейчас он оплыл и зарос густой зеленью, но в него все еще можно было спуститься. На его дне стоял полуразрушенный сарай. Я засек Грыма, когда он уже поднялся наверх и направлялся к деревне.

Осторожно приблизившись, я обогнул его и полетел следом, стараясь держать дистанцию — несмотря на молодость, Грым был уже опытным в военном отношении орком. Мой камуфляж, разумеется, был включен, и я совершил все обычные маневры предосторожности, с учетом солнца и ветра.

Но, дойдя до середины деревни, Грым внезапно повернулся ко мне — и поднял руку с оттопыренным средним пальцем. Его глаза смотрели точно в мои, словно он действительно видел «Хеннелору» — хоть я шел со стороны солнца и он не должен был заметить меня даже без оптического камуфляжа.

Со стороны это выглядело странно — молодой орк вдруг развернулся на деревенской улице, показал фингер солнцу, сплюнул и пошел дальше. Но по тому, как довольно захрюкал сидевший на придорожной лавке орк (кажется, тот самый сельскохозяйственный рабочий с бутылкой, только уже без вил), этот жест был вполне в национальном духе.

Грым вряд ли мог меня засечь. Может быть, ему подсказал что-то инстинкт — но скорее всего, он просто предположил, что я могу за ним следить, и сообразил, где будет при этом моя камера. Я ведь сам объяснял ему основы летной тактики во время наших попоек. Он ничего не терял, этот смысленный молодой орк — разве что посланный солнцу фингер. Но разве кто-нибудь сочтет, сколько их уже растаяло в его древнем желтобелом огне? Молчи, креативный доводчик, молчи.

Грым скрылся в избе на краю деревни. Я выждал несколько минут, подлетел ближе и попробовал заглянуть в окно. Грым сидел у стола и вырезал большими ржавыми ножницами круглую заплату из материала, похожего на кожу; на столе перед ним лежали туба с клеем, куски веревки и обрезки блестящей ткани. Мальчик что-то мастерил. Иногда он поднимал голову и отвечал сидящему напротив. Его собеседник не был мне виден, и у меня по спине пробежал холодок предчувствия.

Я включил дальние микрофоны.

— Что значит, «верят, не верят», — говорил Грым. — Это оркский подход. У них новости не для того, чтобы люди им верили или не верили, а чтобы знать, откуда дует ветер и какие в нем запахи...

— Зачем они тогда для нас новости делают? — спросил невидимый собеседник, — Мы же все равно ничего не поймем.

Там была не Кая, а какой-то оркский мужик.

— Ну это как если бы нам подменили сигналы от органов чувств, — ответил Грым, — Вот представь, что ты ползешь к забойному столу на мясном дворе. Ползешь брюхом в крови. А глаза тебе показывают садик, уши слышат, как речка плещется, а нос нюхает цветы. И в голове постоянно бьется мысль, что надо бы прикупить тушенки. Но если ты, не дай Маниту, действительно выползешь случайным образом в такой садик, глаза сразу покажут тебе кровавый мясной двор. Все схвачено.

— То есть органы чувств показывают нам одну только неправду?

— Не, — сказал Грым. — Не только одну. Как минимум две разных неправды. Нашу и ихнюю...

Он говорил и дальше, но мне было уже неинтересно. Я отлетел от окна и включил гипероптику. Изба заиграла всеми цветами радуги, и на маниту появились два крупнозернистых силуэта — Грым и пузатый мужик напротив. Но я не испытал к нему обычной для толстяков эмпатии.

Каи нигде не было.

Теперь я знал это точно, потому что если бы я не обнаружил ее по контуру (он у нее такой же, как у людей), то увидел бы на маниту сигнал ее батарейки.

Я пролетел над деревней, спускаясь к каждому разноцветному дому. Гипероптика предъявила мне довольно много пьяных орков, несколько ползающих по полу детей и даже одну совокупляющуюся пару. Сигнала Каи не было нигде.

Тогда я полетел к старинному карьеру, из которого появился Грым. Он мог прятать мою душечку там — и это была моя последняя надежда. Но вскоре рухнула и она. В сарае на дне карьера не оказалось вообще никого. Там располагалась какая-то захламленная мастерская — в окне был виден большой рабочий стол с обрывками ткани, веревками и пластиковой стружкой. Видимо, иногда здесь трудились деревенские жители. Но Каи там не было.

Рядом с мастерской можно было различить остатки древних хижин — сначала я подумал, что там когда-то жили оркские рудокопы. Но потом я заметил на каменной стене большой грубый барельеф — подобие глаза со слезой. Я вспомнил — это был символ Сжигателей Пленки. Может, не слеза, а кровь, Кая что-то про это говорила. Неважно. Если они и прятались здесь раньше, это время давно прошло.

Поднявшись чуть выше, я еще раз просканировал карьер — и увидел только силуэты мелких грызунов в одной из хижин. Я вернулся к деревне и еще раз прочесал ее. Бесполезно. Тогда я принялся нарезать вокруг нее все увеличивающиеся круги, внимательно глядя на маниту. Сигнала Каи не

было нигде.

Когда стемнело, я вернулся к дому, где отсиживался Грым, поставил «Хеннелору» на автопилот, припал к прицелу и стал ждать.

Меня разбудил крик петуха в наушниках.

Оказалось, я так и заснул на боевом посту — и спал долго. Моя камера по-прежнему висела возле дома, но было уже светло. Наступил день.

Грым успел послать мне привет.

На стене дома была растянута грязная серая простыня. С нее на меня глядели глумливые угловатые буквы.

ДАМИЛОЛА!
КАИ УЖЕ ДАВНО ЗДЕСЬ НЕТ.
ОНА УЛЕТЕЛА НА ЮГ.
ЧЕСТНО. ГРЫМ.



Мои глаза еще бегали по простыне, мозг еще анализировал смысл черных закорючек — но я уже знал, что это правда.

Улетела...

Никогда, слышите, никогда неставляйте своей суре максимальное существо. Потому что максимальное существо — это когда вы понимаете: ее уже не вернуть.

Я заметил, что ору во все горло и стреляю из обеих пушек. Как это началось, я не помнил — я осознал происходящее, только увидев, как сползла на землю дымящаяся простыня.

Потом оркская изба стала рассыпаться, словно была сделана не из бревен, а из пересохшего песка. Сперва сдуло стену. Затем снаряды стали перемалывать то, что было за ней. В щепки разлетелись стол и лавки, горшки, бутылки, сундуки и комод, и только большая белая печь (орки складывают их по каким-то религиозным причинам) выдерживала пока удары моих снарядов, быстро теряя форму и объем.

Грыма в доме уже не было. Я это понял только тогда, когда у меня кончились снаряды, и орк, который прятался от моего огня за печью, побежал в поле в одной рубашке. Это был вчерашний собеседник Грыма — кажется, поп из местной молельни.

От дома не осталось вообще ничего, кроме обмылка печи, который все

еще возвышался среди деревянной трухи. Я даже не подозревал, что орки умеют делать такие крепкие кирпичи.

Потом я вспомнил про мастерскую на дне карьера. Грым мог быть там. Я развернулся...

И увидел вдалеке взлетающий воздушный шар.

Он был похож на клуб дыма. Я включил светофильтры, увеличение — и разглядел пластиковый куб. Над ним в полную силу работала газовая горелка. Ее пламя уходило в серо-черный шар, раздувшийся внутри рыболовной сети, к которой крепилась кабина. Черным шар был сверху — видимо, чтобы часть работы по нагреву взяло на себя солнце. И еще он чуть походил на глаз — на сером боку у него было черное пятно, напоминающее суженный каким-то галлюциногеном зрачок. Может быть, клапан или заплатка.

Все вдруг встало на места — и ткань, и газовые горелки, и даже символ Сжигателей Пленки.

Никакой это был не глаз со слезой.

Это был воздушный шар.

Я в одну секунду понял все про ее притворство, про «мистический полет» и про само «сжигание пленки» (возможно, некоторые из сектантов на самом деле сжигали древний целлулоид, чтобы наполнить горячим воздухом оболочку). Если она действительно улетела на таком шаре к югу — а поскольку ветер всегда дует здесь с севера, улететь куда-нибудь в другое место трудно, — значит, в Оркланде ее уже не было.

Шар Грыма быстро поднимался вверх. Я полетел к нему, набирая высоту. Я мог расстрелять его в любую секунду — хоть снаряды у меня кончились, оставались еще ракеты. Но тогда я потерял бы последнюю связывающую меня с Каей нить — и эта мысль удержала меня от эмоциональных поступков. Действительно, если Кая улетела на таком же шаре, куда мог лететь Грым, как не следом за ней?

Я глянул на приборы — за ночь батарея успела разрядиться только на четверть. Вынужденная посадка в Оркланде не была проблемой — такое со мной уже случалось. Я мог вызвать эвакуатор с Биг Биза, хотя теперь это стало дорогим удовольствием. Но вот если батарея разрядится далеко над свалкой... Туда точно никто не полетит. А я и так на самой границе. Но на сутки «Хеннелоры» должно было хватить — это значило, что я могу удаляться от границы почти день и сумею вернуться назад.

Я решил.

Энергию следовало беречь, поэтому я отключил камуфляж. Но я принял все меры предосторожности, чтобы Грым меня не заметил. Я

держался внизу и сзади, стараясь стать для него просто неразличимой точкой на фоне земли.

Шар набирал высоту. Когда Грым забрался выше трех километров, он стал на время отключать горелку — видимо, у него была точная инструкция, когда и что делать. Его шар продолжал по инерции подниматься. Я понял, что он входит в зону сильного ветра, и у меня не было выхода, кроме как последовать за ним.

Вскоре индикатор наземной скорости стал показывать очень серьезные цифры. Но на высоте ветер практически не ощущался, потому что мы летели вместе с ним: шар Грыма висел передо мной спокойно, как елочная игрушка. Я перевел «Хеннелору» в режим автоматического сопровождения цели. Лететь предстояло, видимо, не час и не два, и я решил сходить на кухню перекусить. Потом я помылся — терпеть не могу, когда в полете начинается чесотка.

Все это, конечно, были нервы.

Вернувшись, я обнаружил, что Грым поднялся выше и летит теперь еще быстрее. Это было рискованно из-за ветра — на высоте встречались вертикальные градиенты, способные оторвать шар от гондолы. Но Грым действовал осторожно.

Смотреть на коробку, в которой он сидел, было неинтересно — гипероптика показывала, что он жмется среди газовых баллонов, завернувшись в какие-то одеяла, и время от времени дергает за уходящие к горелке веревки, которые служат ему вместо рычагов управления. Видимо, он отслеживал высоту и время по альпинистским часам, сверяясь со своей инструкцией — а дышал через респиратор.

Бедняжка, конечно, очень мерз, и меня то и дело подмывало согреть его точно пущенной ракетой. Я не собирался отказывать себе в этом удовольствии, но пока было еще слишком рано.

Через час свалка внизу кончилась. Началась Великая Пустыня. Я не предполагал, что увижу ее когда-нибудь своими глазами — по моим представлениям, она была гораздо дальше от Оркланда. Сюда уже давно не посылали даже разведочные зонды — да и зачем? Пустыня походила на море, подернутое пленкой коричневой тины. Кое-где из нее торчали обломки античных ветряков — словно похороненные здесь великаны показывали из-под песка свои древние фингеры небу и мне. И креативному доводчику, вероятно, тоже.

Еще через час связь с «Хеннелорой» сильно ухудшилась. Я испугался, потому что совершенно об этом не подумал — над Оркландом ретрансляторы висят всюду, а в тех местах, где я преследовал Грыма, уже

много сотен лет не существовало технической цивилизации. Последний ретранслятор остался слишком далеко, и мы вот-вот должны были выйти из его зоны. Я уже собрался дать ракетный залп и повернуть, но тут система сама переключилась на старинный спутник — предупредив меня, сколько это будет стоить.

Я только крепче сжал зубы.

Но связь теперь работала отлично. Я даже поймал спутниковый радиоканал — передавали мемориальную программу о Николя-Оливье Лоуренсе фон Триере. Крутили фрагменты последнего большого интервью с покойным:

— Наверно, это не просто — целых сорок лет удерживать первенство по продажам в категории «first teen fuck».^[27] Как вам это удается?

— Ну, деточка, если бы на этот вопрос существовал простой ответ... Скажу так — в ту самую секунду, когда я просыпаюсь, я уже начинаю работу над собой...

Вскоре я заметил, что внизу стали появляться пятна зелени. Они делались все гуще. Стали мелькать небольшие речушки. Потом начался лес. Выходит, Великая Пустыня уже кончилась? Или мы пересекли самый ее край? Мне показалось странным, что мы преодолели такое огромное расстояние, но в тот момент я не придавал этому значения.

Я должен, должен был об этом подумать! Но не подумал.

Дело, наверно, в том, что большую часть полета мой мозг балансировал между тремя состояниями. Я прикидывал свои убытки, представлял, как убиваю Грыма и воображал встречу с Каей. В конце концов я стал решать эти задачи одновременно, как бы мирясь с Каей, убивая через это Грыма и подписывая его кровью еще одну закладную. Я следил за временем — и в нужный момент отметил, что скоро мне придется поворачивать назад — так что я, возможно, уже не увижу Каю и успею лишь убить Грыма. Но потом его шар стал снижаться, и я решил, что все еще может получиться.

Самое интересное, я плохо представлял, что буду делать, когда ее увижу. На дне моего ума, кажется, плескалась зыбкая и совершенно безумная с технической точки зрения надежда, что в миг встречи она раскается, подойдет, обнимет мою «Хеннелору», и единственная вещь, которую я люблю, понесет домой единственную близкую мне сущность. Ну или наоборот, неважно, я ведь не дискурсмонгер, а боевой летчик... Это, конечно, был бы для моей «Хеннелоры» неподъемный груз — но мне казалось, что в минуту встречи изменится все, даже законы физики.

Грым снизился уже до километра, и теперь его шар летел довольно

медленно — ветер здесь почти стих. Я подумал, что Сжигатели Пленки, кем бы они ни были, действительно нашли очень удобный способ путешествия — регулировать скорость шара можно было, просто изменяя высоту, потому что внизу ветер дул тихо, а выше четырех километров разгонялся так, что за ним не поспела бы и моя «Хеннелора»...

Тут я почувствовал себя так, словно у моего мозга были зубы, которые долго жевали полужидкую кашу — и вдруг наткнулись на стальной шарик. Сразу же их сокрушивший.

Я понял, что не смогу вернуться.

Я забыл про ветер.

Слабыми пальцами я велел маниту рассчитать обратный курс. Вышло, что я не долечу даже до свалки — шлепнусь где-то в пустыне.

Каждый боевой пилот ежедневно сталкивается с риском потерять свою камеру — а действовать надо так, будто опасности нет. Это профессия не для трусов, и я никогда не терял хладнокровия в бою, в самой гуще крови и смерти. Но тогда потеря камеры была всего лишь статистической вероятностью — а сейчас...

Сейчас она была неизбежной. До гибели «Хеннелоры» оставалось всего несколько часов.

Это казалось тем более абсурдным, что от мира вокруг не исходило никакой ощутимой опасности. «Хеннелора» была жива и здорова, все ее системы вели себя нормально, и даже доисторическая спутниковая связь работала на удивление хорошо — как древний джинн, дождавшийся наконец клиента.

Я закричал, и моя голова стала яростно мотаться во все стороны, словно стараясь оборвать ножку шеи. Слезы залили мои боевые очки, сделав мир вокруг мутным и размытым. Я даже испугался, что не смогу управлять «Хеннелорой».

У меня не укладывалось в голове, как я могу вот так запросто взять и потерять это свое второе — или, скорее, первое тело. Боль была такой же сильной, как в тот день, когда ушла Кая. Меня скрутило, как орка, настигнутого пушечной очередью с неба.

Особенно же непереносимым было понимание того, что сказала бы по поводу моих терзаний Кая (а я провел с ней достаточно волшебных ночей, чтобы знать это почти дословно): «если разобраться, летающая задница, твоя драма сводится к тому, что одна машинка не может нащупать электромагнитными полями другую, а жирный тюлень, к которому приходит отчет от ржавого спутника, рыдает на лежбище вдали...»

Потом я успокоился — и во мне пробудился Летчик. Словно в меня

сошел дух одного из древних азиатских пилотов, хладнокровно уходивших в атаку, зная, что пути назад нет.

Я понял, что они испытывали в такие минуты. Каждая секунда превратилась в маленькую жизнь, цифры на маниту наполнились небывало четким смыслом, а маленькая Кая с виртуальной фотографии над датчиком высоты ожила — и послала мне улыбку с вершины ослепительного пика существа и соблазна.

И тогда я понял, что с самого начала было скрыто на дне моего сознания. Я понял, зачем я хочу ее найти.

Не для того, чтобы она вернулась ко мне. Это было невозможно. И не для того, разумеется, чтобы убить — это тоже было неосуществимо, ибо ее онтологический статус, как сказал бы покойный Бернар-Анри, был небытием с самого начала. Но если я не мог вернуть Каю в свое бытие, ее могла забрать с собой моя «Хеннелора».

А Грым отлично подходил на роль провожатого.

Как только это решение выкристаллизовалось в моем уме, все дальнейшее стало простым. Я вычислил оставшееся мне время с включенным и отключенным камуфляжем; при временном использовании маскировки результат должен был оказаться где-то посередине. Я очень надеялся, что времени мне хватит, поскольку Грым сильно снизился и летел теперь совсем медленно — видимо, цель была близка.

Мне все труднее становилось держаться внизу — а лететь на одном уровне с ним было рискованно: я стал бы замечен на фоне яркой полосы заката (последний день в небе, сказал кто-то в моем ухе). Когда Грым спустился еще ниже, я зашел вбок и поднялся вверх — и мне пришлось включить камуфляж. Небо было еще слишком светлым.

Я совсем не представлял, что это за места — только видел вдалеке горы, озаренные огнем уходящего солнца. Между горами клубился синий туман, и мне пришло в голову, что это похоже на облака, лежащие спать (это не креативный доводчик — я правда так подумал в ту минуту). Простор, прекрасный бесконечный простор — и всякий взгляд на него напоминал, что мое волшебное око вот-вот закроется навсегда.

А потом я заметил впереди огни.

Их, собственно, трудно было не заметить в сгущающемся внизу сумраке. Яркие электрические лампы горели длинным пунктиром — лампа через каждые сто метров или около того. Видимо, Грыма ждали — или, может быть, эти огни горели тут всегда. Как летчик, я отметил, что при всей своей примитивности это удобная система навигации — такую цепь невозможно было пропустить с высоты. Грым достаточно было подняться

в воздух из старого карьера — и ветер, как река, сам доставил его в пункт назначения. Наверно, и время отправления было рассчитано так, чтобы он достиг цели в сумерках, когда сигнальные огни легко различить.

Грым, видимо, заметил огни — его шар резко пошел вниз.

Кабинка коснулась земли на лесной опушке, и он сразу выскочил наружу.

К нему уже бежали.

Сперва я не понял, откуда взялись эти люди. Потом я заметил на границе поля и леса крытый корой навес, где было привязано несколько лошадей. Полагаю, сердце Грыма возрадовалось, поскольку выглядели встречающие примерно так, как могли бы «древние урки» — если допустить, что такой народец действительно существовал где-то за пределами оркской историографии.

На них были перепоясанные темные халаты. Некоторые были вооружены арбалетами и висящими на поясах ножами. При увеличении я заметил, что у них странные прически — перетянутый пестрой лентой узел волос на затылке.

Они окружили Грыма, и с минуту молодой орк что-то объяснял, махая руками в сторону еще светлого на западе неба. Похоже, его понимали. Мне показалось, что его появление не было слишком большим сюрпризом. Скоро рядом с Грымом остались только двое, а другие окружили воздушный шар, уже превратившийся в половинку огромной луковицы, и принялись разъединять его на элементы. Судя по тому, как ловко они сняли горелку, они делали это не в первый раз.

Двое повели Грыма к навесу. Я испугался, что его оставят здесь на ночь, и мои планы рухнут — но, к счастью, они только дали ему напиться и перевести дух, а потом сели на лошадей. Грым тоже дали лошадь — орки умеют на них ездить (это часть их военной подготовки на тот случай, если в снафах будут нужны конные сцены). Затем все трое поскакали в лес.

Там было уже совсем темно. Провожатые Грыма надели на голову повязки, из которых на дорогу ударили два сине-белых луча. Свет был не слишком ярким, но вполне освещал путь. У моей «Хеннелоры» есть фара... Впрочем, была. Неважно. Я только хочу сказать, что у лесных людей имелось не только электричество, которое есть у многих примитивных племен, но и такие вот штуки, изготовленные явно не в нашей Желтой Зоне. Из-за арбалетов за их спинами мне даже не пришло в голову, что они могут производить подобное сами.

Когда мы наконец прибыли на место, на маниту уже горела красная лампочка «батарея разряжена». Обычно система работала после этого часа

два, но могла протянуть и чуть дольше. Я уже начинал нервничать — мне казалось, что они слезают с лошадей слишком долго.

У них были каменные дома. Во всяком случае, частично: стены и крыши были сделаны из дерева и коры, а фундаменты и опорные колонны — из камней и цемента.

Это было что-то вроде поселка, спрятанного в лесу — дома стояли в просветах между деревьями, а соединявшие их дорожки ныряли под кроны. В наших квартирах для экологически ориентированного среднего класса бывают похожие виды в окне («среди гигантских секвой», «за тысячу лет до Антихриста»), но там, по понятным причинам, к деревьям нелегко будет подойти...

Грыма привели к дому с большой террасой, освещенной желтыми бумажными фонарями, похожими на огромные мандарины. Под ними, скрестив ноги, сидели на подушках люди — без оружия, одетые довольно пестро. Их было около двадцати. Впрочем, я недолго их разглядывал, потому что...

Да. Лицом к ним, на такой же подушке, сидела она, моя украденная радость. На ней было длинное одеяние золотисто-зеленого цвета — эдакое платье из одного куска ткани, обернутого вокруг тела (у орков оно называется сарифаном). И она занималась, конечно, любимым делом — промывала этим ребятам мозги, как совсем недавно мне. Ее слушали очень внимательно. Я навел на нее микрофон — и успел записать несколько фраз.

Кажется, в наши последние дни она заливала мне в извилины весьма похожее моеющее средство:

— Когда вы чувствуете гнев или боль, вы появляетесь. Вам кажется, что есть кто-то, кто ими охвачен — и дальше действует и страдает уже он. Вы просто не знаете, что не обязаны реагировать на эти ощущения и мысли. А реакция начинается с того, что вы соглашаетесь считать их своими. Но химический бич, щелкающий в вашем мозгу, вовсе не ваш высший господин. Вы просто никогда не подвергали сомнению его право командовать. Если вы научитесь видеть его удары, они потеряют над вами власть. А видеть их можно только из одного ракурса — когда исчезает тот, кто принимает их на свой счет. Есть древняя оркская пословица: «Где ж лучше? Где нас нет...» Что она означает? Пока вы смотрите на мир с кочки, которую научились считать «собой», вы платите за нее очень высокую арендную плату. Но что вы получаете взамен? Вы даже не знаете, какие бичи погонят ваше «я» в его кошмарное путешествие через миг...

— Античные геи говорили своим врагам то же самое, что сегодняшние грубияны — «Познай себя». Это не зря считалось у них страшным

оскорблением. Ибо в «себе» нет ничего, что можно познать, как нет его в узорах калейдоскопа. В вас нет даже того, кто может пять минут помнить про эту невозможность. Но кричать на каждом углу, что никакого «я» не существует, еще глупее. Не потому, что оно есть, а потому, что именно оно будет делать вид, будто его нет. Не берите на себя груза, который вам не под силу, и не обвиняйте Маниту в том, что это он взвалил его на ваши плечи. Пусть Маниту несет эту ношу сам — на то он и Маниту...

— Зачем вам чудовищная ответственность за игру света и тени, которые никогда ни о чем вас не спрашивали? Зачем выращивать волосы и ногти страшным усилием воли, если они растут сами? У вас не больше власти над собой, чем над погодой — и если вы изредка можете правильно ее предсказать, это не значит, что дождь идет из-за ваших заклинаний. Не принимайте за себя ничего из того, что становится видно, когда разматывается нить жизни. И не бойтесь обидеть Маниту невниманием — когда он чего-то от вас захочет, вы узнаете про это первыми...

А потом она увидела Грыма.

Она сразу же встала и пошла ему навстречу. Они встретились на дорожке, улыбнулись друг другу, словно расстались минутой назад, взяли за руки и молча пошли в лес. Кто-то успел дать им две повязки с фонариками, и они надели их на головы. Кая видела в темноте, но я помнил, что ее программы опасаются отпугнуть клиента демонстрацией этого свойства: когда мы еще были вместе, лапочка частенько просила меня зажечь свет.

Они ушли далеко в лес — два сине-белых пятна на неровной земле, два зыбких черных силуэта. Затем один луч света запрокинулся в черное небо, а второй уперся в близкую землю, иногда выхватывая из темноты смеющееся лицо Каи. А потом они погасили свои лампы.

В инфракрасном диапазоне они выглядели не так романтично. Особенно для меня — каждая из высветившихся подробностей причиняла моему сердцу невыносимую боль. Поэтому в их сторону я смотрел только краем глаза. Я оценивал позицию (я имею в виду, не их, а «Хеннелоры»), стараясь видеть реальность глазами военного летчика, а не обманутого мужа, потому что обманутые мужья часто промахиваются при стрельбе.

Они устроились на краю большой поляны. Я перелетел в ее центр, поднялся на четыре метра и аккуратно взял их в прицел, поставив на залп все шесть ракет. Я даже проверил дистанцию до цели на предмет возможного поражения камеры осколками, хотя теперь это не играло особой роли.

Тут у меня отключился камуфляж — а это значило, что «Хеннелоре»

осталось жить от силы минут десять. И хоть Кая с Грымом плавно качались прямо в красном квадрате «target locked», на миг я совсем про них забыл — и у меня на глазах выступили слезы. Не знаю, кого из них двоих я любил сильнее — «Хеннелору» или Каю. И вот я должен был потерять их в один миг. И все из-за этого орка.

Они ничего не заметили, поскольку я висел в темноте — но теперь мне самому захотелось, чтобы они увидели меня напоследок. Увидели и услышали. И, уже не думая, что это отнимет у «Хеннелоры» последние силы, я включил фары и габариты, а потом врубил еще и музыку, старый добрый «Полет Валькирий», служивший стольким поколениям боевых пилотов. Пусть оркский герой уйдет в Алкаллу под звуки столь ненавистой ему музыкальной установки.

Потом я взял в зум их повернувшиеся ко мне лица и перевел изображение в стандартный цветовой режим. Это был, наверное, единственный случай, когда я пожалел, что моя камера — «Хеннелора», а не «Sky Pravda». Будь у меня «Sky Pravda», я увидел бы их в точности как днем. А сейчас из-за цветовых искажений мне казалось, что передо мной резиновый мальчик, лежащий на резиновой девочке. Ничего, подумал я — напоследок сойдет и так.

Кая никогда не видела моей «Хеннелоры» так близко. Ну посмотри, думал я мстительно, посмотри напоследок на летающую задницу, душечка. Теперь ты видишь, какой я на самом деле. Взгляни, кого ты вероломно обнимала столько ночей, чтобы променять на этого оркского уродца. Уйди же с ним вместе в небытие. Или, вернее, встречай его там, встречай...

Но Кая знала, что я смотрю ей в глаза — и глядела в черное небо, чтобы не дать мне этой последней радости. А на ее лице застыла спокойная и даже насмешливая полуулыбка.

Существо на максимуме, что с нее взять.

Зато Грым глядел прямо на меня. Я увеличил его лицо так, чтобы оно заполнило весь прицел. Он-то помнил мою «Хеннелору» без камуфляжа — с этого и началось наше знакомство. Ему уже приходилось слушать этот отрывок из Вагнера, застыв в моем прицеле без штанов. Только стоя. Как все-таки скучна на выдумки жизнь.

Когда я увидел его глаза, я понял, что он узнал свою смерть. Как будто тот миг у реки и этот миг в ночном лесу слились в одну долгую секунду, во время которой бедному мальчонке пригрезилось, что он почти ускользнул от костлявой. Но смерть всегда выполняет свое обещание. И вот она пришла — и Грым, верно, отчетливо осознал в тот миг, что все это время она терпеливо ждала рядом.

А потом я нажал на спуск.

В зрачках Грыма отразилась стартовая вспышка, и его лицо исказила гримаса предсмертного отвращения. Я много раз фиксировал на целлулоид эту последнюю трансформацию оркских физиономий, вслед за которой все исчезало в огненном вихре.

Вот только никакого вихря я не увидел.

Лицо Грыма удивленно вытянулось, и я понял, что он смотрит уже не на «Хеннелору», а куда-то вверх и в сторону. Туда же теперь глядела Кая, и я первый раз увидел, как у нее отвисла челюсть — до этого мне никогда не удавалось запустить в ней эту программную реакцию.

А потом в моих наушниках раздались один за другим шесть глухих ударов. Я задрал свои боевые очки в далекое небо.

В нем расцветали шесть огромных цветков — красный, зеленый, синий и три радужно-пестрых. Все они были разными по форме — и походили на новые вселенные, только что зародившиеся в черноте небытия и живущие теперь каждая по своим законам. Потом стали взрываться заряды второго цикла, и небо вокруг шести больших цветков озарилось мелкими разноцветными зигзагами, стрелами и спиралями разноцветного огня. Па-бам. Па-бам. Па-бам.

Я забыл поменять программу на контрольном маниту. И при последней перезарядке база поставила мне фейерверки вместо боевых ракет — как делала все последние дни, когда я вылетал на легкий ночной заработок над виллой Давида-Голиафа.

Я по привычке считал себя небесным воином — а для системы я уже был... Не знаю, как это назвать. Ну, который стоит с подсвечником у кровати.

А потом шесть вселенных в черном небе догорели, сам собой затих Вагнер, и в моих боевых очках потемнело навсегда. Но перед тем, как «Хеннелора» упала в свою бесконечно далекую зеленую могилу, я успел заметить самое оскорбительное и невыносимое.

Они больше не глядели в мою сторону.

Они...

Они продолжали.

Я снял ослепшие летные очки, слез с боевых подушек и упал на пол. Я плакал всю ночь, останавливаясь только для того, чтобы принять порцию алкоголя. А потом алкоголь стал литься из меня назад.

ЭПИЛОГ

Мне осталось сказать только несколько слов о себе самом — и о том, что случилось с нашим миром. Заодно объясню, почему в самом начале этих, как выражается креативный доводчик, безыскусных записок я назвал их историей мести.

Но все по-порядку.

Моя «Хеннелора» не умерла окончательно. В ней есть резервная батарея, которая питает эвакуационный радиомаяк. Ее хватит на много месяцев, и с ее помощью можно изредка поддерживать контакт через спутник. И парочка про меня не забыла — в мой день рождения Кая подключилась к «Хеннелоре» по беспроводной связи и прислала мне письмо, неожиданно выскочившее на моем осиротевшем боевом маниту:

«Поздравляем, Дамилола, и спасибо за салют! Мы тебя любим! Кая, Грым».

Кае, наверно, ничего не стоит подсоединиться к памяти «Хеннелоры». Там до сих пор хранится много интересного и забавного. Взять хотя бы выпускное сочинение Грыма, снятое через окно с его маниту, или фотографию бумаги на верхне-среднесибирском, которую ветер прокатил мимо его носа на Оркской Славе.

Мне, как ни странно, вовсе не жаль, что Грым остался жить. Наоборот, я весьма рад такому развитию событий. Именно оно делает мою месть возможной. Единственное, чего я не могу понять, это каким образом предчувствие могло так меня обмануть. Я ведь ясно видел смерть, отраженную в его глазах, целых два раза.

Ну что тут делать, выходит, ошибся. С кем не бывает. Мало ли что можно обнаружить на дне оркских глаз. Может, просто отпечаток трудного детства.

Грым был весьма раскрученной медийной фигурой, поэтому его бегство могло попасть в новости. Но эту историю умело замяли. Помогла Хлоя.

У нее к этому времени дела шли просто чудесно — она получила роль второго плана в снафе, который начали снимать под фактуру следующей войны. Роль второго плана — не порно, поэтому возраст тут не важен: вокруг пожилых спаривающихся знаменитостей обычно стоит полуголая творческая молодежь с подсвечниками. Зритель любит крупные планы чистых юных глаз, в зрачках которых отражены совокупляющиеся звезды

— это примерно как дерпантин, только наоборот, и без всякой моральной двусмысленности. Пока творческая молодежь держит подсвечники, старшие сомелье отбирают из нее будущих гигантов — это длительный процесс, и правильный старт в нем очень важен.

Отрывки с Хлоей показали в развлекательном блоке (она даже позволила себе несколько одобренных юристом движений бедрами), а потом ведущая спросила про Грыма. И Хлоя, умная девочка, пустила слезинку и тонким голоском пожаловалась:

— Он замахивался на меня кулаком, а один раз, напившись, сказал — уйди, дура, у тебя лицо войны.

На что ведущая ответила:

— Может быть, мы поторопились пригласить его наверх.

И все, и не было в этом мире никакого Грыма.

Но у военных, конечно, своя отдельная реальность, и факты из нее так просто не выпадают.

Я отправил начальству рапорт о случившемся — и меня вызвали для разговора. Сразу выяснилось, что эвакуатор за моей «Хеннелорой» не полетит. И стали просматриваться мои дальнейшие перспективы.

Работать отныне мне предстояло только на арендованной технике, то есть, как я уже говорил, сосать за еду. Сделай я еще один гениальный крупный план вроде черного оркского осьминога, контора просто заплатила бы три миллиона сама себе. А что касается новой суры, то про нее можно было забыть — с нулевой залоговой базой перекредитоваться было нереально. В лучшем случае аренда на выходные. Брать в прокатном пункте пахнущую хлоркой голубоглазую блондинку с опечатанным блоком настроек, и слышать от нее что-то вроде: «Ну что, толстячок, поиграем? Я так люблю наших отважных воздушных воинов!»

После беседы с руководством у меня сложилось чувство, что наверху всегда знали о наших соседях. И боялись их. Среди них могли жить колдуны, способные завалить наш офшар игрой на дудочке, как это уже случилось в Бразилии. Мне велели держать язык за зубами. Идиоты, слепые жадные идиоты. Бояться надо было не колдунов с дудочками, а прямых партнеров по бизнесу.

И здесь я вплотную подхожу к той точке пространства, времени и судьбы, где нахожусь сейчас.

Через месяц после бегства Грыма нас взорвали.

То есть взорвали, конечно, не сам Биг Биз. Взорвали стену Цирка.

Это сделал тот самый Рван Контекст, от которого все наши новостные каналы ждали перемен. Ну вот он их и устроил. Теперь будут очень

большие перемены.

Почему он это сделал?

А потому, что убили Рвана Дюрекса. Наши думали, они дадут всем будущим оркским каганам острастку, и никто больше не решится использовать газ в качестве оружия.

А Рван Контекс сделал прямо противоположный вывод — решил, что в конце концов его точно так же сбросят на Оркскую Славу вниз головой. И решил сыграть по-крупному. Пересмотрел для смелости «Звездные Войны» (орки, имеющие доступ к Древним Фильмам, не первый век сравнивают офшар со Звездой Смерти), обмакнул башку в дуриан (наверняка не простой, а фри бэйз — на пол оркского бюджета) и решительно взорвал стену Цирка газовой бомбой.

Самое дикое и обидное во всей этой истории, что его надоумил репортаж с открытия мемориала Трыга.

Там был показан разрез подкопа, якобы подведенного оркской охранкой под дом умученного пупараса. Очень хороший чертеж, тщательный, и показывали его долго — видно, жалко было, что такая работа пропадает. Ну вот и не пропала. Сами орки до такого в жизни бы не доперли. А тут задумались — почему бы их репрессивному режиму действительно не бросить вызов мировому сообществу? Раз про это и так без конца твердят все новости, а сам режим уже на полном серьезе сливают из Лондона вниз...

Копать орки умеют, газ у них тоже есть.

Не надо загонять собак в угол, даже служебных. Они начинают кусаться. Но сейчас уже поздно вспоминать эту древнюю мудрость.

Они подвели бомбу через прорытый из Славы тоннель. У нас этих работ не засекала ни одна телекамера — по поверхности к стенам никто не приближался, а подкопа просто-напросто не ждали. Почему? Да потому, что все, кто мог дать отмашку его сделать, хранили свои маниту у нас.

Никто не понимает, как наши спецслужбы могли проворонить такое. Мы ведь записываем все разговоры каганов. Помню запись, где оркская охрана на полном серьезе уговаривала кагана не носить с собой изумрудный «vertu», потому что люди всегда смогут определить, где он находится. Наши сомелье просто по полу катались.

«Можно подумать, без телефона мы этого не можем... Да если надо, каган сам позвонит отчитаться...»

Ну вот и досмеялись. По мобильнику Рван Контекс ни с кем о бомбе не говорил. И нам звонить не стал.

Впрочем, некоторые дискурсмонгеры говорили, что у всего

экономическая подоплека. В прежние годы глобальные урки могли воровать внизу и прятать вверху, потому что украденное можно было волшебным образом перевести в особое нематериальное качество. Это сложный алхимический механизм, понятный только людям вроде Давида-Голиафа Арафата Цукербергера. Богатство, которым обладает оркский вертухай — это как бы очки, начисленные ему Резервом Маниту. Естественно, что хранить их можно только у нас.

Глобальные урки так всю жизнь и делали. А потом вдруг заметили, что орлы из Резерва незаметно насчитали сами себе очень много таких очков, в результате чего у орков их стало как бы совсем мало, хотя много лет перед этим каждый год становилось все больше и больше. Такая несправедливость, конечно, их оскорбила. Вертухай задумались, почему это они должны целыми днями воровать и вгрызаться друг другу глотку, а верхние ребята по итогам года просто назначают себя в десять раз богаче, элегантно тыкая в клавиатуру наманикюренными ногтями. Ну и рвануло.

Но вертухай веселились недолго. Оказывается, у наших секьюрити был подробный план действий на случай диверсии. И во всех их лондонских квартирах намертво закрылись дверные замки. Одновременно отключилась вода, электричество и вентиляция. А потом погас Лондон за окном. И остаток жизни (из некоторых боксов, где было много воздуха, стук доносился еще дней пять) они видели в окне уже не хмурый и величественный город на Темзе, а серные костры Нижних Говниц, своего религиозного ада — просчитанные в полном соответствии с оркской иконографией, только реалистично и с высоким разрешением. Эти панорамы вместе с дистрибутивом серно-фекального запаха, оказывается, были подготовлены Домом Маниту давным-давно, на случай возмездия.

Богатым вертухаям повезло — они умерли быстро, попрыгав со своих открытых балконов на Оркскую Славу. Пара глобальных урков даже прихватила с собой в последний путь балконные «яйца» — и новостные каналы нашли время над этим посмеяться («про *молитву кагана* вы уже слышали, дорогие зрители, а сейчас мы покажем вам *прыжок кагана* в исполнении трупы оркских инвесторов»), Орков у нас не любили никогда. Возможно, в чем-то правы те, кто говорит, что известную роль в этом сыграли наши медиа.

Шучу, если вы не поняли. Сейчас все вокруг шутят.

Взрыв повредил опорный соленоид гравитационного якоря, или как там это называется у технических сомелье. Починить ничего нельзя, потому что для этого надо все отключить. А если все отключить, мы сразу упадем.

Мы, собственно, и так теперь упадем — технические сомелье дали самое большое месяц после взрыва, и этот месяц уже прошел. В неизбежность катастрофы трудно поверить, потому что на стене цирка нет даже трещин — она выглядит как раньше. Просто из-под земли в двух местах идет черный дым. Совсем немного. Но из-за этого дыма по маниту крутят сцены из «Титаника». Был такой древний фильм.

Идет эвакуация. Но мы не сможем за оставшееся время перенести наши критические технологии вниз. И это значит, что совсем скоро мы будем воевать с орками на равных. Моему поколению, наверно, еще хватит снарядов. А потом они нас просто съедят.

Самое интересное, Рвана Контекса целых два дня не могли убить, потому что он зарыл свой изумрудный мобильник в лесу, в фальшивой землянке с несколькими газовыми баллонами. Когда три телекамеры полетели на его сигнал, их тоже взорвали. Ребята были достаточно опытными пилотами, но сразу спустились к самой земле — поскольку конкурировали друг с другом. Каждый хотел лично застрелить злодея и хорошо продать крупный план. Думали прогреметь в новостях. Вот и прогремели — даже, наверно, раскатистей, чем хотелось. Я бы на такое не попался. Но за зарплату пусть летают другие.

Летчики, помните: при любых обстоятельствах главное — запас по высоте. Его всегда можно превратить в скорость. А вот скорость в высоту — уже нет. Ну а хуже всего — это когда ни высоты, ни скорости.

Как это скоро случится со всеми нами. Биг Биза больше не будет. А Оркланд... У орков уже много веков, если не тысячелетий, в моде эсхатологическая конспирология. Но их Уркаина настолько мерзка, что вряд ли ей угрожает серьезная опасность. Проблемы начнутся, если они захотят стать лучше.

Кое-кто, конечно, уцелеет и в новом мире. Вот, например, Хлоя. Она перед эвакуацией прибегала домой — искала, чего бы забрать вниз. Хорошо ее помню. Три слоя косметики, пять платиновых цепочек с бриллиантами и золотая брошь. Грым точно про нее сказал — лицо войны, оно самое и есть. Она себе дело найдет.

А вот как внизу обустроятся престарелые звезды со своими болонками и трейлерами, это большая загадка. Зато у наших дискурсмонгеров появится отличная возможность выяснить на оркском базаре, сколько весит их свободное слово без авиационной поддержки.

Неустановленные патриоты, которые все это время печатали маниту для нас и себя (и, возможно, продолжают свой труд даже сейчас), наверняка не пропадут. Бернар-Анри, помнится, сравнил их с пауками,

переваривающими мух закачанной в них слюной. Пока есть мухи, сохраняются и пауки. Но все-таки непонятно, откуда теперь они будут впрыскивать маниту в мир и куда станут отсасывать жизненную силу человечества, растворившуюся в их ядовитой эмиссии. Однако лучше не углубляться в эту тему, поскольку закона о hate speech никто не отменял — и было бы вдвойне глупо стать его жертвой в эти грозные дни.

В общем, внизу нелегко будет всем.

Но есть и такие, кто принял решение остаться.

Я рад, что я один из них.

Все, что я любил в этом мире, уже в прошлом — так зачем мне будущее? Что будет с моим неуклюжим жирным телом в Оркланде? Нет, спасибо за предложение. Я слишком долго наблюдал эту жизнь сквозь прицел.

Весь последний месяц, который подарили нам техники, я не суетился и не паковал вещей — а спокойно приводил свои записи в порядок. Мне, конечно, очень помог креативный доводчик, и теперь мой труд практически завершен. Я буду шлифовать его до самой последней минуты — но могу с чем-то не успеть, так что не обессудьте. Как только прощальные сирены велят мне поставить точку, я перешлю эту книгу через спутник на адрес парализованной «Хеннелоры» — и тогда моя душенька сможет снять ее через беспроводную связь, а тамошние писцы начертаят ее на бычьих шкурах, или что там у них сегодня в ходу.

Пусть они с Грымом не жалеют обо мне, ибо любить им меня не за что (разумеется, применительно к Кае слова «любить» и «жалеть» означают только имитационные паттерны — но иначе не скажешь).

Вполне возможно, что лет через сто мое сочинение будут вырывать друг у друга их новые соплеменники, эти хмурые арбалетчики с цветными лентами в волосах. И к тому дню оно станет последним памятником нашей великой культуры.

Впрочем, спросила бы моя душенька, что есть любая культура, как не замкнутая сама на себя цепочка проходящих по синапсам электрических импульсов, которая позволяет одним оркам с веселыми прибаутками убивать других? Слово «великая» здесь уместно лишь потому, что любое человеческое величие имеет ту же самую электрохимическую природу...

А теперь о самом главном.

Я много раз спрашивал себя — почему, почему моя единственная любовь выбрала Грыма, даже не дождавшись, пока я выплачу взятый под нее кредит? Ответ так прост и очевиден, что я никогда не додумался бы до него сам, не просвети меня сострадательный консультант (он тоже остается

здесь).

Просто потому, что она так запрограммирована. В ее управляющих кодах есть последовательность операторов, заставляющая определенным образом симулировать сексуальные предпочтения. Эта подпрограмма велит ей выбирать молодых стройных самцов, и делать это демонстративно — в робкой надежде, что остальные самцы передерутся по этому поводу, и вокруг будет много мяса и крови.

Вот и все. А мы столько лет пишем пронзительные стихи и поэмы, никак не можем успокоиться и, самое главное, прячем от себя правду, угрожающую уже сделанным инвестициям... Хотя правда, если разобраться, отлично всем известна — во всяком случае, в своем практическом повседневном аспекте.

Женщина — не человек. А проститутка — единственное, что может спасти человека от женщины.

Доводчик посоветовал мне два раза убрать в предыдущем абзаце слово «резинковая». Вдруг на эту страницу забредет пожилая социально активная феминистка из тех, что год за годом поднимают нам consent age — может, она прямо тут и подохнет.

ОК, так и сделаю — просто из любви к искусству.

Доводчик еще не знает, что ждет пожилых феминисток без всяких усилий с моей стороны. А пол уже заметно кренится, и времени остается совсем мало.

Консультант сказал, что Кая могла уйти и по другой причине. У нее ведь на максимуме стояло не только существо. Оказывается, установка на максимальную духовность включает в себя алгоритм, который велит суре делиться этой самой духовностью с теми, кому она «еще может помочь», как выразился консультант. Возможно, моя лапочка посмотрела сквозь меня равнодушным взглядом, затем, как древняя торпеда, совершила спиральный поиск в темных глубинах нашего мира, и в ее перекрестии нарисовался этот волчонок.

А может быть, ее действительно настигла любовь.

Это кажется мне особенно обидной возможностью — и весьма вероятной. Ведь человеческая любовь — это программируемое событие, своего рода туннельный эффект, пробивающий все матрицы сознания после импульса полового инстинкта. В Кае вполне могло произойти что-то похожее. Ведь электрические цепи ведут себя по одним и тем же законам, симуляция это или нет.

Но ничего возвышенного в этом я не вижу. Любовь — отвратительное, эгоистичное и бесчеловечное чувство, ибо вместе с одержимостью ее

предметом приходит безжалостное равнодушие к остальным. И в любом случае, сейчас разницы уже нет.

Как я сказал, мне совсем не жалко, что Грым жив. Я даже этому рад. Знаете почему?

Потому что мести страшнее я не смог бы изобрести и сам.

Грым был моим символическим соперником, которому доставались все ласки и нежность, украденные у меня максимальным существом. А что будет, когда я уйду? Максимальное существо всей тяжестью обрушится на него, это неизбежно. Так пусть же захрустит его скелет под этим молотом ведьм! Думаю, недалек тот день, когда Хлоя покажется ему пролетевшим сквозь его жизнь ангелом, а при воспоминании о Священной Войне № 221 по его белобрысым ресницам будут катиться обильные ностальгические слезы. Праздник начнется, как только Кая поймет, что меня уже нет — и Грым теперь не символический соперник, а новая мишень.

Вот зачем я столько дней оттачивал на доводчике этот стилет, этот посмертный фейерверк, которым я сумею сильно удивить моего оркского дружка с того света. И как отрадно, что в этом мне последний раз поможет старушка «Хеннелора», такая же мертвая, как я.

Кая, слышишь меня? Ау!

Грым понравится новый маниту.

Впрочем, после того как Кая залезла в мой контрольный терминал и скопировала пароли, она получила возможность менять свои регулировки сама. Но я очень сомневаюсь, что максимальное существо когда-нибудь позволит ей сняться с максимального существа — какое бы псевдодуховное timbo-jungo не пропускали сквозь себя ее речевые синтезаторы день за днем. Уж кто-кто, а я хорошо изучил эту резиновую душу.

Но хватит об орках и их боевых подругах.

Я хочу сказать еще кое-что важное.

Весь Биг Биз думал, что выполняет волю Маниту — но почему тогда рушится наш мир, почему вселенная уходит из-под ног? Как это должен понять искренне религиозный человек?

Наверно, Маниту больше не хочет, чтобы мы считали, будто знакомы с ним лично, а тем более знаем его планы и тайны.

Маниту не желает, чтобы у него были профессиональные слуги и провозвестники воли, и ему отвратительны наши таинства. Он не хочет, чтобы мы питали его чужой кровью, предлагая ему в дар наши юридически безупречные герантофилические снафы. Как он может любить нас, если от нас бегут даже собственные приспособления для сладострастия, созданные по нашему образу и подобию? Зачем ему мир, где на бескорыстную любовь

способна только резиновая кукла?

Мы мерзки в глазах Маниту, и я рад, что дожил до минуты, когда не боюсь сказать это вслух. Теперь все будет по-другому. А как — знает только сам Маниту.

Что останется от меня во Вселенной, когда я уйду туда, где ни одна резиновая женщина больше не разобьет моего сердца?

Думаю, некое подобие многомерной информационной волны. Возможно, эта волна выплеснется на песок иных миров, и услышанное от Каи поможет новому мне начать восхождение ввысь, где я обрету покой, а мой дух станет свободным и легким. А может быть, мне суждено стать оркской свиньей и кончить свои дни в хлеву (с 3D-маниту или без). В любом случае, это буду уже не я, потому что этого «я» вообще никогда не было — верно, Кая? Так стоит ли гадать?

Запомнят ли меня на Земле?

Уверен, что моя заставка к Священной Войне № 221 войдет во многие креативные пособия и анналы. Но вот долго ли человечество будет их анализировать, или что там с ними делают? Впрочем, наплевать. Какая мне разница, запомнит ли меня мир, если сам я с большим удовольствием забуду и его, и себя.

И как же стремительно приближается финал. У меня осталось еще полчаса — как раз достаточно, чтобы поставить точку и переслать эту книгу на «Хеннелору». Креативный доводчик подсказывает мне несколько вполне достойных вариантов последней фразы, в том числе и цитаты.

Вот, например, из старинного сочинителя Ivan Bounine — который, когда его начали конкретно опевать петухи (не вполне понимаю шутку доводчика, но разбираться некогда), решил сказать напоследок что-то царственно-величественное и процитировал еще более древнего сомелье по имени de Maupassant.

Отрывок уже на моем маниту:

«Крепнувший бриз гнал нас по трепетной волне, я слышал далекий колокол, — где-то звонили, звучал Angelus... Как люблю я этот легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается! Вдыхаешь, пьешь, видишь рождающуюся телесную жизнь мира, — жизнь, тайна которой есть наше вечное и великое мучение...

— Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, заботлив и бдителен. Это чистосердечный, верный человек и превосходный моряк...»

Так говорил о Бернаре Мопассан. А сам Бернар сказал про себя следующее:

— Думаю, что я был хороший моряк. *Je crois bien que j'étais un bon marin.*

Он сказал это, умирая.

А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире «было хорошо» и что усердное исполнение этого божьего намерения, есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость... Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар».

Спасибо за подсказку, милый маниту, но тут мои пути с доводчиком расходятся.

Доводчик предлагает тонко сострить по поводу Бернара и Бернара-Анри (мол, велика ли разница, что были перед смертью все эти сенбернары), а потом закончить фразой «Думаю, что я был хороший пилот. *Je crois bien que j'étais un pilote bon*».

Но я не хочу походить на людей прошлого, которые добывали свой хлеб в таком поту, что даже на краю могилы мучились профессиональными комплексами (моя безжалостная лапочка наверняка добавила бы, что они просто искали повода протрескаться внутренним кайфом в последний раз). Мне, свободному и просвещенному всаднику номер четыре (прощай, Дюрер над рабочим местом) хочется поставить вопрос шире. Так, чтобы мои слова мог повторить в свой последний миг любой Дамилола этого мира — и древний, и нынешний, и тот, что грядет следом.

Кая была послана мне в утешение и радость — хоть она, конечно, была просто резиновой куклой. Но если она сказала правду о том, как устроен мой ум, зачем тогда Маниту резиновая кукла по имени «человек»? И зачем Маниту пожелал, чтобы нам было больно, когда о нас гасят окурки?

Увы, ответов нет. Вернее, они есть — но такие, что возникает еще

больше загадок.

Впрочем, Кая говорила, что ответ — это мы сами.

Мы сами — и то, что мы делаем с жизнью, своей и чужой.

А может, я путаю. Может, это сказал покойный Бернар-Анри, когда в позапрошлую войну брался с прошедшими кастинг орками, а я снимал его на храмовый целлулоид. Слова ведь одни на всех, и кто только не пробовал складывать их так и эдак.

Все, времени больше нет. Я прощаюсь.

Маниту, надеюсь, я сделал свою работу хорошо.

notes

Примечания

1

День за днем мертвые возлюбленные не перестают умирать.

Дева в печали.

Высказывания, сеющие ненависть

Ударный дискурсмонгер первой статьи.

«Петух Духа».

Твои новости да будут чисты.

По антидискриминационной линии.

Сила простых людей.

Не смотри — не видь.

Гордость пупараса.

The sinews of thy heart — «нервы сердца твоего» (пер. К. Д. Бальмонта).

Я был за камерой — и я прослезился.

Никаких свисающих частей, или повиснешь сам!

14

Не привлекает внимания.

Пепел пупарасов.

Une autre — другая.

Не бодайтесь с Гулагом!

Не сомневайтесь.

Секс по обоюдному согласию.

Ветчина с приправами.

Но для более высоких зрелищ Михаил снял пелену с глаз Адама.

Пройден тест Тюринга.

Гарантировано только на фабричных установках.

24

Наслаждайся 5 секунд.

Страдай.

«Свободный выпас при органическом питании».

Первая юношеская любовь.